МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ФЁДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН

БЫВШЕЕ И НЕСБЫВШЕЕСЯ

Том 1



Ф. А. Степун

Бывшее и несбывшееся

Том I

Под редакцией Л. М. Суриса



Москва
Берлин
2016

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6
С79

Степун, Ф. А.

С79 Бывшее и несбывшееся. В 2-х томах. Т. I / Ф. А. Степун ; под ред. Л. М. Суриса – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 400 с.

ISBN 978-5-4475-8329-3

В первый том мемуаров известного русского философа, писателя, историка и литературного критика Фёдора Августовича Степуна (1884–1965) вошли воспоминания о детстве, школьных и студенческих годах писателя. С болью и горечью вспоминает он трагические моменты своей жизни. На страницах мемуаров автор рассказывает и о начале Первой мировой войны, революционных событиях в Петрограде.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-4475-8329-3

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Бывшее и несбывшееся» не только воспоминания, не только рассказ о бывшем, пережитом, но и раздумье о том, что «зачалось и быть могло, но стать не возмогло», раздумье о несбывшемся. Эта философская, в широком смысле слова даже научная сторона моей книги, представляется мне не менее важной, чем повествовательная. Я писал и как беллетрист, не чуждый лирического волнения, и как философ, как социолог и даже как политик, не замечая вполне естественных для меня переходов из одной области в другую.

Близкий по своим философским взглядам славянофильски-Соловьевскому учению о положительном всеединстве, как о высшем предмете познания, я попытался подойти к нему в методе положительного всеединства всех методов познания. Врагами моей работы, с которыми я сознательно боролся, были: идеологическая узость, публицистическая заносчивость и эстетически-аморфное приблизительное писательство.

«Воспоминанья нежной грустью меня в чело целуют». По опыту знаю, до чего губительны эти поцелуи. Пристрастные к прошлому и несправедливые к настоящему, воспоминания неизбежно разлагают душу сентиментальной мечтательностью и ввергают мысль в реакционное окаменение. Будем откровенны, и того и другого все еще много в редеющих рядах старой эмиграции.

Новая эмиграция нашими недугами не страдает. Ее опасность скорее в обратном, в полном отсутствии пленительных воспоминаний. Соблазнять людей, родившихся под красною звездой, образами затонувшей России – дело столь же безнадежное, сколь и неправильное. Ведь мы и о грешных сторонах нашей жизни вспоминаем с умилением:

И тройка у крыльца и слуги на пороге…

Общих воспоминаний у нас быть не может, но у нас и может и должна быть общая память.

Ты, память, муз вскормившая, свята,
Тебя зову, но не воспоминанья.

В противоположность туманно трепетным воспоминаниям, светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, не ожило: его завещание грядущим дням и поколениям. В противоположность воспоминаниям, память со временем не спорит; она не тоскует о его безвозвратно ушедшем счастье, так как она несет его непреходящую правду в себе.

Воспоминания – это романтика, лирика. Память же, анамнезис Платона и вечная память панихиды, это, говоря философским языком, онтология, а религиозно-церковным – литургия.

Вдумчиво и критически вспоминать прошлое – не значит его исследовать. Воспоминания современников не научные работы, а лишь материал для работы будущих историков. Несмотря на таковую мою точку зрения, я прочел почти все мемуары почти всех главных деятелей Февраля и ряд русских и иностранных работ о революции, что видно и из текста моей книги.

Кое-какие внешние пробелы памяти были мною, на основании этого чтения, восстановлены. Но восстанавливая, ради цельности картины, забытое, я никогда не изменял твердо запомнившегося и не ретушировал, на основании чужих мнений, своих оценок людей и событий.

В заключение просьба к читателю: не упускать из виду датировки отдельных частей моих воспоминаний.

Федор Степун

Глава I
ДЕТСТВО. ДЕРЕВНЯ

На высоком берегу, впадающей в Угру Шани, трудолюбиво обслуживающей турбины писчебумажной фабрики, стоит построенный покоем и выкрашенный в желтый цвет просторный двухэтажный дом. Против главного подъезда, за традиционным кругом акации, красуется гордость губернии, построенная, согласно местному преданию, по проекту Растрелли, небольшая церковь. С северо-востока ее охватывает тихий мир прицерковного погоста: деревянные покосившиеся кресты среди густых кустов сирени и жасмина, а в дальнем углу, где из-за кирпичной стены в дождливую погоду хозяйственно попахивает навозцем – крапива да лопух.

На конном дворе стоят до шестидесяти лошадей. Те, что помельче, – прилежно работают в доходном прифабричном имении: лесопилка, кирпичный завод, торфяные болота. Громадные же битюги, мерно мотая под тяжелыми дугами, чуть ли не аршинными головами, изо дня в день шагают по ведущему в Москву шоссе, доставляя на Николаевский вокзал тяжелые тюки высококачественной бумаги, главным образом, бристольского картона для игральных карт.

Отец – главный директор известных на всю Россию писчебумажных фабрик. Мы занимаем прекрасную служебную квартиру в десять комнат. Помню зеленовато-коричневый полумрак отцовского кабинета, лунный свет маминой мягкой гостиной, обтянутой голубым шелком, душистый утренний воздух в открытых окнах наших больших детских и всегда залитой золотым солнцем – вероятно царственный обман благодарной памяти – двусветный зал в цветах и растениях, с двумя высокими стеклянными дверьми, выходящими на охватывающий весь фасад дома балкон. Когда однажды,

похожий на факира, «артист эксцентрик, мелодекламатор и гримо-мимико-портретист», как значилось на афише, «проездом в Москву и Петербург» давал на фабрике свое «гала-представление», на балконе с легкостью разместились все служащие фабрики со своими чадами и домочадцами. Под балконом, с которого летом бывало так весело смотреть на разбросанные по зеленому газону яркие цветочные орнаменты, темнел вход в сырую, пахнущую землею, оранжерею с таинственно-страшноватой витой лестницей, по которой мы с братом пробирались в биллиардную, затейливую комнату с камином, очень высокими кожаными диванами вдоль стен и киями в особых стойках. Иной раз здесь разгорались настоящие страсти, и нам с братом бывало очень занятно наблюдать, как кто-нибудь из заезжих игроков, выбросив вперед руку и по-птичьему вытянув назад ногу, звонким ударом загонял шар в лузу.

Отец по всему складу своей души и по всем своим интересам не был ни инженером, ни коммерсантом, а случайно не состоявшимся естествоиспытателем. Больше всего в жизни он любил сельское хозяйство и охоту. На заднем дворе за парком у него под надзором странного человека, которого мы все почему-то звали азиатом, размеренно жили своею профессионально-спортивною жизнью около тридцати охотничьих собак. Тут были: грудастые, как боксеры, черные, с круглыми желтыми бровями и подпалинами гончие, плоскоголовые, с изогнутыми хребтами дегенеративно-аристократические борзые и, мои любимцы, женственно-печальноокие сеттера с длинною шелковистою шерстью. Шумные охотничьи рассказы отца и его знакомых о том, как старая борзая справляется одна с «матерым» волком, приводили нас с братом в большой восторг. Надо ли говорить, что, наслушавшись таких рассказов, мы в отсутствии отца частенько забегали в его устланный волчьими шкурами кабинет, лихо «седлали» подбитых

зеленым сукном «матерых» и, схватив левою рукою волчьи загривки, беспощадно прокалывали деревянными кинжалами слегка пахнувшие нафталином сердца наших жертв…

Лучшая пора деревенской жизни – лето. Какое было неописуемое счастье выскочить рано поутру из постели, быстро одеться, быстро напиться чаю и вприпрыжку пронестись по саду, по парку, заглянуть на птичий двор, где, наливая кровью свои лысые генеральские черепа и подбородки, забавно чванились индейские петухи, нервно подергивали своими кокетливо-миниатюрными, головками почему-то по-вдовьи одетые Господом Богом цесарки и, истошным криком предупреждая мир о какой-то им одним ведомой опасности, смешным пешим лётом внезапно сносились к тинистому пруду гуси. Какое было счастье после птичьего заглянуть на скотный двор, где рационально кормились и доились соловые сементалки и чернопегие холмогорки – странные существа с задумчиво устремленными вдаль бессмысленными глазами – и где взволнованно хрюкали, чавкали и повизгивали йоркширские свиньи и борова, породистые соотечественники основателя фабрики, вислощекого, тупоносого, но все же весьма благообразного англичанина, большой портрет которого висел над письменным столом отца в фабричной конторе…

В России даже по мелочам запад непременно окажется рядом с востоком: перемахнув через забор, мы с братом уже сидим на крыльце у татарина-кумысника, которого вместе с тремя ребрастыми кобылами отец ежегодно «за гроши» выписывал на лето, свято веря в целительную силу остро-кисловатого напитка. Отведенная под татарское жилье и производство изба стояла недалеко от прачечной, у открытого окна которой, цыганистая красавица Груня, веселая и голосистая

женщина, целыми днями крахмалила и гладила дамские наряды. Нежно колеблемые утренним ветром, они на длинных шестах-вешалках ежедневно проплывали разноцветными облаками в большой барский дом. У нас каждое лето съезжалось много гостей. Труд, по городским понятиям, в деревне даровой. Вот и гофрировала Груня, не разгибая спины, кружевные жабо, кофточки и платья, чтобы через день, другой снова бросить их в корыто с мыльной водой. Боюсь, не громила ли в революцию милая Груня, голос которой я подростком так любил слушать в саду на вечерней заре, наше Кондрово. Если и громила, кто осудит ее? В течение всей нашей деревенской жизни никто ни разу не задумался над смыслом ее стояния у открытого окна, не пожалел ее поистине сизифовой работы и ее прекрасного, быть может, оперного голоса.

Время летит. Нам надо поспеть еще в самый дальний угол парка, где помещается, с трудом переносимое матерью, любимое детище отца – «вонючий» зверинец. В крепко слаженных и, как в заправском зоологическом саду, обставленных деревьями, пнями, камнями и колесами клетках сидят, лежат, кружатся, скучают и волнуются волчата, лисицы, куницы, хорьки, белки, ежи, ястреба, совы и всякая иная лесная и полевая живность и нечисть средней полосы России. Особую брезгливость мать испытывала к непрерывной, хвостатой суетне всевозможных крыс, мышей, змей и ужей.

Долго заглядываться на все это зверье нам с братом, впрочем, не приходится. Ровно в восемь мы верхом выезжаем навстречу нашему учителю, Ивану Васильевичу Власову, очень еще молодому человеку с ласково-застенчивой улыбкой, с ласково светящимися глазами и с непослушною пепельною кудрей над левой бровью. Мама, очень серьезно относящаяся к своим обязанностям попечительницы народной школы, заведывать

которой, не без ее влияния, был с год тому назад приглашен молодой учитель, упорно отстаивает его, как «искреннего идеалиста», и, главное, как «убежденного народника». Мы с братом, конечно, без ума от этого тайного революционера. Его преподавание русского языка и истории, живое и интересное, совсем не похоже на прекрасно продуманные, но несколько педантичные уроки немецкого и французского языков нашей гувернантки, фрейлейн Штраус, в распоряжение которой мы поступаем к 11-ти часам утра, после того, как в перерыве сбегаем поздороваться с мамой, пьющей в это время утренний чай на задней тенистой террасе и совещающейся с Афимьей, что готовить на вечер и к завтрашнему обеду. «Как скучно, – иной раз жалуется мама, – каждый день выдумывать, что готовить, а Афимья, у которой много усердия, но никакой фантазии, никогда не предложит ничего нового: все битки да беф Строганов, блинчики да шпанский ветер» (Шпанским ветром называлось у нас безе со сбитыми сливками).

«Красный» Иван Васильевич и буржуазно-снобистическая англо-германка Штраус, в своей молодости изучавшая педагогику в Швейцарии, так упорно трудятся над нашим обучением, потому что мама очень боится, как бы мы не провалились на приемном экзамене в первый класс реального училища (отец твердо высказался против классического образования). Что нам с братом, хотя мы довольно способные и вовсе не ленивые дети, учиться жарким веселым летом нет никакой охоты – ясно. Мы и не очень стараемся; мама иной раз приходит в отчаяние, но втайне нам сочувствует и, пугая провалом, последнего дошкольного лета прекрасного нашего детства, слава Богу, не портит. А прекрасным оно поистине было, наше благоуханное, наше благословенное, щедрое деревенское детство.

Не сорвись русская жизнь со своих корней, не вскипи она на весь мир смрадными пучинами своего вдохновенного окаянства, в памяти остались бы одни райские видения. Но Русь сорвалась, вскипела, «взвихрилась». В ее злой беде много и нашей вины перед ней. Кто это совестью понял, тому уже не найти больше в прошлом ничем не омраченных воспоминаний.

В блужданиях по далям прошлого человеку ведомы совершенно такие же подъемы на вершины, как и в его странствиях по земным просторам. С такой вершины моей памяти мир нашего деревенского детства видится мне неохватной ширью и далью небес, полей, рек, лесов, снегов, дождей… Всего этого несравненно больше, чем комнат, людей, учебы и чтения. Много только еще музыки, главным образом, пения. Поет мама и ее, часто гостящая у нас, подруга. Прошлое почти всегда живет борьбою с настоящим. Не оттого ли, что в большевистской России был очень скоро запрещен церковный звон, небесные своды моего детства вспоминаются мне в непрерывном благовесте нашей Кондровской колокольни.

Зимой, когда заваленная снегом деревня бывала так благостно тиха, мощные, гулкие волны колокольного звона с такою силою врывались в приоткрытую форточку, что, казалось, звонят не на колокольне, а в доме, прямо тебе в ухо. Летом, при открытых окнах, звон както меньше замечался, отлетал, расплывался по миру.

В Троицын и Спасов день, на Воздвиженье – нарядная, пахнущая дегтем, деревянным маслом, кумачом и махоркой толпа заливала не только церковный задний, но и барский двор. И до и после службы я верчусь у коновязи. Из-под моих ног то и дело вспархивают задорно-веселые, драчливые воробьи.

Влюбленный во всех лошадей, я раздаю им кусочки сахару и чувствую, как непередаваемо мягки и нежны

их теплые, морщинистые губы, как бесконечно кротки и печальны их милые глаза над ветхою рядиною навешанных торб.

Шестое августа – яблочный Спас – в деревне большой праздник. На весь мир пахнет скороспелой грушевкой. В соседнем саду штабс-капитанской вдовы Жучихи, сдаваемом в аренду, в этот день идет особо упорная борьба между вооруженным шалашом и шустрой, босоногой партизанщиной. У садовой калитки не умолкает разноголосый стон: «Дяденька, дай яблочко».

В церкви идет служба. Райски-сладостный, земной аромат яблока сливается с пряным духом ладана. Не только душой, но и всем своим телесным составом ощущаешь, как земля возносится на небо, а небо нисходит на землю. Кажется, никто еще не выразил того, христиански-плотяного, домашне-хозяйственного ощущения Божьей земли, без которого немыслима никакая деревенская жизнь, ни помещичья, ни крестьянская, с такою краткостью и полнотою, как подлинный сын трудового, православного мира и выдуманный эпохою и самим собою коммунист Есенин, в своей имеславски-литургической строке: «Пухнет Божье имя в животе овцы». Есенин, – т. е. себя самое не понявшая крестьянская Россия – очень большая и сложная тема и о ней речь еще впереди. Пока же вернемся под своды моего родного калужского неба. Право, оно не было столь скучно однообразным, как то неизбежно утверждали просвещенные ценители западно-европейских курортов.

Знойными летними днями над красно-желтою гладью необъятных ржаных полей, а, равно и зимними морозными утрами, когда наши ковровые сани быстро неслись среди голубых на солнце снегов, оно бывало таким же ликующе-синим, как на счастливой итальянской Ривьере. Слова предсмертной записки застрелившегося

в Марселе эмигранта: «а в Туле небо было ярче» не такое уже преувеличение, в особенности если принять во внимание преображающую силу тоскующей памяти.

Совсем иным бывало оно по осени. Все чаще вспоминая его исполненные светлой, Пушкинской печали голубые своды, под которыми в моей душе родилось и выросло все святое, чем я сейчас живу и с чем сойду в могилу, я вполне понимаю, как в юной, но и древней душе Бунинского Арсеньева могла вырасти любовь к готике и к звуку органа.

Эти высокие и все же скромные, сентябрьские дни (колодезная ли бадья на деревне ударится о стенку сруба, яблоко ли в конце сада сорвется с ветки – все слышно) постепенно сменялись совсем иными, поздне осенними, хмурыми днями. Кто из нас, выросших в деревне, не знает томящей скуки этих быстро меркнущих дней? Клочковатое, свинцовое небо низко нависает над почерневшею соломою изб и сараев. Перед надворными службами рябят огромные не просыхающие лужи, через которые с трудом перепрыгивают мужичьи сапоги. Бабы, обмотанные всяким старьем, с коченеющими от холода лиловыми руками, дорубливают под навесом капусту. За оконными рамами, еще ординарными, и в печных трубах отчаянно воет ветер. То затихающий, то снова принимающийся лить дождь уныло барабанит по стеклам классной комнаты и по нервам фрейлейн Штраус. Она не знает, куда деваться от русской скуки, а мы не знаем, куда деваться от ее европейских нервов.

Так в быстром лёте дней, от первой весенней капели до первой зимней пороши, от первой выставляемой рамы, с «протарарыкиванием» по шоссе телег, до первой вставляемой, с протапливанием слегка дымящих печей, протекает наша детская жизнь. Какая бы ни стояла на дворе погода, у нас на душе всегда солнечно. Ссоры с братьями и сестрами, слезы, болезни, назидания

фрейлейн Штраус и мамины огорчения нашими шалостями – всего этого, о чем я знаю, мне с вершины моей памяти не видно.

Если я сейчас сяду в то кресло моей комнаты, в котором я никогда не пишу и не читаю, а лишь «пролетаю в поля умереть», и привычным движением души наложу на диск моей памяти не стирающуюся от времени пластинку с золотой надписью «детство», то перед моими глазами поплывут одна за другой райские картины той жизни, за которую ныне так страшно расплачивается Россия. Часто думаю: за что и ради чего спасла меня от этой расплаты судьба…

По зеленой обочине екатерининского большака, под низко свисающими ветвями уже загрустивших желтизною берез, мягко катится глубокая коляска на резиновом ходу. Я сижу на откидной скамейке. Против меня мама, в наглухо застегнутом сером шелковом пальто, а рядом с нею молодая женщина в желтом платье и черной накидке без шляпы – жена недавно поступившего на фабрику инженера Филатова. Она оживленно разговаривает с мамой; ее грустные карие глаза блестят неестественным блеском, на ее несколько широкоскулом лице горят пятна румянца, а влажные губы то и дело горячо открываются над ровными, белыми зубами. Я чувствую, что вокруг новой маминой подруги кружится какая-то грустная тайна, которую я невольно связываю с непонятным мне словом «туберкулез», как-то брошенным взрослыми во время разговора о Филатовых. Особенно нравится мне, что Филатову зовут необыкновенным именем – Любовь Мильевна. Она, действительно, очень мила и я ее как-то по-особенному люблю, совсем иначе, чем маму. Позади коляски, играя нервными ушами и гневно разбрызгивая пену с мундштука, взволнованно идет вороной жеребец Падишах; над его головою ритмически приподымается

и опускается мощная, плотная, но изящная фигура всадника в светлой фетровой шляпе и светло-желтых перчатках. И лошадь и всадник как-то не по-русски нарядны и картинны. Это красуется старший инженер фабрики, балтиец с польской фамилией – Леппевич.

С большака коляска сворачивает на пыльный проселок, мягко вьющийся между скошенным лугом и ветхим забором полуразрушенной усадьбы. Над поломанными зубьями забора кое-где свисают золотые подсолнухи и огненно-пышные георгины. Я вижу, как всадник галопом подскакивает к забору, срывает несколько цветков и, догнав нас, ловко бросает их на синий фартук коляски. Перепрыгнув придорожную канавку, он через секунду гарцует по лугу. Не переставая разговаривать с Любовью Мильевной, мама через свое правое плечо смотрит на поляну и ее прекрасные, серые глаза рассеянно улыбаются дали. Во мне подымается какое-то странное, мне непонятное чувство: дети очень ревнивы.

На довольно большом расстоянии от коляски – чтобы не глотать пыли – прилежно поспевает ровною рысцою, запряженная в тяжелую охотничью линейку, папина тройка неказистых, но очень выносливых сибирячков. На линейке, кроме отца, сидят мамина двоюродная сестра Машенька, влюбчивая, восторженная девушка, только что окончившая консерваторию и обожающая по вечерам, в особенности при луне, то «бравурить» в зале рапсодиями Листа, то вздыхать ноктюрнами Шопена. Филатов – сырой, крупный человек в круглых очках на мясистом носу (его внешность у меня впоследствии нерасторжимо слилась с внешностью Пьера Безухова), Иван Васильевич со своею врагинею, фрейлейн Штраус, брат, по прозвищу Липочка, и гончий кобель Догоняй.

Почему как-то внезапно оживилась помещичья жизнь на берегах Угры и Шани, почему чуть ли не каждую

неделю, чаще всего по субботам и воскресеньям, в живописные места уезда стали съезжаться линейки и коляски под «дарвалданье» (в такой, к слову сказать, очень убедительный глагол слились у меня в детстве слова известной песни: «И колокольчик, дар Валдая, запел уныло под дугой») колокольчиков и бубенцов, я сказать не могу. Думаю, что главную роль в этом подъеме жизни сыграла мама, сумевшая объединить вокруг себя своей артистичностью и музыкальностью всех наиболее интеллигентных служащих фабрики и перезнакомившая их с прозябавшими по своим углам помещичьими семьями. Московские гости, которых всегда много съезжалось к нам на лето и осень, играли в этом большую роль, казались многим провинциалам чем-то особенно интересным и поэтичным.

Естественно, что среди этой молодой компании быстро расцвела та атмосфера подсознательной перекрестной влюбленности, которая, волнуя тоскующие души, не обременяет супружеской совести. А где же вольнее и слаще аукается, чего-то небывалого ждущим от жизни сердцам, как не в благоуханно-теплом, медленно темнеющем лесу, на опушке которого, в густом надречном кустарнике, по веснам щелкают соловьи, эти невзрачные герои лунных сказок жизни, летом зазывают в даль бездомные кукушки, а осенью своими жуткими воплями пугают сычи…

Наезжали в Шаняновский лес самые разные люди: старозаветные борзятники Мажаровы, с девятнадцатилетней дочкой Женей, часами ожидавшей у окна своей «светелки», не замрет ли за рекой у парома колокольчик, не свернет ли кто на дорогу в Мажарово, развеять сон и скуку отчего дома, где повар в белом колпаке готовит рубленные котлеты иной раз с тараканами; печальный вдовец Крашенинников, холеный, чистенький, неизменно одетый в синий костюм, морской офицер

в отставке, со своею дочерью Анечкой, петербургской курсисткой, увлекавшейся, как я впоследствии узнал, Марксом и Бодлером и заплатившей за пророческий склад своей души тяжелым душевным недугом, приведшим ее, очаровательную двадцатилетнюю девушку, боготворимую отцом наследницу благоустроенного имения, к самовольному уходу из жизни. Помню, как заплаканная мама передавала кому-то последние слова ее письма к отцу: «Для себя жить не стоит, а жить для других не умею».

Непременной участницей всех пикников и деревенских развлечений, вплоть до больших псовых охот, была Мария Николаевна Чертова, жгучая, плосколицая брюнетка с испанским гребнем в высокой, туго закрученной прическе. Дама эта обладала огромным низким альтом, разносившимся с линейки, с поистине иерихонской зычностью. С ней был неразлучен, с году на год все более нищавший помещик, с комической наружностью курносого дон Кихота: большие усы, эспаньолка и грустный взор мутных, вопрошающих глаз. Этот гидальго Медынского уезда был страстным любителем картежной игры. Когда у нас раскрывались зеленые столы, он первым садился за карты и быстро тасуя их неизменно напевал прокуренным баском: «Собирайтесь, игроки, вынимайте кошельки». Кончил он плохо. Проиграв все, что было за душой, он обменял последнюю, давно уже рыскавшую по крестьянским дворам, борзую на каравай хлеба и с этим караваем под мышкой легкой походкой вышел за ворота своей заложенной и перезаложенной усадьбы. Как можно было в России девяностых годов дойти до такого конца – непонятно. Не то преступная безответственность, не то святая беспечность.

Теплый августовский вечер. Иван Васильевич старательно затаптывает костер, к которому весь вечер

таскал хворост и можжевельник. Фрейлейн Штраус тщательно скатывает плэд «шотелэн экоссе», явно недовольная тем, что мы опять поздно ляжем спать.

Макушки сосен все гуще наливаются вечерним сумраком. В фонарях маминой коляски уже зажжены толстые стеариновые свечи. В сущности они ни к чему, но мамин кучер Яков, выписанный из Москвы, очень любит достижения цивилизации. Вокруг фонарей глубокий мрак. Из его глубины, как будто бы откуда-то издали, под тихие переборы гитары доносятся задумчиво-печальные женские голоса. Поют мама и Любовь Мильевна. Эта песнь об отливе: «В отлива час не верь измене моря» вызывает в моем сердце бурный прилив каких-то сладостно-щемящих чувств.

Сборы окончены. Под колесами трещат сучья, экипажи медленно выезжают на проселок и сворачивают на шоссе, по которому в этот поздний, для деревни уже ночной час (по холоду лошадям легче) тянутся нагруженные зашитою в рогожу бумагою, ломовые полки. Ломовики поспешно сдергивают картузы и, хватая битюгов под уздцы, безо всякой на то надобности, ради одного только почтения, круто сворачивают на обочину. Вот последняя, перед ярко освещенными фабричными корпусами (работают в две смены) деревня. Уже давно спит она крепким праведным сном. Лишь где-то вдали, за околицей, наяривает полупьяная фабричная гармоника. Встречаемые и провожаемые собачьим брехом (впереди верхом Леппевич, за ним коляска, линейка и шарабан, в котором Марья Николаевна со своим поклонником едут к нам ночевать), мы с грохотом, звоном и песнями несемся сквозь тихую, темную ночь.

Четкий топот копыт по деревянному настилу плотины. Лихой взлет в гору к освещенному крыльцу. У крыльца нас уже ждет молодая расторопная горничная Лиза и вечно хмурый, в серой тужурке лакей Николай,

к христианскому имени которого почему-то всеми нами прибавлялось цирковое «рыжий», хотя Николай, по цвету своих, не слишком обильных волос вокруг ранней лысины, был скорее блондином, чем рыжим.

По приезде домой мы с братом сразу же идем спать. Лежа в постели, мы еще долго прислушиваемся к доносящемуся из зала веселому шуму. К нему же прислушивается сквозь запретный сон и дремлющий на стуле в буфетной Николай-рыжий, то и дело по звонку бегающий на кухню и в подвал подогреть самовар, принести бутылку вина.

Ни отец, ни мать не были, да и по своему происхождению и воспитанию не могли быть крепостниками. Больше того, они были определенно гуманными людьми, искренне желавшими как можно лучше устроить фабричных рабочих и домашнюю прислугу. Мать даже любила подчеркивать, что она родилась в год освобождения крестьян: в связи со своим положением на фабрике, она видела в этом обстоятельстве какое-то особое, возложенное на нее обязательство. Поэтому она не только покровительствовала идеалисту и народнику Власову, не только подолгу беседовала о народном воспитании с молодым священником, сменившим упитанного отца Никанора, имевшего от природы гораздо больше склонности к медицине, чем к богословию (в холерный год он успешно лечил мужиков баклановкой, т. е. водкой с перцем), но и сама всегда ходатайствовала за рабочих перед фабричной администрацией, т. е., главным образом, перед отцом. Хорошо помню неописуемое волнение, которое поднялось у нас в доме, когда заведующий «упаковочной» заставил «девок» мыть пол в Страстную субботу после свистка. Маминому возмущению не было конца. В бурной словесной схватке с отцом она не без труда добилась отмены распоряжения. Того же Николая она

взяла в дом, чтобы помочь «рыжему» справиться с нанесенным ему в соседнем поместьи «оскорблением действием». Не думаю, чтобы доброе мамино намерение было по заслугам оценено Николаем. Маминого положения, что человека ни при каких условиях нельзя бить по лицу, он не разделял (сам дрался) и потому большой разницы между горячей помещицей, ударившей его за «снулую» физиономию, и мамой, пытавшейся разбудить в нем «человека» и дававшей ему понять, что с его недопустимо-сонной физиономией ни до чего в жизни не дойти, вероятно не чувствовал, тем более, что на самом деле он вовсе не был тем снулым судаком, за которого его все принимали. Впоследствии выяснилось, что, сидя на табуретке в буфетной, Николай вовсе не дремал, а мечтал: строил грандиозные для деревенского лакея планы. Всеми осмеянный «рыжий» вышел в большие люди. Одетый в великолепный сюртук и при золотых часах, он, в 1915-м году, угощал меня и еще двух молодых поручиков, возвращавшихся из лазарета на фронт, замечательным обедом. Это было в Клину. Кроме Клина, Николай держал вокзальный буфет первого и второго классов не то в Павловске, не то в Гатчине.

Мамина недооценка Николая показательна. Уверен, что она ошибалась по всей линии своего отношения к народу и дело тут было, конечно, не в ней лично, а во всем складе социальных взаимоотношений в дореволюционной России. Злосчастность этих отношений была не в том, что господа не любили народа, а в том, что они его не знали. Чувство какой-то неловкости от маминых отношений с простолюдинами во мне осталось еще до сих пор. Мне шел, вероятно, уже двенадцатый год, когда в так называемой «зеленой гостиной», происходило запомнившееся мне таинственное заседание, нечто вроде суда чести над маминою горничною

Лизою, миловидною, изящною девушкою, незаконною, как я впоследствии узнал, дочерью большого петербургского барина. (Вопрос о незаконных детях, о гневной и нервной барской крови в жилах русских крестьян, лишь мимоходом затронутый Буниным в его «Суходоле», представляется мне, к слову сказать, как социологически, так и психологически, очень интересною темою большевистского бунта). С тревожно замирающим, бессознательно уже тянувшимся к тайне девичьего греха сердцем, ходил я, помнится, по полутемному коридору, прислушиваясь к голосам за дверью. Мама говорила много и очень взволнованно, Лиза все только всхлипывала, изредка слышались взвизги резкого голоса неизвестной мне женщины полупочтенного вида в кружевной накидке, очевидно, матери провинциального дон Жуана, похитителя Лизиного сердца, а может быть и чести.

Когда дверь распахнулась, первою вышла мама, в утреннем турецком капоте – расстроенная и почти вдохновенная. Ее полная с тонким запястьем рука дружески лежала на вздрагивающих от сдерживаемых рыданий Лизиных плечах. Лизины родители, кучер Дормидонт с женою как-то безразлично шли сзади. Прощаясь, они покорно благодарили маму, кланялись, целовали руку, но в их простых и все же непроницаемых лицах чувствовалось молчаливое осуждение всего того, чему они были свидетелями, вероятно такое же, с каким крестьяне Ясной Поляны подчас смотрели на «блажь» Толстовского паханья. Иначе, впрочем, и быть н§ могло, так как отмененное 35 лет тому назад крепостное право фактически продолжало господствовать в том, помещичьи-фабричном укладе жизни, который, вероятно, и я до конца своих дней продолжал бы считать патриархальным раем, если бы не война и революция, не годы окопной, а затем и трудовой деревенской жизни вплотную с простым русским народом.

Нет сомнения: ни за царем, ни за дореформенным помещиком русский народ не был закреплен такою проклятою, кровавою крепью, как за Лениным и Сталиным. Тем не менее – и в этот величайший упрек всем нам, не отстоявшим России от большевиков – «Октябрь» войдет в историю существеннейшим этапом на пути окончательного раскрепощения русского народа. Я знаю до чего трудно согласиться с этою мыслью, высказывая ее, я чувствую, как сердце еще на конце пера сопротивляется ее начертанию. Тем не менее я уверен, не согласившись с моею парадоксальною мыслью, невозможно хотя бы в общих чертах представить себе будущего облика России. Одна черта этой России кажется мне несомненной: какой бы в ней ни выкристаллизовался политический строй, какой бы в ней ни сложился социальный и хозяйственный уклад, того старого, дореволюционного народа, который людьми привилегированных классов и, в особенности, помещиками в гораздо большей степени ощущался какимто природно-народным пейзажем, чем естественным расширением человеческой семьи, (о своих крестьянах наши помещики-эмигранты чаще всего вспоминают с совершенно такою же нежностью, как о березках у балкона и стуке молотилки за прудом) больше не будет. Из человеконенавистнической, большевистской революции народ выйдет окончательно очеловечившейся стихией. Разница между людьми высших классов и многомиллионным массивом народа исчезнет.

Благодаря этому, русская жизнь во многих отношениях станет лучше и справедливее, но какою-то своею таинственною красотою она оскудеет. С исчезновением народа, как стихии, неизбежно изменится и то русское чувство природы, то утонченное осязание ее одухотворенной плоти, ее космической души, которым так значительно русское искусство. У современных

европейцев его уже нет, и нет, конечно, потому, что в наиболее цивилизованных странах Европы народ уже давно как бы расхищен по отдельным индивидуальностям. Французский и немецкий народы это прежде всего – люди, – русский, дореволюционный, главным образом, крестьянский народ – это еще земля. Мне думается, что особая одухотворенность, хочется сказать, человечность русской природы, есть лишь обратная сторона природности русского народа, его глубокой связанности с землей. Очевидность этой мысли бросается в глаза уже чисто внешне: в Европе, в особенности во всех передовых странах, лицо земли в гораздо большей степени определено цивилизованными усилиями человеческих ума и воли, чем первозданными стихиями природы. Русская же дореволюционная деревня была еще всецело природной: жилье – бревно да солома, заборы – слеги да хворост, одежда – лен да овчина, дороги, за исключением редких шоссе, не проложены, а наезжены. А за этим, цивилизацией еще не разбуженным миром, подобный коллективному «дяде Ерошке» – тот русский народ, на котором держалась наша единственная по вольности своего дыхания, во многом, конечно, грешная, но все же и прекрасная жизнь. Жизнь эта убита, ей никогда не воскреснуть. В России, быть может, возможно восстановление пореволюционной монархии, но в ней невозможно восстановление того дореволюционного быта, тоска по которому, что греха таить, с каждым годом все сильнее звучит в душе. Слава Богу, вместе с ней крепнет и тоска по тому русскому народу, который, не ведая что творит и не жалея себя, покончил с этой жизнью и выбросил нас на чужбину. Даже странно как-то: в дни, когда несправедливые глаза отказываются смотреть на приютивший нас западно-европейский мир, передо мною встают не родные лица оставленных близких

и друзей, а милые облики родных калужских мест, одни названия которых: Шаня, Шаияны, Шорстово, Кондрово, Ираидово, Угра, – звучат в душе непередаваемой в словах, ворожащей музыкой. Под эту музыку в памяти всплывают целые толпы простого народа, окружающего наш дом, но не сливающегося с людьми, живущими в нем.

Народ – это вечно висящие на задней садовой калитке вихрастые, ноздрястые, быстроглазые ребятишки, неустанно волокущие в барский дом продать за копейку все, что попало: щуку, карася, ежа, ужа, сыча или какую-нибудь, по их мнению, диковинную лягушку. (Все знали, что садовнику было приказано покупать для зверинца всякую живность).

Народ – это молодые, веселые бабы с певучими голосами, приносящие на кухонное крыльцо то решета душистой земляники, которой почему-то теперь нет во всем мире, то кошелки с белыми отборными грибами.

Народ – это нищенки-побирушки, древние согбенные старухи с огромными мешками через оба плеча, с потухшими слезливыми глазами, с мелко-иссеченной коричневой кожей на жердястых, в пыли и глине ногах.

Народ – это парни и девки в пестрых рубахах и цветистых платках, с громкою заливчатою песнью возвращающиеся с работ на деревню, это серые мерно шагающие за плугом пахари, это полумифические в овчинных тулупах и волчьих шапках «деды Морозы», зябко поспевающие за своими тяжело нагруженными розвальнями.

Народ – это гуськом спускающиеся за мальчишкой поводырем с Масловской горы слепые, которые, закатив к небу свои страшные бельма, ждут у кухонного окна милостыню, оглашая двор гнусавым пением о «Смердящем Лазаре», это говоруньи богомолки, которых поят чаем в буфетной, и «беглые» монахи Тихоновой

пустыни, в два счета спроваживаемые со двора няней Сашей, почему-то считавшей эту обитель, в отличие от Оптиной, пристанищем всяких тунеядцев и жуликов.

Из этой природно-народной стихии, расширяя собою мир наших знакомых и прислуги, выделяются несколько отдельных фигур. Они не то, что Иван Васильевич, Афимья, няня Саша, но все же они для нас с братом не просто народ, а свои люди.

На огороде под осенними дождями в нахлобученном рогожном кульке прилежно пашет Афимьин муж Иван, низкорослый, коренастый, белобрысый заика со свинообразным, сконфуженным лицом, на котором все дергается. Время от времени фабричная контора рассчитывает Ивана за запой, но Афимья, рыдая, клянется маме, что ее муж дал зарок, больше пить не будет, и его опять принимают на службу.

В саду, по-журавлиному поднимая худые, длинные ноги, скорее всего от привычки осторожно переступать через грядки, важно ходит садовник Чибис, снедаемый двумя страстями: нюхательным табаком и латинским языком. Он уверен, знай он все цветочные названия по латыни, он мог бы с успехом заменить ученого садовода чеха, который только тем и берет, что курит черные сигары и называет резеду «Reseda odorata».

При въезде на конный двор, в заваленной тесом и стружками, пахнущей смолою, столярным клеем и махоркой мастерской, ловко работает, покрикивая на подмастерьев и мальчишек, столяр и тележник Павел Семенович Селеверстов. Мужиком его не назовешь и даже на мастерового он не похож. Дородный, крупитчатый, пухлорукий, он по наружности и повадке скорее напоминает зажиточного мельника, или городского лавочника, чем фабричного столяра. Умница и говорун, он через няню Сашу держит связь с мамой и ловко добывает заказы на «любительскую» работу

для директорского дома. (В революцию 1919 года обменяли мы письменный стол селеверстовской работы на два пуда ржаной муки). Прирожденный, как мне теперь кажется, «лакей буржуазии», скорее всего смертельно ненавидевший всех нас (лакейская ненависть – самая злая) Павел Семенович, по всей вероятности, быстро перекинулся к большевикам и законоводил на фабрике. Но это уже мои домыслы.

Покровительница Павла Семеновича, Александра Ивановна Баскакова, или попросту няня Саша, уже явно принадлежала не к дворовому пейзажу, а к кругу той человеческой семьи, в недрах которой протекало наше детство. Человечность няни Саши заключалась не в ее человеческих достоинствах (по чертам своего характера Александра Ивановна скорее напоминала лукавого царедворца, чем пушкинскую Арину Родионовну), а в том, что вся ее жизнь, в отличие от жизни другой прислуги, протекала на наших глазах. Спала она в углу детской на огромном кованном сундуке под тяжелыми, темными образами, обедала в прохладной буфетной за маленьким столом, покрытым клеенкой. Бывали мы и на родине няни Саши: в Полотняном заводе, в имении Гончаровых, со священною Пушкинскою надписью на беседке в парке. Не раз посещали мы и ее обшитый тесом дом рядом с кузницей, над воротами которой красовался вырезанный из кровельного железа черный со ржавчиной скакун. Знали мы хорошо и несложное миросозерцание Александры Ивановны: ненависть к немке Штраус и к «вихрастому» Ивану Васильевичу, почтительную любовь к земскому начальнику, князю Мещерскому, державшему крестьян в ежовых рукавицах, да к древнему ветерану турецкой кампании, георгиевскому кавалеру, в черном, увешенном крестами и медалями мундире и отдававшему ей честь со всею четкостью старинной военной выправки. Надо ли говорить,

что наша няня, с которой я беседовал в последний раз уже студентом, весьма не одобряла маминых лирических интервенций в «пакостные» Лизивы дела и считала за признак мужичьей темноты, что в день ее Ангела, по распоряжению старшего кучера Дормидонта, ей запрягали для поездки в Полотняный завод к племяннику, державшему там бакалейную лавку, не рессорную коляску, а плетеную тележку на дрожинах…

Как странно и как таинственно-непостижимо, что где-то в далекой, иной раз, кажется, давно уже не существующей России и по сей час, быть может, живут те самые люди моего детского мира, о котором я пишу в Дрездене, смотря, на спеющие яблоки за окном и минутами не вполне понимая, какой мне видится сад: наш ли подмосковный, который я в 1919-м году сторожил осенними ночами, вспоминая под улюлюкание взбаламученной деревни райские дали кондровских садов, или культурный фруктовый сад, принадлежащий солидному немцу, свято верящему в то, что великий фюрер скоро и в России наведет образцовый немецкий порядок… Но об этом лучше не думать. А потому вернемся к няне Саше.

Самым большим удовольствием нашей няни были ежегодные поездки на ярмарку в Полотняный. Мама этих ярмарок не любила, но нас с Александрой Ивановной отпускала охотно. Перед ярмаркой мы непременно заезжали к няниному племяннику, еще молодому, чернобородому, но старозаветному купцу в сапогах бутылками и длиннополом черном сюртуке. К чаю с разными угощениями (товар свой) подавались и крепкие наливки. Опрокинув рюмочку, другую, няня брала нас за руку и мы все трое в величайшем волнении спешили на ярмарку.

До сих пор, очень любя народные гулянья, я много шатался по современным, электрифицированным

по последнему слову науки парижским, мюнхенским и дрезденским ярмаркам, но того настроения, которое нас с няней охватывало на выселках Полотняного завода, я никогда больше ни в себе, ни в гуляющем народе не находил. В чем тут тайна, кроме тайны детства, сказать не легко, да и не хочется как-то вдаваться в психологию. Скорее всего наши ярмарки веселили душу тою непосредственностью страстей и чувств, которыми искони была сильна русская земля. Боже, с какою исступленною яростью, божась и ругаясь, торговали мужики лошадей: несчастные меренки и кобылки, с гиком подхлестываемые не только продавцом и покупателем, но и всеми непрошенными советчиками и праздными зрителями, как ошалелые носились взад и вперед перед сгрудившимся народом, а кругом, как черти, цыгане. Мы о них уже много слышали страшного и тревожного: когда они табором стояли в Шорстове, няня не выходила с маленькой сестрой за калитку сада (детей крадут) и каждый вечер вместе с Николаем проверяла серебро в буфетной. По дороге на ярмарку, сидя на козлах рядом с Дормидонтом, я узнал от него и то, что «черномазые» лошадь насквозь видят, но зато и первые жулики: года на зубах выжигают, брюхо через соломинку надувают, а для прыти под хвостом скипидаром мажут.

На другом конце бабы перед ларьками с ситцем, кумачом, позументами, платками, кружевами, баретками. Купцы задуряют, ловко разжигают нуждою придушенные женские страсти. Александра Ивановна всею душою сочувствует бабам и, вспоминая свою молодость, тут же рассказывает нам, что не купить бывало сил нет, а купить – возвращаться страшно, того гляди муж с пьяна вожжами отхлещет. Я во все глаза смотрю на нее и стараюсь представить себе дикую расправу: как же так – ведь няня такая почтенная и всеми уважаемая женщина.

Меньше народа среди рядами разложенного на соломе гончарного товара, среди возов с яблоками, арбузами, огурцами. Но и тут дым коромыслом: галдят, как воронье по весне. Всяк, кому нужно и не нужно, нагнется к горшку, к крынке обстукать согнутым пальцем – нет ли какого изъяна.

С щегольских кулацких Телег, через резные грядки вкусно сыпятся в большие мещанские мешки горкой наложенные меры восковой антоновки. Спело похрустывают у самого уха между мозолистыми ладонями покупателей зеленые арбузы. Мне страшно хочется созорничать: так сдавить арбуз, чтобы треснул, да сил не хватает.

Шумными толпами ходит народ по ярмарке. Больше всего веселится, конечно, молодежь: парни, девки, подростки, ребятишки. Для них прежде всего и крутятся карусели под хриплые, щербатые шарманки. Они же шумными компаниями протискиваются к балаганам посмотреть на человека, пожирающего пламя, на бородатую женщину, на лимонно-желтых морщинистых лилипутов или на борьбу «всемирных чемпионов» – одним словом на все бессмертные «номера» народных гуляний.

Бойко торгует трактир с забавной вывеской «Сбор друзей в березках». Со ступеней его крыльца то и дело неуверенно спускаются под руку подвыпившие парни, у которых все нараспашку: пиджаки, ворота, глаза, глотки и души. Они весело «пужают» девок, которым не страшно, и старательно орут-выводят то грустные, то лихие песельные коленца. На лицах – море по колено. Только ли от выпитого вина? Или и от того доверчивого распаха души, без которого невозможно разливное веселье?

Наевшись вкусных вяземских пряников и совсем не вкусных стручков, попробовав сбитня и квасу, накатав-

шись на карусели, насмотревшись на все «заморские» чудеса и ужасы, мы собираемся восвояси. Дормидонт строго смотрит с козел и, пока няня Саша заботливо укладывает свои многочисленные узлы в задок пролетки, каким-то не совсем своим, смущенным голосом увещевает лошадей не баловать, хотя они не проявляют к тому никакой склонности: верный признак, что Дормидонт слегка навеселе. Вначале мы едем степенно, не обращая никакого внимания на спешащую мимо нас мелкоту. Но вот сзади подходит тройка известного задиры, знаменитого медынского барышника. Обгоняя нашу коляску, он весело подзадоривает нас: «ну-ка, хреновские». Дормидонт быстро перехватывает вожжи и по широкому большаку, ко всеобщему удовольствию разъезжающейся ярмарки, начинается дикий гон… «Русь, куда мчишься ты?» Неужели только «догнать и перегнать Америку», как то еще до большевиков утверждала либерально-западническая наука: пройдет-де несколько десятков лет и «Россия, догнав Запад, заживет опрятною, богатою, просвещенною жизнью, опомнится и отрезвеет». Дай Бог, но не мало ли нам опрятности и богатства. Не вправе ли мы надеяться, что, освободившись от большевизма, Россия отрезвеет не только деляческою трезвостью буржуазного Запада, но и тою священною трезвенностью, без которой невозможно просветление темных человеческих страстей. Знаю, надо очень остерегаться беспочвенно-оптимистических утопий, но надо остерегаться и малодушного уныния. Без веры в очистительную силу страданий, что переживает сейчас Россия, немыслима и вера в ее спасение.

Первые злые раскаты собиравшейся где-то на далеком горизонте революционной грозы прогремели над нашим тихим провинциальным миром сразу же после коронации Николая II-го. Фабрика отпраздновала это событие с примерною щедростью и в примерном

порядке. Мама и Любовь Мильевна сами раздавали заготовленные на длинных столах в нашем саду подарки: по два фунта колбасы, по бутылке водки и по французской булке; женщинам выдавались пряники, орехи и головные платки. О том, выдавать ли водку, поначалу долго совещались. Исправник боялся, как бы не перепились и не начали бы дебоширить. Победили оптимисты, и все обошлось очень мирно. Долго после ярких огней невиданного фейерверка слышалось повсюду малостройное пение, но поутру все вовремя встали на работу. Маме очень понравилось это интеллигентски-народное братание и она, помнится, высказывала мысль, что надо было бы повторять (без водки) такие торжества и по более скромным поводам. Через неделю произошло, однако, неожиданное событие, омрачившее праздничные дни. Только что поступивший на фабрику молодой, интеллигентный рабочий, во время разговора с писчебумажным мастером Сироткиным, внезапно набросился на него с кулаками. Разговор у них начался с Ходынки и, очевидно, перешел на политические темы. Рабочего на следующий же день рассчитали за неблагонадежность, но дело все же получило широкую огласку. В 1905-м году Сироткин пал первою жертвою фабричного бунта.

Сын крестьянина, с малолетства увлекавшийся медициной и начавший свою карьеру с должности санитара в фабричной больнице, Сироткин к тридцати годам дослужился до ответственного поста старшего писчебумажного мастера. В целях самообразования, он, кроме книг самого различного содержания, с невероятным упорством каждую свободную минуту читал большую энциклопедию Брокгауза и Эфрона. Ему хотелось, как он любил говорить, охватить хотя бы «a vol d'oiseau» весь мир и науку о нем. Помню его бурные восторги после возвращения с ошеломившей его

Парижской выставки. Странно, все ужасы, что всем нам довелось пережить за последние десятилетия, не стерли в моей памяти злосчастного выстрела в спину Сироткина. В его лице интеллигентски-пролетарская революция впервые на моей, по крайней мере, памяти, посягнула на крепкую, даровитую Ломоносовскую Русь.

Не успели у нас в доме забыть политического скандала с Сироткиным, как разразилось следующее, гораздо более тяжелое событие. Служивший у нас долго в лакеях болезненный человек с темными, печальными глазами, которого мама рекомендовала в соседнее имение на легкое место – возить в кресле старую барыню – как будто бы ни с того, ни с сего взял да и перерезал бритвою горло своей барыни. Как и почему все это произошло – осталось невыясненным. Еще недавно, вспоминая этот страшный случай, моя мать говорила мне, что ей до некоторой степени понятно, как замученный, болезненный человек может зарезать сварливую старуху, но что ей никогда не понять, как она могла так страшно ошибиться в Сергее, как могла ручаться за него, как за самое себя. «А, впрочем, – прибавила она, смотря на фотографию нашего кондровского дома, – никто не разглядел лакейской бритвы в руках народа, за который боролась и умирала наша интеллигенция. Как это могло случиться?» Да, как? В попытке ответа на этот вопрос заключается, быть может, главный смысл нашей жизни в рассеянии.

Повесть о моем детстве, о детстве, которого больше никому и никогда не пережить в России, – окончена. Не тосковать о нем, как тому учит мудрая строка старинного поэта – я не в силах, но благодарить судьбу за то, что оно мне было даровано, я никогда не перестану. Я говорю с тоскою – нет, но с благодарностью – было.

Сентябрь-ноябрь 1937 г.

Глава II
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ. МОСКВА

До отъезда в Москву на приемные экзамены оставалось всего несколько дней. Иван Васильевич, фрейлейн Штраус и сама мама неустанно проверяли наши знания. Удивлялись моей беспечности и хвалили брата, относившегося ко всему гораздо серьезнее и сознательнее.

Поездки в Москву не помню. Вероятно потому, что в мечтах уже задолго до отъезда покинул Кондрово и жил страстным ожиданием столицы. Как пытливо я ни расспрашивал о Москве, она оказалась для меня полною неожиданностью. Впервые увиденная и, главное, услышанная мною Москва, встает в памяти ярким, ярмарочным лубком.

Площадь перед Курским вокзалом встречает нас оглушительным шумом. Дребезжание полков и пролеток еще на железном ходу сливается с цоканьем подков по булыжнику и диким галдежом извозчиков: «полтинник, купчиха», «не жалейте двугривенного, барыня», «ей-Богу, резвая», «куда лезешь, чёрт»… Долгополые синие халаты, высоко подвязанные цветными кушаками, то и дело вскакивают на козлах, дергают вожжами, машут кнутовищами, крутят нахвостниками…

Мы нанимаем огромное допотопное ландо, запряженное парою жирафообразных вороных кляч и, не слыша собственного слова, в страшном беспокойстве, как бы чемоданы не выскользнули из-под локтя возницы, медленно трусим по узким переулкам и широким площадям к нашей гостинице.

Мама и фрейлейн Штраус распаковывают чемоданы. Я с балкона четвертого этажа взволнованно смотрю на спускающуюся под гору Рождественку. Широкие лошадиные спины рыбами проплывают по каменному

дну бездны. Ноги сплющенных карликов непривычно шмыгают из-под шляп и картузов. От фонаря к фонарю бегает согнутая фигурка с лестницею на плечах, населяя быстро темнеющую от желтых огней бездну призрачно скользящими тенями…

На меня, еще не видавшего мира вне той природно-канонической перспективы, к которой нас приучает плоская деревня, необычный образ как-то «кубистически» погружающегося в ночной хаос города произвел огромное и притом жуткое впечатление.

На следующий день мы рано утром на двух извозчиках – я с мамой, фрейлейн Штраус с братом – отправляемся на экзамен.

С Красной площади, поразившей меня своей огромностью, своим вольным дыханием и причудливо-чешуйчатой пестротой Василия Блаженного, мы сворачиваем на шумную Ильинку. Скучно тянутся Маросейка, Покровка. Вот Земляной Вал, мост над запасными путями Курской железной дороги, а за ним, совсем уже иная Москва, чем та, в которую мы въезжали вчера: тихая, провинциальная Москва моих первых школьных лет…

Дома в этой тишайшей части Москвы стояли в то время все больше маленькие, одноэтажные, с мезонинчиками, какие-то пестрые коробочки под зелеными крышами. Между домами заборы с воротами (иные ворота совсем Кольцовские: «Ворота тесовы растворилися»). В эти ворота снежными зимними утрами осторожно, чтобы не расплескать воды, въезжали, стоя на обледенелых запятках, почти сказочные на современный взгляд водовозы, в кожаных(!) варежках и в окладистых бородах. За заборами весною нежно зеленели, зимой серебристо лиловели сады Межевого института. Целых семь лет ходил я по два раза в день по неровным тротуарам лефортовских переулков на Вознесенскую гору

(как хорошо, как привольно стояла построенная в 1793 г. М. Ф. Казаковым церковь Вознесения на своем зеленом, садовом островке, среди каменного разлива трех стекавшихся к ней улиц), но все же не могу сказать, что за люди жили в этой захолустнейшей части Москвы.

На Пречистенке, Поварской, на обоих Молчановках проживали, главным образом, дворянские семьи. Примыкавший к ним Арбат с его переулками и был и слыл интеллигентски-профессорским районом; за Москва-рекой степенно торговало и тяжело спало (от переедания) старозаветное купечество; вокруг Марьиной рощи заливалась мещанская гармоника; на Пресне уже зарождался красный рабочий. И только прилефортовские улицы и переулки не имели никакого определенного лица. Жившая здесь некогда немецкая колония уже давно переехала в свои роскошные особняки на Воронцовом поле. Несколько заштатных немцев не определяли характера Вознесенской и Гороховой. Оживала для нас, реалистов, сонная лефортовская Москва лишь в двух местах: в переулке, сбегавшем к запасным путям Курской железной дороги, где из-под красного моста на нас, барчуков, злобно кидались «городские», на помощь которым иной раз появлялись долговязые, с огромными черными кулаками парни из железнодорожных мастерских, да на Вознесенской горе, там, где среди деревьев старого парка за высокою чугунною оградою белел Елизаветинский институт, а за ним, ближе к Лефортовским кадетским корпусам, еще какое-то казенное здание, выкрашенное в классический желтый цвет русского ампира.

С этой институтски-кадетской горы, с горы белых пелеринок и черных мундирчиков, мне в душу и ныне нет-нет да повеет ранневесенний ветерок грустной романтической влюбленности. Помню, как на майских выпускных экзаменах мы в перерывы выбегали из ворот

училища повертеться перед институтскою оградою, подышать светлою зеленью весенних тополей и темно-зеленым цветом форменных платьев.

Вольные казаки, мы задорно фланировали по тротуару, поджидая пока девичья карусель выйдет из глубины двора и с лукавыми взорами из-под благонравно опущенных ресниц пройдет совсем близко мимо нас. Кадетам наши штатские вольности были строго запрещены: гордясь своею военною выправкою, они четкою походкою, не останавливаясь и не поворачивая головы, а лишь «глаза на-ле-во», быстро проходили мимо институтского двора.

С булыжника мостовой извозчик сворачивает на немощёный двор. Обогнув старейшую московскую кирку – скорее какую-то гигантскую серокаменную улитку, чем церковь, – и проехав мимо уютнейшего пасторского особняка с большим стеклянным балконом над красно-желтою площадкой среди молодого яблоневого сада, мы останавливаемся у подъезда трехэтажного корпуса. Сердце падает – сейчас начнется экзамен. В темноватой передней нас радушно приветствует верный друг всех последующих лет, толстенный швейцар Иван, руссейшее обличье которого как-то не идет к петровски-лефортовскому, немецки-слободскому, скорее митавскому, чем московскому, двору реального училища святого Михаила; напоминая кондровских кучеров, оно несколько успокаивает мое замирающее сердце. Покой мой длится однако не долго. Распространяя благодушный запах кофе и сигары, в «раздевалку» быстро входит седоусый и седобровый склеротически-пунцовый человек в длиннополом сюртуке и, не дав опомниться, быстро ведет нас к самому директору.

Мы входим в очень странную комнату. Среди античных ваз, лиственных орнаментов и геометрических тел задумчиво молчат на полках под самым потолком

Зевс, Афина-Паллада, Гомер и Апполон. У подножья гипсового Олимпа – потрепанные чучела тетеревов, ястребов, белок, сусликов и всякой иной твари. На столах физические приборы и электрические машины: поршни и колбы, синие и матовые стекла. На стенах и даже на дверях – карты. А в середине этого устрашающего новичков «фаустовского» мира – великолепнейшая фигура действительного статского советника, фон Ковальцига, лиценциата Дерптского университета, давно сменившего пасторский «та-лар» своей молодости на форменный синий сюртук, а по торжественным дням и фрак министерства народного просвещения.

Никакими особыми талантами пастор Ковальциг, на ученическом жаргоне «дед», не отличался, но назвать его бездарным человеком было бы все же несправедливо. Одаренный не только на редкость репрезентативною внешностью (военная выправка, благородный постав головы, орнаментальный расчес седых волос вокруг «высокого чела», но и типично немецким даром труда («auch Fleiss ist Genie», Goethe[1]), он создал как никак первоклассное учебное заведение. Русский язык преподавали лучшие педагоги Москвы: председатель «Общества любителей русской словесности» Грузинский, Сливицкий, Вертоградский и только что оставленный при университете по кафедре западно-европейской литературы Лютер. Привлечение молодых, талантливых сил было вообще одною из забот «деда».

Прилежание – тоже гениальность.

Совсем особую роль сыграл в моей жизни приглашенный «дедом» в качестве преподавателя естественных наук скуластый, темноглазый, несколько чахоточного вида человек, типичный представитель идеалистически настроенного ученого и безвластного в классе учителя.

[1] Прилежание тоже гениальность.

На каждом уроке Грубер почти что заклинал нас возлюбить его прекрасную, увлекательную науку и серьезно заняться ею. Изо всех двадцати пяти человек нашего класса я, кажется, один тронулся его мольбой и, вопреки всему строю своих интересов и способностей, на время как будто бы полюбил ботанику и зоологию. Грубер заметил это и был особенно внимателен ко мне. Несмотря на это, между нами на одном из уроков неожиданно вспыхнуло тяжелое недоразумение. На шестнадцатом году своей жизни я впервые пережил трагический опыт столкновения двух правд.

По классу разнесся слух, что Грубер, желая перед экзаменом проверить наши знания, будет «гонять» по всему пройденному курсу. Подготовившись честь-честью и уверенный, что я на любой вопрос сумею ответить на пятерку, я с совершенно чистою совестью явился на урок со вторым томом «Анны Карениной» (не терять же мне время на выслушивание ответов своих одноклассников в то время, как Анна Каренина шлет телеграмму, а затем и записку Вронскому и не знает, как ей быть и что делать). И вот в то время, как перед моими глазами под звон к вечерне мелькали вывески – «Филиппов», «Куаффер Тютькин», мимо которых бурный, бредовой поток ревности, гордости и отчаяния неудержимо стремил несчастную Анну в темный водоворот лязгающей железом и грохочущей колесами смерти, внезапно раздался обращенный ко мне вопрос Грубера: «Правильно ли Куликов описывает устройство коровьего желудка?» Вырванный из своего мира, я взволнованно ответил Груберу, что могу сейчас же нарисовать и описать устройство коровьего желудка, но сказать, правильно ли отвечал Куликов – не могу, так как я читал Толстого. Очевидно уже не на шутку раздраженный нерадивостью учеников, Грубер вспылил и с несвойственною ему резкостью заявил мне,

что читать романы во время уроков естествоведения недопустимо и что он от меня такого поведения никак не ожидал.

Все дальнейшее помнится мне, как во сне. После мгновенного потемнения в глазах, меня в точном смысле этого слова взорвало. В первый раз в жизни неожиданно налетел на меня темный вихрь того припадочного гнева, который на войне чуть не подвел меня под расстрел.

Что я с поднятым кулаком кричал в лицо Груберу – я не помню; знаю только, что на его требование покинуть класс, смягченное предложением выпить воды и успокоиться, я заявил, что класса не покину, а предлагаю ему самому выйти вон.

Милый Грубер, интеллигент чистейшей воды, опешил и растерялся окончательно. Забыв престиж и дисциплину, он объявил урок законченным (до звонка оставалось, правда, всего несколько минут) и, беспомощно размахивая руками, послушно зашагал к двери…

Я вышел следом за ним. Мне было бесконечно жаль и его и себя. Слезы душили горло. Чувствовалось, что все кончено, что все погибло, что некуда и не к кому пойти. Как рассказать дома, как объяснить, почему я поднял кулаки на Грубера, о котором так много рассказывал и которого так хвалил. Кто поймет и кто простит?

Первым все понял и все простил сам Грубер. После долгого, взволнованного и очень проникновенного разговора со мною, он сказал, что на заседании педагогического совета возьмет главную вину на себя и ни за что не допустит исключения меня из школы. Свое слово Грубер сдержал, меня наказали очень мягко. Совет постановил, чтобы я в продолжение двух месяцев приходил сидеть в школу по воскресеньям с десяти до трех. Так как мне было разрешено приносить любые книги (после «Анны Карениной» я сразу принялся за «Войну

и мир»), а мама пыталась смягчить мои «сидения» особенно вкусными завтраками, то я мог бы чувствовать себя совсем хорошо, если бы не муки совести, которые не смолкали, а скорее усиливались в окружавшей меня атмосфере любви. Я не знаю, чем кончилось бы мое все нарастающее волнение, если бы, отсидев два или три воскресенья, я не заболел бы какою-то особенною формою тифа, часто разыгрывающегося, как уверял маму доктор, на почве сильного нервного потрясения. Заболел я на первой неделе поста. Впервые встал с постели на третий день Пасхи. Болезнь протекала в очень тяжелой форме. И все же она осталась в памяти одним из самых значительных и даже радостных переживаний моей юности. В связи с нею в душе воскресла, быть может, самая сложная тема моих детских лет, таинственно связанная с тяжелою болезнью моего младшего брата Бориса.

Спустя несколько дней после героически перенесенной операции, почти без наркоза (оперировали у нас на дому знаменитые московские хирурги Постников и Сумароков) брату внезапно стало очень худо. Наш светлый мир сразу же погрузился во мрак и тишину. Мама почти совсем перестала заходить к нам в детскую. Молчаливая рябая сестра милосердия с колкими глазами и красными руками часто спешно проходила по коридору, распространяя вокруг себя тревожный запах карболки. Из-за двери доносились мучительные стоны. Пользуясь ослабленным надзором над нами, я по нескольку раз в день выбегал, хотя это и было запрещено, в сад, мчался в самый дальний запущенный угол его и со странно-мучительною страстью прислушивался к доносившемуся с больничного двора жалобному воркованию голубей. Слушая воркование, я почему-то думал, что это стонут больные. Сад приобретал страшный, манящий смысл и я все чаще и чаще убегал в него. Тут и зародилась моя игра.

Не без труда выпросил я у фельдшера Алексея Ивановича, который приходил перевязывать брата, старую трубку для выслушивания больных, добыл у столяра Селеверстова небольшой молоточек, у Чибиса – старый садовый нож, уложил все это вместе с тряпками, паклей и бечевками в ящик из-под лото и принялся лечить больные деревья. Особенно любил я убегать «на практику» в сумерки в ненастные дни, когда после дождя на ветру со стоном маялись, качались и облетали деревья.

Наметив своих пациентов, я тщательно выслушивал их и затем приступал к операции. Очертив больное место ножом, я с болью в сердце сдирал с деревьев кору, а затем заботливо накладывал перевязку: пакля, намазанная колесною мазью, тряпка и, наконец, бечевка. Сердце в эти минуты у меня билось отчаянно, затылок горел, руки тряслись; я страшно спешил, боясь, что меня что-то настигнет.

Охватившую меня страсть я тщательно скрывал не только от взрослых, но даже и от брата. Может быть, в ней было нечто от тайны творчества, любви и смерти, которую душа человека всегда целомудренно охраняет от чужих глаз. Лежа в тифу, я снова переживал свою детскую игру и, вероятно, впервые думал о своей смерти.

Чем дольше я лежал, смотря целыми днями на белый потолок и светлые обои комнаты, тем ярче означалась в душе звуковая реальность исчезнувшего из глаз мира.

Под вечер, когда на слабеющее сознание волна за волной начинали набегать «ошпары» подымающейся температуры, самое обыкновенное чаепитие в соседней столовой развертывалось в сложную звуковую картину. Сначала с невероятною, наполняющею всю комнату певучею силою били старинные часы: пять, четверть шестого, половина шестого… Затем в столовую тихо

входила Маша и тут же начинался тихий фарфоровый перезвон чашек с блюдечками; в этот разговор высокими серебряными голосами вступали и чайные ложки. Накрыв стол, Маша уже быстрыми тяжелыми шагами вносила в столовую наш большой самовар, который, как мне казалось, иной раз по комариному жалобно плакался, а иной раз устало пыхтел, как подходящий к станции поезд. Лилась струя воды и чайник четко стукался о конфорку: сейчас Маша доложит, что самовар подан. С приходом в столовую домашних, а иногда и гостей, все звуки сразу же исчезали в многоголосом шуме. Мне представлялось, что в столовой, как в бане, клубятся душные пары. Чаще других приходила мамина золовка со своею падчерицею, дочерью скрипача Большого театра, который первым браком был женат на итальянке, носившей громкое в музыкальном мире имя Патти. Между мною и его дочерью Людмилой незадолго до трагического случая в школе, незаметно для нас самих началось робкое перестукивание сердец. О, как хотелось мне услышать милый Людмилин голос, но милый голос молчал. Зато неустанно трещала картавая трещотка ее мачехи. Адская огненная пещь все горячее дышала в лицо расплавляющим череп жаром. Во всем теле ключом кипела кровь, стуча молотками в висках и сердце. Постепенно сознание слабело. Паровозными огнями набегали на меня огромные лучистые итальянские глаза и все куда-то исчезало… Начинался бред…

К утру жар спадал. Обессиленное за ночь тело, приятно освеженное одеколоном, пластом лежало в свежеперестланной постели; из-за опущенных штор в комнату мягко лился рассеянный свет. Приходила мама, садилась к окну за писание писем, или за какое-нибудь шитье, стараясь, согласно докторскому распоряжению, почти не разговаривать со мною. Два раза в неделю

приезжал он сам – толстый, веселый, румяный и обнадеживал, что к Пасхе обязательно подымет «темпераментного молодого человека». О моем школьном приключении он знал и так же сочувствовал мне, как почти все родные и знакомые, постоянно справлявшиеся о моем здоровье. Чаще всех справлялся милый Грубер. Уверен, что ни в одной другой стране, не говоря уже о Германии, в которой я живу и которую наблюдаю вот уже 16 лет, с дерзким нарушителем школьной дисциплины не обошлись бы так мягко, как со мною. Я знаю, русский либерализм проиграл революцию, тем не менее – честь и слава русскому учителю-интеллигенту.

Наступает Страстная. Весь дом готовится к празднику: моются окна, натираются полы, на дворе выколачиваются ковры. Мама часто приезжает из Охотного перегруженная корзинами и кульками. Но вот все кончено, остается только заранее накрыть пасхальный стол, чтобы хоть немного отдохнуть перед заутреней. В одиннадцать мама заходит ко мне, велит обязательно спать, обещая разбудить и похристосоваться по возвращении из церкви. Идет она, впрочем, не в церковь, а во двор Зачатиевского монастыря посмотреть на иллюминацию, послушать ликующее «Христос Воскресе» и радостный всемосковский звон.

Своего пробуждения в ту далекую, всеми здешними и нездешними светами светлую ночь, мне не забыть до конца своей жизни. В тысяча девятьсот семнадцатом году я, тридцатитрехлетний поручик, писал с фронта у «Золотой липы» матери в Москву: «А где тот, быть может, самый счастливый час, когда выздоравливающий от тифа я проснулся в твоей, наполненной светлым пасхальным звоном комнате и увидел тебя, выходившую меня, нарядную, счастливую и трогательно взволнованную у моей постели. Господи, как ликовала,

душа, как таяла она в пасхальном звоне, как возносилась вместе с ним»…

Нет, не случайно перекинулся я памятью с Вознесенской горы в Карпаты. Замученная душа сейчас всюду ищет опоры. Я же уверен: не разрешись моя трудная душевно-телесная болезнь в радостное, к самому Светлому празднику, выздоровление, я, быть может, не был бы ныне в силах с верою ждать чуда исцеления и воскресения России…

На столе в номере гостиницы кипит самовар. Мы спешно доедаем калачи с зернистою икрою. В награду за выдержанные экзамены мама ведет нас в балет. На сцене зеленые кусты, среди них какая-то большая белая статуя и бесконечное количество мелькающих и крутящихся розовых ног. Впечатления от всего этого решительно никакого; а как я был взволнован выступлением проезжего комика в Кондрове! Очевидно, всему свое время.

Два года спустя я впервые попал в оперу. Восторгу моему не было границ. С тех пор прошло вот уже более сорока лет, а перед глазами все еще стоит белолапчатый бор, в дремучие недра которого густо валит крупный театральный снег; черным крестом стоит по колено в снегу широко раскинувший руки Сусанин-Трезвинский и поет свою предсмертную арию. Мне жаль его предельною жалостью и все же я в бесконечном восторге от его громадного голоса, которым он легко наполняет неохватный красно-золотой театр. Вот выбегает пышногрудый Ваня-Синицына в расстегнутом тулупе и красной шелковой рубашке. Стуча тяжелым кованым кольцом в монастырские ворота, она на весь мир разносит тревожную весть: «Бедный конь в поле пал, я пешком прибежал… Отворите…»

Театрам Москвы, в первую очередь, конечно, Малому, я мог бы посвятить не один десяток страниц своих

воспоминаний. Их влияние на меня, в особенности в старших классах, было огромно. Восемь спектаклей за зиму давали душе и фантазии больше, чем восемь месяцев школьного учения. Сцена воспитала, как в нас с братом, так и в наших сверстниках, благородный навык медленного чтения. Во всех романах я все диалоги не просто прочитывал, а с чувством проговаривал про себя. В пятом классе мы с братом вошли в два литературные кружка – один школьный и один частный, в которых с распределенными ролями прочитывались почти все пьесы, что шли в Малом и Художественном театрах. Учеником шестого класса я впервые участвовал в настоящем спектакле. Шли «Тяжелые дни» Островского.

Предо мной тройное зеркало. Знаменитый театральный парикмахер Чугунов с бритым лицом заправского актера священнодейственно напяливает на меня купеческий парик и наклеивает рыжую с проседью бороду лопатой. Я играю Тит Титыча Брускова. Через десять минут, обложенный толстинками и одетый в долгополый сюртук я, не успев еще по-настоящему освоить своего нового вида, с замирающим сердцем стою за кулисами и ожидаю своего выхода… Вот, вот она моя реплика. Выпускающий толкает меня в плечо. Я ногою толкаю легкую театральную дверь и не ногами выхожу, а всею душою вылетаю в яркий свет сцены, в блаженный простор какой-то совершенно новой жизни. Какой восторг, какой полет и какое неописуемо-прекрасное чувство всамделишности, подлинности и вескости всех твоих жестов, слов и чувств…

В этом чувстве весь смысл, но, конечно, и весь соблазн театра. Та прекрасная крестьянская молодежь, с которою мне, по просьбе уездного исполкома, осенью 1919 года пришлось поставить несколько спектаклей, всем своим отношением к театру и, главное, всем своим самочувствием на сцене, по которой она еще не умела

двигаться, наглядно подтвердила мне правильность моих театральных теорий. Не зрелищ хочет народ, но игры. Наблюдая происходивший в моих деревенских актерах процесс художественного предвосхищения предстоящего им революционного переселения в высшие слои жизни, я начал понемногу понимать и то, почему народ не любит народных пьес, и то, в каком настроении играли крепостные актеры, заложившие фундамент тому художественному реализму, что создал славу «Дома Щепкина». Мне кажется, что исключительная театральность русского народа есть не только природное, но социально-возрастное явление. Во всяком случае углубленное постижение природы этой театральности совершенно необходимо для серьезного социологического анализа на добрых 50 % разыгранной большевистской революции.

Перед тем, как продолжать описание своей школьной жизни, мне необходимо ближе познакомить читателей с происхождением моих родителей, по воле которых мы с братом попали не в классическую гимназию, а в реальное училище св. Михаила.

Мой отец, умерший в самом начале Великой войны, был выходцем из Восточной Пруссии, где Степуны (исконное начертание этой старо-литовской фамилии Степунесы, т. е. Степановы) с незапамятных времен владели большими земельными угодьями между Тильзитом и Мемелем. Несмотря на свое происхождение, мой отец отнюдь не был «пруссаком» в общепринятом в России смысле этого слова. По целому ряду своих свойств – по своей мягкости, скромности, душевной беспечности и неделовитости, по своему поэтическому мироощущению, по своей вспыльчивости и отходчивости он был скорее славянином, чем германцем. Ничего удивительного в этом нет. Вся исконная, т. е. Юго-Западная Германия на том основании и не считает

пруссаков за настоящих немцев, что они чуть ли не наполовину славяне. Этим высоким процентом «выносливой и долготерпеливой» славянской крови небезызвестный немецкий философ-публицист Moeller von den Bruck объясняет, к слову сказать, политическую гегемонию Пруссии над остальной Германией.

Почему Степуны (три брата) покинули свои родовые имения и перекочевали в Россию, мне не совсем ясно. Отец как-то не говорил об этом. Скорее всего их подняла с насиженных мест тоска по более первобытной жизни, по неразбуженной цивилизацией природе, которую отец страстно любил какой-то особою, языческою любовью и волновавший тогда Европу миф о неисчерпаемых богатствах России.

Хотя юность отца совпала с величайшим триумфом Германии (в 1871-м году ему было 17 лет) в нем никогда не чувствовалось завороженности образом «Железного канцлера». Минутами в нем как будто бы пробуждалась тоска по своих предков родине, но к немецкому государству он, странным образом, не тяготел. За всю свою жизнь он только два раза ездил в Германию лечиться.

Помню, как мы с ним как-то возвращались в двуколке с вечернего объезда полей. У самого въезда в имение мы нагнали любимиц отца – статных чернопегих коров. Привередливо пощипывая траву по запыленной, придорожной канаве, они медленно возвращались домой в блаженном ожидании вечерней дойки.

Переведя в шаг своего быстрого сибирячка Наката, отец глубоко вобрал в грудь сладко пахнущий предросными, вечерними полями, дорожной пылью с деготьком и коровьим выменем воздух, опустил голову и так непривычно для меня по-немецки вздохнул: «Junge, Junge, wie das plotzlich nach Ostpreussenriecht[2]. Его слова

[2] Ах, мальчик, как вдруг запахло Восточной Пруссией.

отозвались у меня в душе какою-то новою к нему нежностью и жалостью, но о чем они – мне осталось непонятным.

Через 12 лет, будучи кандидатом философии Гейдельбергского университета, я попал в Пруссию. В небольшом шарабанчике, но только без дуги, возвращался я со своею троюродною сестрою с веселой прогулки. Стоял такой же, как некогда у нас в Кондрове, тихий ранне-осенний вечер. На выгоне, недалеко от проселка, по которому пылил наш незатейливый конек, паслось стадо чернопегих коров. С Немана набегал тот же пахнущий травою и хлебом, волей и ширью речной воздух, что и с родной Угры. Солнце медленно садилось в печальных просторах, золотя соломенные крыши крестьянских дворов. «Боже мой, – сказал я своей спутнице, – да ведь у вас почти что Россия» и тут же рассказал ей о нашей поездке с отцом и о его внезапном, горячем вздохе по своей Пруссии. «Да, – задумчиво посмотрела в даль моя заграничная кузина и помолчав прибавила: – у нас, Степунов, – бродячая кровь; мне тоже очень хотелось бы когда-нибудь попасть в Москву». «Может быть, тебя потому тянет в Москву, – отвечал я ей, – что ты выросла в здешних просторах. Родись ты католичкой, под готическим собором во Фрейбурге, Москва была бы тебе наверное чужой».

С матерью отец познакомился в Москве. Шведо-финский род Аргеландеров переселился из-под Або в Пруссию в начале семнадцатого века. По пути в нее кое-кто, очевидно, задержался в России; наша семейная хроника сообщает, по крайней мере, что швед Генрих Иварсон, по прозвищу Аргеляндер, служил при Петре I-м директором порохового завода в Москве. Целый ряд моих предков, начиная с родившегося в 1552-м году под Выборгом и не носившего еще имени Аргеландера Эскель Кауханена, были пасторами, слившими

впоследствии свою северную кровь с горячей кровью бежавших из Франции гугенотов. В моей родословной встречаются имена Bellier de Launcy, Courvoisier и других.

Всем этим я, вероятно, никогда бы не заинтересовался, если бы расизм третьего Райха не заставил меня, как профессора высшего учебного заведения в Германии, разобраться в своем происхождении. Мое арийское происхождение мне, однако, не помогло. В 1937-м году я был уволен в отставку за «русский национализм, практикующее христианство и жидопослушность».

Хотя отец моей матери и был страстным ненавистником «попов», как «протестантски-сюртучных», так и «православно-долгогривых», и начисто отрицал христианство, он все же был самым настоящим кальвинистом не в религиозном, а в раскрытом Максом Вебером социологическом смысле этого слова. Непоколебимою основою его жизни была фанатическая вера в роль труда. Он не для того работал, чтобы жить, но жил для того, чтобы работать. Наживая много, он не считал себя вправе много проживать. Не взяв за всю свою поначалу трудную жизнь ни у кого ни копейки взаймы, он всякую просьбу о займе рассматривал, как попытку его обокрасть. Любить – означало для него прежде всего не проявлять нежности: свою семью он держал в черном теле, но своих бедных дальних родственников поддерживал, никогда никому об этом не говоря. Будучи по своему миросозерцанию аскетом-моралистом, дед очень интересовался криминалистикой, выписывал судебные журналы и часто ходил в суды. Как все неверующие люди, он был крайне суеверен; в тех редких случаях, когда он уезжал куда-нибудь, он писал целые рескрипты, что нужно делать в случае пожара или кражи. Он очень боялся смерти, и, быть может, потому как-то болезненно тяготел к молодежи, еще не тронутой ее дыханием. С нею он перерождался: смешил,

шутил, ухаживал, старомодно, но прекрасно танцевал, словом всегда бывал душою общества.

Кончил этот, поражавший людей своею занятностью и своим балагурством, чудак совсем не в стиле своей жизни – семилетним безумием. В мучившей его мании преследования, среди других, более внешних мотивов – убьют, отравят – звучал и мотив покаяния. Слова этого он, конечно, никогда бы не произнес, его очищающего, религиозного смысла никогда не признал бы, и все же его преследовали сомнения: правильно ли он прожил свою жизнь, не был ли слишком крут с детьми. Худой, желтый, с испуганными тоскующими глазами, обросший седою бородою и все еще пытающийся над чем-то трудиться за высокою желтою конторкою, он производил страшное впечатление, напоминая нам с братом Короля Лира.

Стараясь понять, почему так жестоко сорвалась жизнь моего деда, я с годами все больше склоняюсь к мысли, что последнюю причину надо искать в суровом пафосе окончательно раскрещенного пуританизма.

Занесенный судьбою в нетронутую западноевропейским трудолюбием и потому сторицею отзывающуюся на всякое трудовое усилие Россию, дед, отнюдь не исповедуя веры своих праотцов-кальвинистов, что удачливый земной труд есть залог-вечного спасения, всю свою жизнь так же неустанно и напряженно работал, как и его предки, надеявшиеся своим трудом стяжать царство небесное. Трудясь, он безблагодатно верил в то, что человек своею волею и своим трудом может устроить мир и себя в благоустроенном им мире. Любимое изречение национал-социалистической Германии, красовавшееся одно время почти во всех общественных учреждениях «Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg»[3]

[3] Там, где есть воля – там есть и путь.

всю жизнь невидимо висело над рабочим столом моего деда. И вдруг оказалось, что своя воля не выход, а безвыходность. В безвыходном положении оказался, благодаря его педагогическим приемам, старший сын, которого он за легкомыслие и долги лишил наследства и без гроша выслал в Америку, где тот и погиб. В безвыходном положении оказалась старшая дочь, вышедшая замуж за моего отца прежде всего ради того, чтобы поскорее освободиться от гнета отчего дома. В безвыходном положении оказалось в руках нетрудоспособного преемника с таким трудом и любовью выпестованное коммерческое дело. В безвыходном положении на старости лет оказался и он сам, попавший в тяжелую зависимость от своей второй жены, которую взял исключительно ради трех сирот, твердо уверенный, что, заботливая бонна, она будет им и хорошею матерью. Второй любви он в себе никогда не допустил бы. Овдовев на пятом году счастливейшего брака, он решил, что пожизненно останется верен памяти своей веселой, бесхитростной подруги, типичной москвички, женщины с простым, но живым умом и с прекрасным низким голосом.

Я так подробно описал своего деда, потому что он сыграл очень значительную роль в моей жизни. Не держи он своих детей от первого брака в ежовых рукавицах, в моей матери вряд ли бы выросло то в детстве бессознательное, а впоследствии и вполне осознанное отталкивание от всего немецкого, от которого она освободилась только к старости. Девицей на выданьи она часто говорила своим подругам, что лучше броситься в омут, чем выйти замуж за немца. Это отталкивание могло бы, конечно, и не превратиться в полное внутреннее приобщение к русской стихии, если бы мать на шестом году своей жизни не подпала под влияние того таинственного и запретного для нее мира,

которым жил подвальный этаж. Здесь, среди прислуги и артельщиков, которые укрывали свою барышню-сиротку от «сатаны» мачехи и «чудака» барина, она впервые почувствовала и обрела народную Россию. Сколько раз и с какою нежною благодарностью рассказывала мне мама, как от природы шустрая, веселая – вся в мать – но в тяжелом сиротстве преждевременно созревшая девочка, она тихонько спускалась бывало к семи часам вечера на черную кухню, где «людская» кухарка собирала артельщикам ужин.

По воскресеньям в артельной бывало особенно весело. Сверху из барской кухни приходила пристрастная к крепким напиткам белая кухарка Алена. В будни Алена крепилась – не пила, но зато в воскресенье, отпустив «поварской» обед, напивалась с полным чувством, своего права на жизнь. В праздничном платье, с платочком в руке, спускалась она, заслышав гармонь любимого дедушкина артельщика Якова рязанского, к презираемым ею в трезвом виде «серым мужикам» (у немолодой Алены было, по маминым рассказам, очень тонкое, благородное лицо) и тут же, подбоченясь и склонив голову на бок, начинала волчком кружиться по комнате, залихватски выкрикивая все одни и те же строки:

У Николы звонаря
Во все кол-кола звонят
Все Алену хоронят.
Эх, Алена, эх Алена, эх Аленушка моя.

Натанцевавшись до изнеможения, она замертво валилась на лавку, но, отдышавшись, принималась снова «догонять свою молодость». Это повторялось много раз до полного истощения сил.

Единственное время в году, когда Алена не позволяла себе ни рюмки водки – был Великий пост. Постом Алена, которою в доме очень дорожили как исключительной поварихой и которой потому разрешалось

чуть ли не ежедневное посещение церкви, совершенно, преображалась. Лицо становилось бледным, строгим и светлым, походка медленной, движения тихими; уста свои Алена постом старалась «не распечатывать», зная за собою дурную привычку постоянно ворчать на черную кухарку Надежду, которая была у нее в подчинении.

Все с тою же Аленою попала мать на десятом году своей жизни впервые в православную церковь Введения во храм Пресвятые Богородицы, на углу Лубянки и Кузнецкого моста. Посещение ранней обедни в субботу на Страстной, которая в те времена служилась на рассвете, произвело на мою мать неизгладимое впечатление.

Войдя на цыпочках в детскую, Алена с вечера сказала, что поутру разбудит, чтобы идти в церковь. Но будить ей своей барышни не пришлось. Взволнованная, с бьющимся сердцем уже давно сидит Машенька на постели и прислушивается, не встает ли Алена… Наконец-то в двери шёпот: «вставай, собирайся». С башмаками под мышкой спускаются обе по темной внутренней лестнице в переднюю. Сердце заходится от страха – как бы не оступиться, не зашуметь, не разбудить мачехи. Но вот все муки преодолены, Алена осторожно снимает огромный болт парадной двери и в лицо веет ночной холодный воздух. Темными, безмолвными тенями спешит народ в церковь. Вместе с народом, крепко держа Машеньку за руку, всходит и Алена на паперть. В церкви тоже темно, но мрак совсем иной: живой, трепещущий от лампад и свечей. Все молчат, но все же по церкви ходят шорохи. Посреди плащаница, перед нею духовенство в черных с серебром облачениях, скорбно поет хор, густо струится ладан. Машенька не совсем понимает, что происходит, но, творя за Аленой крестное знамение и покорно опускаясь на колени, она чувствует, что всю ее переполняют неведомые ей до сих

пор любовь и жалость ко всем окружающим ее чужим, но близким людям. Ей хочется плакать, она обнимает свою милую Алену и обе выходят из церкви.

На дворе уже светает. Грустная, грустная, что все уже кончилось, бежит Машенька с Аленой домой в отчаянии, что завтра будет все тот же томительный, одинокий день. Раздев и уложив свою любимицу, Алена трижды крестит ее и велит спокойно спать. Машенька быстро засыпает крепким, счастливым сном. В этом сне, за пятнадцать лет до моего рождения, зарождается в душе моей матери величайшее счастье всей моей жизни – Россия.

Когда, выросший если и не в православной церкви, то все же в ее ограде и быту, я пятнадцатилетним реалистом зашел в канцелярию реформатской «кирки», чтобы записаться на конфирмационные уроки, я почувствовал себя в совершенно чужом мире. Благодаря пастору Брюшвейлеру, искреннему и горячему проповеднику, этот новый мир не оттолкнул меня, а наоборот, привлек к себе. Суровый швейцарец, самозабвенно влюбленный в снежные горы своей родины, философ, политик и моралист, Брюшвейлер к догматической и обрядовой сторонам всякого христианства относился на редкость отрицательно. Всех православных, терпящих на папертях своих церквей, дрожащих на морозе «голодранцев» и «оборванцев», он считал просто язычниками, варварски любящими свой церковный «Klim Bim», но не понимающими нравственной сущности христианства. Единственным русским христианином Брюшвейлер считал Толстого, сохранившего, по его мнению, свою христианскую совесть только благодаря упорной борьбе с церковью. Несмотря на свою антицерковность, Брюшвейлер как раз в церкви производил очень большое впечатление, в особенности, когда, стоя у простого черного алтаря, облаченный в черный

талар, высокий, бледный, очень худой, с громадными серыми, предельно близорукими, невидяще-прозорливыми глазами, он с мистическою сосредоточенностью медленно произносил молитву; того Господа Бога, в которого верил, лишь как в величайшего человека всех времен и народов.

Если Брюшвейлер своею острою критикой мифической стороны Евангелия и догматов и не убил моей детской веры, то он все же обострил мое критическое отношение к ней. Вернувшись на очень сложных путях и не без участия той критической философии, основы которой во мне заложил Брюшвейлер, к своей полусознательной вере, я почувствовал необходимость перехода в православие. Я знаю, к нему меня привела не только его большая мистическая и догматическая глубина, но и вся прожитая мною в России и с Россией жизнь. Такое русское детство, как наше Кондровское, служба сразу же по окончании среднеучебного заведения в русской армии, несколько лет лекционных разъездов от Смоленска до Коканда и от Петербурга до Одессы и Кавказа, породивших в душе живую зачарованность образом России, четыре года братской близости с русским солдатом, с двенадцатилетнего возраста поэтическая влюбленность в Лизу Калитину и Наташу Ростову, женитьба и первым и вторым браком на коренных русских женщинах и, наконец, в революцию, пять лет трудовой, крестьянской жизни на русской земле – все это неизбежно должно было превратить в подлинно русского человека не только такого близкокровного России полупруссака, как я, но и совершенно инокровного ей грузина, или еврея.

Думаю, что не без подсознательного желания предупреждения такого превращения, отец против воли руссофильски настроенной матери и настоял на том, чтобы нас отдали в Михайловское училище, отличавшееся

от казенных реальных тем, что в нем всеобщая история преподавалась на немецком языке. Очевидно отец рассчитывал на то, что в Михайловском мы выучим язык его родины и сдружимся с детьми настоящих немцев. Все эти расчеты оказались ошибочными, так как «национальный вопрос» решался в «немецкой» школе в том же духе бытового и культурного самоопределения, в каком его решала вся передовая интеллигентская Россия.

Вспоминая свои отроческие годы, я не могу не остановиться, у подъезда дорогого мне дома на Нижней Пресне, принадлежавшего живописнейшему московскому купцу, торговавшему в «Городе» зеркалами и церковною утварью. Расчесанный на прямой пробор, с черною до синевы бородою, с тяжелыми, сычьими глазами и колкими сычьими же бровями, кирпичнолицый, плотно сбитый Иван Трофимович сумрачно выплывавший иногда к чайному столу в длинном затрепанном сюртуке, а также и его супруга, ко всему равнодушная, с каким-то смытым с лица лицом женщина, в лиловой кружевной кофточке, казались мне в свое время не живыми людьми, а какими-то персонажами из комедий Островского.

Каким образом мы с братом попали в дом Баклановых, я не помню, но, попав, мы сразу же оказались захваченными его кипучею жизнью. Вдохновительницей всей собиравшейся там молодежи была сестра хозяйки дома, обожаемая нами «тетя Зина». Этой тете Зине мы все подчинялись радостно и безоговорочно, чувствуя в ней революционера в стане отцов. Тетя Зина, которой в зиму нашего знакомства шел всего только 30-й год, по всей вероятности, на всю жизнь сохранила бы типичный вид радикальной, стриженной курсистки, если бы, страстно влюбившись в знаменитого певца Тартакова, не открыла бы в один прекрасный день своего действительно большого сходства с его «Демоном»

и не постаралась бы довести это сходство до изумительного совершенства. Казалось бы пустяк, но этот пустяк оказал на Зинаиду Николаевну очень большое влияние: демон не может быть социалистом-революционером и всю жизнь заниматься аграрной программой. Заведя тартаковские кудри, слегка подсурмив взвивающуюся бровь и нашив себе, вместо всякой «модной ерунды», на лето белых, на зиму черных хитонов, Зинаида Николаевна не только не изменила себе, но, быть может, впервые нашла себя, неожиданно обрела сверхинтеллигентское богатство своей артистически-философской природы. Давая нам читать кое-какие листовки, говоря извозчикам и прислуге как-то подчеркнуто «вы», она, главным образом, вела с нами широко поставленную культурно-просветительную работу, опираясь на меня и на свою старшую племянницу, совершенно очаровательную дурнушку, жидковолосую, большелобую Настеньку, с голубым вопросительным знаком в широко раскрытых глазах и маленькою, розовою пуговкою вместо носа над наивно приоткрытыми губами.

Надо ли говорить, что через несколько месяцев совместных дискуссионных вечеров и литературных чтений, в моем сердце началось весьма серьезное раздвоение между итальянскими очами Людмилы и сине-серыми глазами Настеньки.

На том школьном вечере, который я описывал выше, это раздвоение было сразу же разгадано Настей и на меня обрушились громы… Но какие… Семнадцатилетняя девочка, которую тетя Зина за какое-то сходство с теми нежными, в ласково-бархатных пушках прутиками, что к концу Великого поста появлялись за тяжелыми киотами пресненского особняка, звала Вербочкой, с такой внезапною силою распахнула передо мной огнедышащие недра своего отцовского нрава, что, заглянув в них, я окончательно потерял голову.

До Настеньки Баклановой никому из моих читателей не может быть никакого дела. Ее запутавшуюся в будущем жизнь можно было бы изобразить в романе, в повести, драме, но не в воспоминаниях. Если я все же вызываю ее милый образ, то не затем, чтобы показать девочку, от которой вспыхнуло мое сердце, а ту мятежную душу, от которой сгорела Россия. Те неуемные страсти, гневные безудержи, что в 1898 году под бравурные аккорды знаменитого короля таперов Лабади, внезапно обрушила на меня Вербочка, прошумели впоследствии сквозь души и жизни всех Баклановых, среди которых, к величайшему удивлению дожившей до старости матери, оказались и талантливые поэты, и восторженные безумцы, и крайние революционеры, и ярые белогвардейцы. Такая яркость психологического спектра купеческой «серости» весьма характерна для предреволюционной России. С нею связаны, как изумительный расцвет русской культуры, о котором говорят как имена меценатов Третьяковых, Шанявских, Морозовых, Щукиных, Рябушинских, Мамонтовых и т. д., так и страшные срывы русской либеральной революции в кровь и ужас большевизма: ведь удалось же Горькому в 1905-м году собрать среди именитой русской буржуазии громадные деньги на революцию, т. е. на ее собственное изничтожение. Вспоминая прошлое, иной раз трудно удержаться от мысли, что все наше революционное движение было каким-то сплошным бредом, не объяснимым ни социально-политической отсталостью русской жизни, ни особою чуткостью русской души к несчастьям ближнего, а скорее всего поветрием, некоторой эпидемической болезнью сознания, которая заражала и подкашивала всех, кто попадался ей на пути.

Нервно, мучительно, в тяжелой экзаменационной страде, изредка прерываемой немногими часами отдыха,

которые мы проводили то в булочной Совостьянова, где мы наскоро подкреплялись жареными пирожками, то у институтской ограды, сквозь железные прутья которой грустно перелетали предразлучные взоры, проносились последние, манящие в деревню майские дни.

Но вот все муки кончены и наша тесная дружеская компания решает отпраздновать окончание школы поездкой на Воробьевы горы. В следующее же после торжественного акта воскресенье летят вниз по Тверской, через празднично-пустынную Красную площадь, по москательно-скобяному Балчуку, по тишайшей провинциальной Ордынке и дальше мимо Нескучного сада к знаменитому ресторану Крынкина три лихацких пролетки. В них, навстречу своим неизвестным, но радостно ожидаемым судьбам, весело несутся шесть горячих, молодых сердец. Звонко цокают па булыжнику подковы, мягко подпрыгивают колеса на резиновом ходу, за обещанный «на-чай» от души усердствуют извозчики. В расчете на длинную обратную прогулку, мы едем спозаранку. Из церквей под светлый колокольный звон степенно расходится народ. Милый, старомосковский воздух напоен горьковатым запахом буйно цветущей за заборами черемухи.

Обедали мы совсем как взрослые: закуска, котлеты «de volaille», Гурьевская каша и к ней две бутылки шампанского, чтобы чокнуться. После обеда заказали чай и долго сидели за столом, беседуя о своих планах. Трое из нас идут самым обычным путем – поступают в Московское Императорское Техническое училище, среди них и мой брат. Один из нас идет на сцену, наш поэт мечтает о сборнике стихов и кругосветном путешествии. Наиболее темны и противоречивы мои планы: тянет и на сцену, и в Училище живописи и ваяния (я уже справлялся об условиях приема у директора, профессора Гиацинтова), но больше всего хочется попасть

на историко-филологический факультет. Этому плану мешает, однако, то, что с аттестатом реального училища в университет не принимают. Древние языки можно было бы, конечно, осилить, но на это надо время, мне же не терпится как можно скорее надеть форменную фуражку и гулять студентом.

После чая мы спускаемся к Москва-реке, переправляемся на другой берег и медленно, пустырями, пахотами и огородами пробираемся к Новодевичьему монастырю, спасательному пристанищу многих трудных минут моей последующей жизни.

О товарищах, с которыми в мае 1900-го года я в тихой задумчивости (длинный шумный день к вечеру всегда наполняет душу затишьем) входил в душистую прохладу монастырского кладбища, я скоро уже девять лет как ничего не знаю. Последние сведения были страшны, не своею исключительною жуткостью, а тою роковою советскою бессмыслицею, которая, быть может, страшнее всяких ужасов. Из актера не вышло актера: начав в 19-м году торговать опиумом, он сам вскоре стал наркоманом и в припадке непоборимой тоски лишил себя жизни. Мечтавший о кругосветных путешествиях поэт, не выпустив ни одного сборника своих стихотворений; заболел после нескольких месяцев тюремного заключения неизлечимым сердечным недугом. Знаю, что в 1926-м году он еще проживал в неуютной, грязной каморке на четвертом этаже, из которой никогда не выходил, не будучи в силах одолеть лестницы. С таким аппетитом уплетавший Гурьевскую кашу на Воробьевых горах, Николай Никулин уже давно лежит под землею, загнанный туда революционным сыпняком. Его до слепоты близорукий брат, талантливейший математик, занимает, если с ним за последние годы не случилось ничего страшного, неизвестно почему, довольно большой пост в Красной армии. О моем брате

ничего не знаю, не знаю даже жив ли он… В душе страх и оцепенение. Россия темнеет перед глазами бескрайним кладбищем… Стоят ли еще в Новодевичьей ограде кресты и памятники на дорогих могилах? Иной раз кажется, что их уже не найти. Войду ли я когда-нибудь в знакомые монастырские ворота, или так до конца жизни только и буду в тоске перечитывать изумительные строки тоже уже умершего Белого.

Из мира, суетной тюрьмы, –
В ограду молча входим мы…
Крестов протянутая тень
В густую, душную сирень,
Где ходит в зелени сырой
Монашек рясофорный рой,
Где облак розовый сквозит,
Где нежный воздух бирюзит:
Здесь сердце вещее, – измлей
В печаль белеющих лилей;
В лилово-розовый левкой
Усопших, Боже, упокой…

Февраль-май 1938 г.

Глава III
ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ. КОЛОМНА. КЛЕМЕНТЬЕВО

Мои мучительные колебания между университетом, Училищем живописи и ваяния и сценой привели меня неожиданно к решению прежде всего отбыть воинскую повинность. Я рассчитывал за год военной службы окончательно выяснить себе куда меня больше всего тянет, в чем мое настоящее призвание. Время для поступления в кавалерию или артиллерию (служба в пехоте представлялась мне совершенно невозможной) было давно упущено. Тем не менее я решил, во что бы то ни стало, добиться своего, что мне, к величайшему удивлению моих родителей, каким-то чудом и удалось. Командующий московским военным округом, к которому я выискал протекцию, разрешил сверхштатно зачислить меня вольноопределяющимся в пятый мортирный дивизион, стоявший в то время в Коломне. «Не теряя минуты напрасно», полетел я в Коломну для зачисления в дивизион. Дивизионный адъютант, поручик Димитриев, – усы в душистом бриллиантине, серебряный портсигар в золотых и эмалевых монограммах, душа в авантюрных мечтах – принял меня как родного. Накормил вкуснейшим обедом в офицерском собрании и, после оживленной беседы о московских театрах и ресторанах, отправил для улаживания формальностей к старшему писарю Александрову, козлобородому сверхсрочному фельдфебелю, грозе, как впоследствии выяснилось, не только «вольноперов», но и молодых подпоручиков. Недовольный моим поздним появлением в дивизионе, он сделал всё, что мог, чтобы на основании всевозможных уставов и параграфов затруднить мое зачисление в часть. Но, в конце концов, мы с ним поладили. Обошлось это недорого, всего только

в десять рублей. Через час я выжженными пустырями летел уже на лихаче из Коломны в Голутвино, чтобы попасть на скорый московский поезд. Вечером, за чаем, я радостно рассказывал о своей окончательной удаче.

Приехав в Коломну, я застал там шесть вольноопределяющихся: четырех москвичей и двух коломенцев. С точки зрения коломенских девиц, ежегодно с волнением ожидавших новых вольноопределяющихся, голутвенского буфетчика, рассчитывающего на их кутежи, и резвых лихачей, катавших веселые компании из Коломны в Голутвино и обратно, наш подбор оказался на редкость удачным.

Особенно полюбился Коломне помощник присяжного поверенного, Михаил Дмитриевич Благой. Своими барскими телесами он, правда, был несколько рыхл и грузен, но зато подлинно красив тонкою, породистою красотою. Изящно владея онегинским жестом ласковой небрежности в обращении с женщинами и довольно большим доходом, Михаил Дмитриевич без труда кружил головы робким провинциальным невестам и самоуверенным коломенским львицам.

Вместе с ним попал в первую батарею кандидат прав, Сергей Дмитриевич Гончаров, высокий, стройный юноша с улыбающимися светлыми глазами, нервным, скептическим ртом и прекрасными пепельными кудрями, которые он, с досады, что по уставу нельзя было их оставить, обрил наголо машинкою. Человек очень горячий и крайне левый, всею душой ненавидевший «военщину», Сергей Димитриевич за несколько недель до нашего выпуска из учебной команды накричал на совсем еще юного подпоручика, преподававшего нам материальную часть. Грозила весьма неприятная история, которую, однако, удалось замять. Гончаровскую вспыльчивость дивизионный врач объяснил эпилепсией, благодаря чему горячего правозаступника

и социалиста, к его величайшей радости, окончательно освободили от воинской повинности. Пробыв короткое время в батареях, мы были переведены в учебную команду, из которой вышли после шестимесячного обучения совершенными неучами. Произведенные после лагерного сбора в прапорщики запаса, мы покидали наш мортирный дивизион глубоко штатскими и в военном отношении совершенно безграмотными людьми. Винить в этом наших преподавателей было бы несправедливо. Уж очень нелепа была вся давно заведенная система совместного с новобранцами военного образования вольноопределяющихся. Привыкшие к научным занятиям «вольноперы», в несколько дней с легкостью одолевали ту несложную премудрость, которую фейерверкера должны были изо дня в день вдалбливать безграмотным парням, с трудом усваивавшим устройство мортирного замка и природу воинской дисциплины. При такой постановке дела было в конце концов только разумно, что мы чинно сидели за партами лишь во время офицерских занятий (часа по два в день), все же остальное время валялись на койке в каморке фейерверкера Кулеша, беседуя обо всем, что угодно, кроме военной науки. Преподаватели учебной команды молодые поручики Иванчин-Писарев и Черепашкин, с которыми мы встречались, как добрые знакомые на катке, в театре, главным же образом в доме одного коломенского купца, за дочерьми которого ухаживали как они, «господа офицеры», так и мы, «нижние чины», это прекрасно знали. Но что им было делать: требовать, чтобы мы по шести часов слушали фейерверковское пережевывание постигнутого нами курса, было бы прямым издевательством, разрешать же нам открыто не ходить на занятия было бы недопустимым нарушением воинской дисциплины. Оставалось только одно – смотреть сквозь пальцы на невинный обман,

который спасал человеческий смысл нашей коломенской жизни, доставлял экономические выгоды Кулешу и некоторое нравственное удовлетворение нашим поручикам, которые, разрешая нам «дискуссионную койку», не только кокетничали перед нами своим либерализмом, но, быть может, искренно гордились им. Не знаю, как в других частях, но в пятом тяжелом мортирном дивизионе «либеральные веяния» веяли уже и в 1900-м году. Неспроста известный дивизионный остряк, штабс-капитан Головин, прощаясь с нами после полигонных занятий с подмигиванием спрашивал нас: «А вы, господа вольные бомбометы (мы все уже были произведены в бомбардиры), где сегодня обедаете? В кабаке или на своей конспиративной квартире?» Ни в какой конспирации он нас, конечно, не подозревал, но показать нам свою осведомленность в тайнах политической жизни ему, очевидно, доставляло некоторое удовольствие. Конечно, не все наши офицеры были либералами. Командир четвертой батареи, в которой служил Попов, был самым ярким представителем того лагеря, в котором каждый интеллигент считался крамольником и врагом отечества. Люди этого типа были, однако, еще менее способны к пробуждению в нас духа воинской доблести и дисциплины. Реальность этих, вероятно, неотменных основ народной и государственной жизни, я понял лишь на войне. Ее мне вскрыли молодые офицерские кадры, нравственный и профессиональный облик которых был определен военною и национальною катастрофою Японской войны. Думаю, что если бы накануне Великой войны было проведено радикальное омоложение командного состава и из него были бы удалены все те господа полковники и превосходительства, которые, по-помещичьи любя сытые лошадиные крупы в денниках, ненавидели всякие технические усовершенствования вроде прибора Турова-Михайловского,

то не случилось бы многого, о чем и поныне нельзя думать без горького отчаяния в сердце.

Год воинской повинности пронесся очень быстро. Ни войны, ни повинности мы, несмотря на то, что до исполнения Соловьевского пророчества:

И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен…

оставалось всего только пять лет, так и не почувствовали. За исключением нескольких печальных инцидентов, из которых самым печальным было удаление нас, как нижних чинов, с бала в офицерском собрании (Боже, с каким стыдом и гневом спускались мы под влекущие звуки вальса с уставленной тропическими растениями и устланной красной дорожкой лестницы, по которой подымались в пух и прах разодетые и надушенные знакомые барышни и дамы), наша коломенская жизнь протекала не только весело и беззаботно, но, как мне сейчас кажется, даже поэтично. С точки зрения рыжего учителя прогимназии Капелькина, всю жизнь промечтавшего о переводе в Москву (еще страстнее мечтали о том же его некрасивые в веснушках дочери), в коломенской жизни не было ничего, хотя бы мало-мальски привлекательного. Но я, постоянно споривший с Капелькиным, и поныне вспоминаю Коломну почти с умилением. Как все уездные города, она была исполнена того непередаваемого настроения, что во всех нас, выросших в дореволюционной России, быть может, теснее всего связано с образом глухой станции после отхода почтового поезда: унылый буфетный прилавок, с никому не приглянувшимися бутербродами под сеткою, граненый графин с рыжею водою, мухи на засиженных окнах, нагретый солнцем черный, клеенчатый диван, чахлая, пыльная пальма, а рядом со всем этим убожеством и скукою, иначе Россия

не была бы Россией, задумчиво-страстный еще теремной девичий взор и вековая, то грустная, то залихватская песня с реки, с полей, не все ли равно откуда: – все русские песни с самого дна души…

В Коломне было все, чему полагается быть во всяком уездном городе: кусты запыленной акации перед вокзалом, станционные куры в них, маленький садик для субботних и воскресных гуляний, который за свою малость и круглость назывался в городе «блюдечком», обтыканный по снежному валу елками и мелко иссеченный «норвежскими» сизый каток, громогласный оркестр военной музыки, игравший летом на «блюдечке», а зимой на катке и грязноватый, но первоклассный по кухне трактир с шепелявым оркестрионом и вихрастыми лихачами у подъезда; был в Коломне, конечно, и «Кружок любителей музыки и драматического искусства», с непременным участником всех литературно-музыкальных вечеров, затянутым в шикарный, темно-синий мундир двадцатилетним гимназистом Доброхотовым – баритоном с демоническими кудрями и с шаляпинской фразировкой.

Хотя «Три сестры» еще не были поставлены в Художественном театре, их тоскующая мечта: «В Москву, в Москву…» уже волновала провинциальные города России. Отблеск этой мечты освещал и нас, столичных вольноопределяющихся, каким-то таинственным ореолом. В ответ на лошадиный топот в окнах купеческих домов и казенных заведений неизменно появлялись женские лица, с глазами, явно устремленными не на привычного поручика впереди, а на нас, вольноопределяющихся. В женской душе Коломны Московский университет явно торжествовал над армией, святая Татьяна – над Георгием Победоносцем.

По некоторым сведениям, доходящим до нас с родины, положение теперь изменилось. Слышно, что со-

циалистическая Россия страстно полюбила свою армию не как красную, а как русскую. Дай Бог. До чего хотелось бы под шапкою-невидимкою проехать с батареей по улицам Коломны и посмотреть на те лица, что появятся (не исчезнут ли?) в окнах, заслышав конский топот и солдатский шаг…

Само собой разумеется, что мы в несколько недель перезнакомились со всеми наиболее интересными представительницами женского населения Коломны. Как только выпал снег, наш гид по части развлечений, Михаил Димитриевич Благой сорганизовал веселую, на двух тройках, поездку в Голутвинский театр. После театра мы вместе с актерами шумно ужинали в вокзальном буфете. Не убоявшиеся такого открытого кутежа девицы, две бойкие купеческие дочки, француженка, гувернантка их младшего брата и служившая в какой-то управе не очень молодая, но весьма развязная вдова (Михаил Димитриевич называл всех этих дам «Афродитами земными») были без ума от вечера. Еще бы: за ними, кроме нас, ухаживал сам Мурский, только что с подъемом «отрыдавший» Незнамова.

Наряду с «Афродитами земными» проживали в Коломне и «Афродиты небесные», сестры Цветковы, дочери иконописного по внешности протоиерея. Обе были на редкость хороши собою, в особенности младшая поражала совершенно особою, духовно-мадонническою красотою. Жилось «поповнам», как их называла моя квартирная хозяйка, просвещенная судейская вдова, в их родном городе нелегко. Отец, которого обе искренне чтили и который своих «девочек» горячо любил, мечтал выдать их за священников; требовал сугубого уважения к своему сану и строгого поведения в обществе. Они же в матушки не собирались, предочитая, на худой конец, хотя бы учительство в глухой деревне. Так и носили

они по тихому городу свою волнующую красоту, себе не на радость, а сходившим по ним с ума мужчинам на Танталовы муки.

Не помню уже при каких обстоятельствах, но как-то Михаил Димитриевич побился об заклад с безусым еще поручиком Зарядиным, который был безнадежно влюблен в младшую Цветкову, что через две недели представит ему ее любовное письмо, или, по крайней мере, нежную записку. Как водится, вокруг этого пари тут же завертелось нечто вроде тотализатора: одни «ставили» на Благого, другие были уверены, что выиграет поручик. Михаил Димитриевич принялся за дело крайне энергично: в субботу не поехал в отпуск, в воскресенье пошел в церковь, простоял всю обедню рядом с поповнами и без труда познакомился с ними. С четырех до шести мерз в тонких лаковых сапогах на катке (на коньках он не катался), с катка проводил простых, веселых и очень разговорчивых сестер домой. Началось все как будто бы блестяще. Но дальше начала так и не пошло. Предоставленная нами двухнедельная отсрочка не помогла. Через месяц московский лев признал себя побежденным, выставил три бутылки шампанского и вернулся к своим Афродитам земным.

Зима подходила к концу. Учебная команда была распущена, и мы были возвращены в свои батареи. Моей, второй, командовал полковник Котляревский, на службе вспыльчивый крикун, но по существу добрый, безвольный человек, которым в свою очередь командовали его взбалмошная жена и сверхсрочный фельдфебель Кунц, человек злой, придирчивый, но на редкость дельный и честный.

С «матерью командиршей» у меня быстро наладились прекрасные отношения. Случилось как-то так, что я стал исполнять ее поручения в Москве. По возвращении из отпуска я всегда сам приносил ей закупленные

вещи и не раз оставался выпить стакан чаю, а то и поужинать. Командирский повар прекрасно готовил пельмени, вареники и всякие иные малознакомые мне «этнографические» блюда, которые мне весьма нравились. В такой уютной, домашней обстановке и состоялось, не без посредничества командирши, нечто вроде договора между мною и полковником, которого вне службы все звали попросту Сергеем Андреевичем. Я обещал, что мы, вольноопределяющиеся его батареи, безукоризненно сдадим экзамен на прапорщика (за что командиру батареи по закону полагалось денежное вознаграждение), он же согласился при случае сказать фельдфебелю Кунцу, любившему измываться над вольноопределяющимися, чтобы тот не слишком налегал на нас. Наша батарейная служба устраивалась таким образом еще привольнее, чем учеба в команде. От пешего строя по утрам мы были совсем освобождены. Приемкой при орудиях занимались раза два в неделю в каком-то холодном желтом манеже. Занятия эти были скучны и бессмысленны, зато весело было возвращаться с громкою солдатскою песнью. Был у нас в батарее искусный запевала, который, вроде Тургеневского рядчика, пел все с особым вывертом и переборами, были у нас и прекрасные свистуны.

Как только сошел снег и подсохли загородные холмы, начались частые конные учения. В дивизионе еще была крепка традиция конного артиллериста Воронцова-Дашкова, не любившего математической премудрости и требовавшего от батарейных командиров прежде всего лихих конных учений: безупречной посадки ездовых и ловкой работы «номеров». Такая кавалерийская постановка дела была мне как нельзя больше по душе. И сейчас с радостью вспоминаю первые весенние выезды на позицию: старшего офицера штабс-капитана Головина, великолепного барина в мундире с иерихонскою

трубою, вместо глотки-г-любил саженей за тридцать здороваться с батареей – сверхсрочного фейерверкера Худыгу, словно вклеенного в седло, широкий фронт шести высоких, тупоносых мортир и моего горячего гнедого мерина Ветреного, знавшего конное учение много лучше меня и державшего дистанцию с точностью опытнейшего балетмейстера.

Взводы вытягиваются гуськом и строятся фронтом; интервалы между орудиями смыкаются и размыкаются; передки на ходу отцепляются от орудий и почти на лету снова нацепляются на орудийные крюки: все фигуры этой кадрили хороши, но нет лучше заворота всем фронтом, в особенности, если твое орудие стоит на заносящем фланге. Какая радость скакать перед уносами, слыша позади грохот своего орудия; ветер свищет в ушах, яркое, но еще холодное утреннее солнце слепит глаза, в груди, выкрикивающей вслед за Головиным команды, целый океан воздуха и голоса. Во всем теле восторг: от ловкого сидения в седле, от точного держания дистанций и интервалов, от пьянящего душу ощущения все совершеннее удающегося лада древней военной игры, так же не заменимой никакими спортивными суррогатами, как насущный хлеб не заменим никакими питательными пилюлями. Ничего не поделаешь: очевидно душу человечества сильнее всего влекут темные срывы и светлые вершины жизни. Бессмысленность войны человечество очень скоро поймет, но воевать, т. е. время от времени вскипать на весь мир своими первозданными, утробными страстями, вряд ли когда-нибудь перестанет…

Как только дивизионная канцелярия объявила в приказе о дне выступления в лагерь, командиры батарей отпустили нас, вольноопределяющихся, в двухдневный отпуск в Москву. Примчавшись за час до выступления на курьерском поезде прямо в Можайск,

мы сели на уже оседланных лошадей и двинулись походом в село Клементьево.

Не полюбив на войне войны, я неожиданно для себя самого крепко привязался к армии, проникся ее воинским духом. Конечно, не все офицеры и нижние чины были по духу солдатами, но те из них, что ими подлинно были, были, быть может, лучшими людьми из всех, с которыми меня свела жизнь. Как хорошо, спокойно и даже радостно было мне двигаться с батареей по серым лентам Галицийских шоссе, обсаженным фруктовыми деревьями, по холмам меж вековых оливково-зеленых буковых стволов и чувствовать их кровную связь с Россией, их незлобивую готовность к кровавой борьбе и смерти, их мудрое знание того, что мир лежит во зле, в беде, которых ни руками не развести, ни словами не рассеять, но и их твердую веру в доброго Бога и Его праведный суд. Как хорошо, привычно, по-фронтовому уютно пах этот воинский мир лошадиным потом, продегтяренным ремнем, порохом от банников, махоркой, солдатской пищей и волглым от дождей шинельным сукном. Сейчас все солдатское – и воинский дух, и батарейный запах так близки моей душе, что я со стыдом вспоминаю, с каким неудовольствием шел жарким летним днем в походном порядке из Можайска в лагерь. Но как могло быть иначе? Солдат своей батареи мы не знали. К офицерам относились свысока, ценя за гуманность лишь тех, что потакали нашим штатским инстинктам. Ехать шагом тридцать верст, если не больше, в густой пыли рядом со своим орудием на жестком деревянном седле, в молчании и полной бездейственности, казалось верхом бессмыслицы. Чего бы проще – доверить батарею фельдфебелям, а нам, господам офицерам, в экипажах, шедших с обозом, быстро докатить до лагеря. Такого мнения держались не только мы, вольноопределяющиеся, но и большинство

кадровых офицеров, начиная с командиров батарей, не приводивших своих желаний в исполнение только потому, что на это косо посмотрело бы высшее начальство, которое само, однако, неустанно циркулировало между Клементьевым и Можайском в колясках на резиновом ходу.

Скучнейшая дорога, широкая, пыльная, шедшая меж выжженых пустырей, чахлых перелесков и учебных полигонов, была непривычно оживлена: навстречу нам в облаках едкой желтой пыли шли те батареи легкой полевой артиллерии, на смену которым двигались наши тяжелые мортиры. То и дело встречались веселые конные ординарцы, иные с туго набитыми почтою черными сумками через плечо. Вдруг налетала звонкая команда: «смиррр…но… глаза на ле…во, господа офицеры»… и мимо катилась запряженная гладкими рысаками нарядная генеральская коляска. Мелькали ярко-красные отвороты и белая замша перчатки у блестящего на солнце козырька. Встречались парные можайские извозчики, такие же, как на всех дорогах средней полосы России: худые, ломанные лошади, сплющенные рессоры, кривые кузова и «лихая» на кнуте езда, ради прибавки на водку.

Помню, как я к концу сбора ранним, свежим утром ехал на такой наемной паре в Можайск к поезду. Въехав в перелесок, возница неожиданно перевел лошадей в шаг и стал вертеть козью ножку. В это время на опушке, у дорожной канавы, внезапно появилась чисто одетая молодая баба с кошелкою в руках. Переглянувшись с ямщиком, она быстро подошла к пролетке и, лукаво заглянув мне в глаза, ласково проговорила: «Тебе, видно, не к спеху, ваше благородие, может подсобишь землянички набрать, с самого утра хожу – замучилась»… Смутившись, я сунул бабе полтинник в руку и толкнул старика в спину: «пошел, опоздаем к поезду».

Впоследствии я узнал из рассказов своих товарищей, что в перелеске по пути в Клементьево издавна процветала убогая аркадская проституция.

Часам к пяти вечера мы подошли к Клементьеву, большому селу, широко раскинувшемуся вокруг старинной усадьбы; здесь помещалось лагерное управление. В желтом доме, в полосатых маркизах террасы, в вековых липах, в красноватых садовых дорожках, в пестрых, цветочных клумбах, приветливо глянувших на нас в раскрытые ворота, не было не только ничего специфически военного, но даже и ничего казенно-служебного. Весь этот патриархальный мир дышал таким безмятежным покоем, такою по-вечернему тихой, тургеневски-женственной негою, что военные занятия и стрельба казались в нем не только неуместными, но прямо немыслимыми.

Миновав лагерное управление, мы спустились к небольшой речонке. Перекинутый через нее мост был настолько стар и гнил, что мы предпочли брод. В 1911 г., когда я в третий раз отбывал лагерный сбор, старый мост был заменен новым, но настолько жидким, что мы по-старому продолжали переезжать речонку вброд. Брод имел, конечно, свои преимущества: возвращаясь с конного учения, в нем можно было напоить лошадей, вымыть и смочить колеса, а также поупражнять ездовых: спустить на коренном уносе тяжелые орудия к речке и дружно выхватить его на другом берегу было все же труднее, чем просто переехать мост. Все это верно. Тем не менее, остается вопрос: почему под самым носом лагерного управления был выстроен мост, не пригодный для проведения по нему тяжелых орудий. Не потому ли, что жизнь, которою жило в своих флигельках высшее лагерное начальство, была по своему стилю в гораздо большей степени помещичьей, чем военною. Недаром говорят французы: «le style, c'est l'homme».

За речкою начинался лагерь: длинная, узкая полоса тщательно расчищенного леса с аккуратно расставленными в нем чистенькими офицерскими барачками и брезентовыми солдатскими палатками; по опушке леса шел широкий проспект – передняя линейка лагеря. На поляне, впереди него, располагался «парк»[4], где на точно рассчитанных интервалах стояли орудия, а позади них – строго в затылок друг другу – серо-зеленые передки и зарядные ящики, тела орудий и дышла параллельно друг другу и земле. Как бы в особых графах этого вставленного в природу чертежа стояли денежные ящики, охраняемые неподвижными часовыми, в перетянутых белых гимнастерках. Этот, несмотря на Коломенскую подготовку, совершенно новый, четкий мир произвел на меня поначалу большое впечатление. Через несколько дней оно, однако, если не совсем рассеялось, то все же почти сошло на нет: выяснилось, что графически-математический стиль орудийного парка в очень малой мере и степени определял собою лагерную жизнь, которая во всех отношениях, не исключая и строевых занятий, гораздо больше подчинялась быту задней, чем чертежу передней линейки.

В наши страшные дни, грозящие всю жизнь превратить в переднюю линейку военно-концентрационного лагеря, я вспоминаю заднюю линейку нашего артиллерийского лагеря не только с благодарностью, но даже с умилением. Вдоль этой, по-житейски грязноватой и пыльной линейки уже с утра дымились батарейные кухни и сохли по кустам солдатские рубахи и портки. Здесь, нарушая иной раз лагерный устав, шла обычная, человеческая жизнь. Сюда сходились разбросанные по разным полкам и батареям земляки. Попыхивая по придорожной канавке козьими ножками, они здесь

[4] Стиль – это человек.

до вечерней зари толковали о своем, важном и настоящем. Здесь часто раздавались гармоника и ладная многоголосая песнь. Сюда же по ночам выходил с гитарою сильно выпивавший штабс-капитан Головин и, встав по уставу лицом в поле, безнадежно рыдал в пустоту свой любимый романс: «И на шею тебе я одену ожерелье из жемчуга слез». В воскресенье по милой задней линейке степенно шагал слоноподобный вороной битюг, запряженный в ярко-красный возок знаменитого московского булочника Д. И. Филиппова, а в особо жаркие дни проворно трусил перед синим сундучком худенький чалый меринок клементьевского мороженщика…

Согласен, ничего достойного умиления в этих, встающих в памяти картинах нет, и все же хочется воскликнуть: да здравствует задняя линейка жизни, единственное, что сейчас еще стоит защищать не только штыками и пушками, но даже и бомбами.

Я отбывал лагерные сборы трижды: в 1901-м, 1904-м и в 1911-м годах, до японской компании, во время нее и накануне Великой войны. Первый сбор остался у меня в памяти беспечным пикником; второй – тяжелым кошмаром; третий – началом возрождения русской армии. Не буду настаивать на безусловной объективности этих общих характеристик. Быть может, мой первый лагерный сбор оставил по себе такое светлое воспоминание потому, что мне шел тогда восемнадцатый год, потому что мне покровительствовал мой милый командир батареи, главное же потому, что к нам никто из начальства не относился, как к нижним чинам, но никто и не возлагал на нас никаких офицерских обязанностей.

Жили мы в лагере не в палатках, как солдаты, а в деревянных офицерских барачках. Нам полагались (конечно, не в уставном, а лишь в бытовом порядке)

и денщики, и верховые лошади для прогулок. Прекрасно помню веселую поездку в Бородино и невнимательный, не взволновавший ни ума, ни сердца осмотр бранного поля. Иной раз мне кажется, что многие из красных командиров, воюющих сейчас против Гитлера, чувствуют себя в гораздо большей степени законными наследниками и ответственными держателями русской славы, чем чувствовали себя ими мы, вольноопределяющиеся пятого мортирного дивизиона 6 1901-м году. Как почти вся интеллигенция начала века, мы ощущали русскую историю «профетически», как грядущую революцию, мало интересовались вопросами внешней политики и были преступно равнодушны к славе своей родины. В конце концов, мы ведь и Кутузова считали бессмертным только потому, что его гениально написал Толстой.

Наша лагерная жизнь начиналась в дни, когда не было особых занятий, скорее по-дачному, чем по-военному, часов в 7, а то и в 8 утра. Разбуженные денщиками, мы еще в полусне закуривали. Накурившись и обменявшись утренними мыслями о вчерашнем дне, мы шли на крыльцо умываться, где нас уже ждали денщики с полотенцами у табуреток с тазами. Сильная струя холодной воды приятно лилась на шею, голову и грудь. Вокруг крыльца на легком ветру шепотно шелестели молодые березки. В такт покачивающимся веткам на вытоптанной перед крыльцом площадке и на деревянной лесенке переливалась сетчатая зыбь сине-желтых пятен. Голубело высокое небо; в нем нежно истаивали быстрые, перистые барашки и звенел жаворонок. Пахло жасмином и самоварным угольком. В лесу за задней линейкой свирелью заливалась иволга… Мы не спеша распивали чай со сливками и свежими калачами. По пути на занятия к нам подходили вольноопределяющиеся и офицеры других батарей выпить за компанию

еще стаканчик чаю под последнюю папиросу… На земле мир и в человецех благоволение.

Занятия в парке были и непродолжительны, и несложны. Стоя за хоботами своих орудий, мы механически повторяли команды занимавшегося с нами офицера и время от времени по его же приказу проверяли точность наводки и правильность трубки. Проверка большого смысла не имела. Опытные наводчики, да и все «номера», знали свое дело много лучше нас.

Основным содержанием занятий было, что греха таить, как для нас, так и для солдат, ожидание обеда, приятное ощущение стекающего к нему времени. Обедали мы в офицерском собрании, в просторном, прохладном помещении. Здесь, у буфетного прилавка, «сбор всех частей» начинался чуть ли не за час до обеда. От нечего делать каждый спешил заблаговременно пропустить по одной, другой, а то и третьей рюмке и закусить селедкою, или соленым рыжиком. После обеда расходились не сразу. Кто пил чай «с лимончиком», кто кофе «с коньячком». Разговоры оживленно вертелись или вокруг любовных приключений, причем рассказывались крепкие анекдоты, или вокруг предстоящих производств и награждений. Когда все уже было съедено, выпито и рассказано, когда ничего не шло больше в глотку и ничего не просилось с языка, все шумно вставали и не спеша, потягиваясь, позевывая, позвякивая шпорами и похлестывая стэками по голенищам сапог, расходились по своим баракам. – Над военным лагерем повисала обломовская сонь.

К четырем часам крылечки опять оживали. Снова появлялись самовары; в жару – херес с сельтерской и лед. От пяти до семи шли опять занятия; иногда, как и утром – в парке, а иногда теоретические – в собрании. Во время этих занятий все с нетерпением ожидали ужина. После ужина на дорожках лагеря появлялись

оседланные лошади. Изящно играя плечами и бедрами, господа офицеры отправлялись в Клементьево послушать музыку, потанцевать, поухаживать и поиграть в карты. Мы, нижние чины, в Клементьевское собрание не были вхожи, там царил генералитет.

Парковые занятия заменялись иногда конными учениями, мало чем отличавшимися от коломенских. Весь смысл лагерного сбора сводился, таким образом, только к учебным стрельбам, в особенности к тем ответственным, на которых присутствовало высшее военное начальство.

С радостью вспоминаю суету, волнение и распекание перед этими стрельбами; их красоту, их блеск, наблюдательную вышку, огромный флаг на ней, генеральские мундиры, светлые дамские платья и зонтики, подзорные трубы, бинокли, музыку и себя самого в качестве ординарца генерала Иваненко.

Имели ли эти стрельбы большое учебное значение – мне судить трудно. Все же склонен думать, что лишь очень малое: все полигонные дистанции были спокон веков измерены, все цели, появлявшиеся всегда в тех же ложбинках и перелесках – пристрелены, все неожиданности исключены. Сами батарейные командиры смотрели на большие учебные стрельбы прежде всего как на военные парады. На парадах не работают и не экспериментируют, а лишь выставляют напоказ давно усвоенное мастерство. Я сам трижды стрелял на Клементьевском полигоне – все три раза вполне удачно; тем не менее в Галиции сразу же выяснилось, что я ничего не смыслю в стрельбе. Но что говорить обо мне, прапорщике-философе, когда наш командир, старый кадровый полковник, пристреливаясь во время первого боя на Ростовском перевале, выпустил по своей собственной пехоте несколько десятков шрапнелей.

Это ли не доказательство, что в наших блестящих учебных стрельбах было больше показного парада, чем реальной работы.

Забегая вперед, должен сказать, что после отбытия лагерного сбора, я сразу же уехал в Гейдельберг изучать философию. Там и застала меня Японская война. Далекая и непопулярная, приветствуемая разве только в революционно-пораженческих кружках, к которым я не принадлежал, она переживалась мною как-то весьма отвлеченно. Мысль о призыве не приходила в голову. И вдруг, среди семестра, бумага из консульства в Карлсруэ с приказом немедленного возвращения в Россию. Ответить на вопрос, вызывался ли я для отбытия очередного лагерного сбора, или для зачисления в действующую армию я, странным образом, не могу. Если предположить первое, то непонятно, почему бумага оказалась для меня полною неожиданностью; если второе – то еще непонятнее, почему она не произвела на меня ни малейшего впечатления. Скорее всего, что из текста полученной бумаги и из моего разговора в консульстве нельзя было сделать ни того, ни другого вывода. Шанс попасть на фронт, во всяком случае, имелся, но он меня не радовал и не печалил, вероятно, потому, что со словом война я не связывал никаких определенных представлений. Блаженное было время. Как страшно во зле состарился мир!

По прибытии в Москву я сразу же отправился к своему воинскому начальнику в уездный город Бронницы, в котором в то время было не больше трех тысяч жителей. Среди офицерства Бронницы, где всегда стоял парк коломенского мортирного дивизиона, пользовались весьма дурною славою. Командиры парка там постоянно спивались, а один даже лишил себя жизни от безысходной бронницкой скуки.

Воинский начальник, знакомый мне еще с 1901-го года, высокий старик с длинною сиво-желтою от табака

бородою, с громадными мешками под глазами, был на редкость живым воплощением мертвящей провинциальной тоски. Ему было решительно на все и на всех наплевать, так как он не видел ни малейшего смысла ни в своей собственной жизни, ни в жизни кого-либо из других смертных. Единственною и то тусклою радостью его пребывания на земле было причинение неприятностей людям, с которыми ему приходилось сталкиваться по службе. В грязной канцелярии этого озлобленного служаки я узнал, что коломенский мортирный дивизион уже погрузился, а дивизионный парк ждет приказа о погрузке, я же перечислен в другую часть, пока что стоящую в клементьевском лагере, куда мне и надлежит немедленно явиться. Осведомившись, кто командует парком, и услышав, к своей большой радости, что его недавно принял старший офицер второй батареи, только что произведенный в подполковники, Головин, я в самом радужном настроении отправился к нему.

Головин сидел за большим столом в просторной парковой канцелярии, завешанной и устланной новыми военными картами в темно-коричневых пятнах. Узнав, что я только что из заграницы, он поспешно закрыл окно на улицу и, закурив папиросу, начал с жаром расспрашивать меня, что говорят в Европе о войне и какого ожидают конца. Несмотря на свой мундир, Головин весьма откровенно громил правительство, возмущался всюду господствующим разгильдяйством и не без юмора доказывал, что трудно выиграть войну, когда мобилизация проводится чучелами, вроде нашего воинского начальника, а карты присылаются в части такими загаженными и подмоченными, что их приходится высушивать, как детские пеленки.

Н-ая артиллерийская бригада, в которую я был назначен, стояла лагерем не в полном составе. Две или три батареи находились уже в пути на фронт. Батареи

состояли всего только из четырех старотипных орудий, замена которых более усовершенствованными ожидалась со дня на день. Конский состав был тоже не полон и из рук вон слаб. Все это, вместе с неуверенностью в завтрашнем дне, создавало настроение, при котором всем как-то не работалось. Батарейные, один как другой, считали, что в последнюю минуту все равно ничему не выучишься, что заниматься при старых орудиях накануне получения новых – бессмыслица; гонять же лошадей на стрельбу и конное учение, рискуя, что они перед самым выступлением спадут с тела, – прямое безумие. Кое-какие занятия, конечно, шли своим чередом, но на них не производилось ни малейшей работы. Страшно подумать, какой позор обрушился бы на Россию, если бы мы вступили в Великую войну, не пережив поражения 1905-го года.

Я никогда не изучал вопроса о том, что после злосчастной японской кампании было правительством предпринято для повышения боеспособности русской армии, но по личному опыту могу сказать, что дух лагерного сбора в 1911-м году выгодно отличался от того, чему мне пришлось быть свидетелем в 1904-м. В 1911-м году в Клементьеве велась живая, напряженная и весьма интересная работа. Упражнения при орудиях в парке и конные учения были почти совершенно сведены на нет. Все было сосредоточено на учебной стрельбе. В качестве большой новости была введена разведка. До сих пор с неприятным смущением в душе вспоминаю впервые полученное мною от внезапно прибывшего на полигон начальника лагерного сбора, генерала Булатова, задание исследовать указанную мне на карте местность: нанести позиции для батарей и для парков, выяснить количество жителей, лошадей, рогатого скота, фуража и колодцев в прифронтовых деревнях.

В чтении карт я был не очень тверд. Быстро и небрежно набросанное мне его превосходительством

расположение наших и вражеских частей я от волнения и растерянности сразу не запомнил и потому, сев на лошадь, с места же двинулся со своими двумя ординарцами в неверном направлении. Доклад я представил весьма недостаточный, за что генерал, хорошо усвоивший себе огорашивающие приемы известного правдолюба и правдореза Драгомирова, подверг по окончанию занятий не только меня, но и моего командира вполне справедливому, но уж очень грубому, разносу. Генерал Булатов, как и инспектор артиллерии, высокий, выхоленный, изысканно-учтивый, а иногда и изысканно-ядовитый профессор военной академии генерал Тихонравов, были прекрасными теоретиками. Их разборы стрельб доставляли даже мне, никогда не увлекавшемуся теорией, некоторое удовольствие. Тихонравовские анализы были много приятнее тем, что профессор никогда не повышал голоса, в то время, как похожий на усатого бульдога желтолицый бурят Булатов, при случае, и со старых полковников, что называется, «спускал штаны». В 1911-м году полигонным обсуждением стрельб дело не кончалось. Полигонные разборы разбирались еще и побатарейно, под руководством старшего офицера, а то и самого командира, полковника Щеглова, о котором я сохранил наилучшее воспоминание. Еще перед началом занятий он заявил нам, что просит господ прапорщиков как можно ближе познакомиться с людьми своих взводов; узнать, каких они губерний, чем занимаются дома, женаты или холосты, грамотны или нет. Я с радостью выполнил его требование и сразу же оценил его разумность. В 1911-м году я, главным образом, потому с гораздо большей охотой ездил на стрельбы, чем в предыдущие сборы, что твердо в лицо и по имени знал своих нижних чинов и чувствовал себя среди них, как в своей семье. Как легко было бы уже раньше ввести в армии все эти разумные меры. Очевидно верно: пока гром не грянет, мужик

не перекрестится. Слава Богу, что после Японской войны высшие власти перекрестились и взялись за ум. О том, как новая постановка дела отразилась на духе армии в Великую войну, речь еще впереди…

Среди воспоминаний о печальной памяти 1904-м годе, особенно яркими и позорными пятнами горят два дня, вернее вечера.

Большой танцевальный вечер, почти бал, начавшийся после окончания скачек с традиционного ужина в офицерском собрании, развертывался с необычайной веселостью. Бригадный оркестр гремел громче, чем нужно, изо всех сил стараясь раздуть плясовые вихри в ногах и душах танцующих. С каждым танцем настроение в зале подымалось все выше и выше: к полуночи кавалеры уже не подходили к дамам, а с каким-то особым раскатом, как будто на коньках, подлетали к ним. Полковые дамы (жену ветеринара, мнившую себя великой артисткой, я встретил в последний раз в 1920-м году оборванную и голодную на Страстном бульваре, она сообщила, что муж расстрелян и просила по знакомству устроить ее в какой-нибудь районный театр) подымали руку на плечи своих кавалеров с совершенно неописуемой небрежностью и истомой. Матерые донжуаны, по Чехову «сеттера», все чаще умыкали своих дам в черную после бальных огней глубину парка. Среди них особою «мертвою» хваткой славился подполковник Толмачев, о котором рассказывали, что, будучи в молодости страшным пьяницей, он протрезвляться всегда приходил на конюшню. По его приказу солдаты крепко приторачивали его к неоседланной лошади и, нахлестав, пускали ее в поле. Через четверть часа «всадник» приносился карьером к конюшням. От хмеля не оставалось и следа.

Чуждый всеобщему веселью, мрачною тенью по залу и саду маялся лишь один человек, полковник Воронихин. В его молодую жену был с успехом влюблен

хорошенький поручик. Я был единственным поверенным несчастного полковника, честная, простая и горячая душа которого никак не справлялась с нахлынувшим на него несчастьем.

Боясь, как бы не вышло непоправимого скандала, я упросил полковника пройтись со мною прогуляться. Гуляли мы с ним до самого рассвета.

Когда мы вернулись в собрание, там дым стоял коромыслом. В настежь раскрытых дверях фыркала выигравшая скачки кровная гнедая кобыла, которую несколько человек старались напоить шампанским. Недавно переведенный в нашу часть из глухой провинции меланхоличный штабс-капитан неистово размахивал дирижерскою палочкой, требуя, чтобы музыканты играли «его душу» и грозился всех поставить под ранец, если он снова услышит вальс. Знаменитый в будущем актер Малого театра, красный от вина и напряжения, расстегнув мундир, кричал на весь зал свой коронный номер – стихи Огарева: «Чего хочу? – всего. О, так желаний много!»... Прекрасный в трезвом виде, очень серьезный строевой офицер водил на веревке «святые мощи» – длинного малоголового подпоручика и кропил из никелированного ведра по всем углам и по задрызганным столам святою водою вдовы Клико...

Я ни минуты не думаю, что во время войны офицерам, солдатам да и всем другим нельзя ни вкусно есть, ни весело жить, ни танцевать и ухаживать – все это дело житейское. В 1914-м году, наша наголову разбитая Макензеном под Горлицами 12-я Сибирская стрелковая бригада вела во время своего вынужденного месячного отдыха в Куртенгофе под Ригою очень веселую и праздную жизнь. Гостиница «Рим» доставляла нам прекрасные вина, закуски и дичь. Так же, как и в Клементьеве, по вечерам гремел оркестр и кружились в собрании пары. Тем не менее все это было совершенно не похоже

на Клементьево 1904 года. В каком-то сниженном и совсем не патетическом смысле наше куртенгофское веселье было все же некиим «пиром во время чумы». О, конечно, без малейшего упоения бездною, но со скорбным прислушиванием к ее приближающемуся гулу. В Клементьеве к этому гулу никто не прислушивался. Страшные сведения с фронта не вызывали, конечно, в офицерстве) того злорадства, с которым они встречались в радикальных кругах гейдельбергского студенчества, но они не вызывали в нем и живой патриотической тревоги. Судьбами России в Клементьеве мало кто болел. И уже во всяком случае никто из нас, господ офицеров, не испытывал ни малейшего стыда перед мужиками-солдатами за ту нерадивость и неумелость, с которою мы защищали народную честь и державные интересы России на Дальнем Востоке.

Японская война стояла в центре внимания нашей лагерной жизни всего только один раз, в вечер чествования штабс-капитана Ковалева, отправлявшегося добровольцем на фронт.

С утра душила сухая жара. Занятия были отставлены. Солдаты спасались под запыленными кустами. Лошади с трудом дышали под навесами. Мой сосед по бараку, тот самый штабс-капитан, который требовал от оркестра исполнения своей души, сидел без рубашки в одних кальсонах на своей койке и дуя бутылками мятный квас, без всякого выражения тупо барабанил: «жил-был поп, у попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил и в землю закопал, и надпись написал: жил-был поп, у попа была собака» и т. д. без конца.

Я с газетой в руках, полной нерадостных известий, сидел в березках под крыльцом, на котором несколько приятелей по маленькой резались в преферанс. В предчувствии хорошего ужина, обильного шампанского

и в качестве веселого номера застольной речи командира бригады, мы все, как манны небесной, ждали освежающей грозы. Она разразилась лишь к вечеру, но зато со страшною силою. Потопный ливень закончился злым градом, сразу же превратившим летний день в позднюю осень. К восьми часам вечера мы шли в собрание по совершенно размытым дорожкам. Моросил унылый дождик. Мой штабс-капитан был счастлив: из своей провинции он вывез убеждение, что забористо и «с пользой для организма» можно пить только холодными, дождливыми вечерами.

В собрании было очень оживленно и шумно. Кроме своих офицеров, было много приглашенных из других частей. Уверен, кого бы со стороны ни спросить, кто здесь доброволец, никто не указал бы на штабс-капитана Щукина. Его большое, но дряблое тело, его мясистое, кислое, заросшее до скул бородой лицо никак не вязалось с представлением о войне и подвиге.

На председательском месте за обеденным столом сидел командир бригады, известный совершенно непонятным пристрастием к произнесению прочувствованных застольных речей: он не обладал ни тонкостью чувств, ни даром речи. Хорошо помню его квадратную лысину, его грузные плечи и пухлые, красные пальцы на скатерти. Помню все, кроме лица. Рядом с его превосходительством сидел известнейший не только среди московского офицерства, но и среди московских артистов штабс-капитан Гессель, не только остроумнейший собеседник и блестящий рассказчик анекдотов, но и первоклассный актер, не раз, с риском сесть под шары, выступавший вместе с профессионалами казенной сцены на Нижегородской ярмарке. В связи с его местом за столом и его причастностью к литературе, на него само собою падала задача подсказывать его превосходительству нужные слова, когда оно по своей привычке

начнет запинаться. Как и ожидалось, генерал, как только наступил соответствующий момент, величественно приподнялся со своего места и, подняв бокал, начал одну из тех застольных речей, от которых всем сразу же становится как-то не по себе. Тут был и щит победителя, на который оратор подымал шестипудового капитана, и Георгий Победоносец, пронзающий копьем желтого, косоглазого дракона, и лицемерная похвала доблестному офицеру, нашему славному капитану Щукину – одним словом все, без чего не обходится ни одна торжественная начальническая речь.

Отговорив, генерал в приятном чувстве удачно исполненного долга достойно опустился на стул. Нарушенное его речью веселье снова заходило по залу.

Когда шампанское было снова разлито по бокалам, со своего места поднялся для ответа его превосходительству герой торжества. Он был сильно на взводе и, кроме того, в том отчаянном настроении, при котором человеку нечего терять. «Ваше превосходительство, – начал он высоким, бабьим голосом, – позвольте от души поблагодарить вас за оказанную честь и начальническое доверие, но позвольте и по совести доложить: отнести ваших слов к себе не смею». Это было настолько неожиданно, что все разом повернулись к оратору. Честный и прямой штабс-капитан действительно не вынес незаслуженной похвалы и с пьяными, но чистосердечными слезами на глазах покаялся перед всеми нами, что вызвался добровольцем на фронт не ради родины и Георгия, а исключительно из-за повышенного оклада, так как у него больная жена, дети и куча родственников на шее.

Скажут: достоевщина. Но разве ее так мало в России, что приходится ей удивляться? Разве мы не читали еще недавно в «Известиях» покаянного письма товарища Тишкина, председателю райисполкома, кончавшегося

словами: «Прошу нам помочь и нас наказать немедленно, сами выйти из положения не можем, пьем и грабим».

Что отвечал генерал на покаянную искренность своего героя, я не помню. Как только ужин кончился, я ушел в свой барак спать. На следующий день за обедом товарищи рассказывали, что несколько офицеров отправились в деревню Вандово будить прачечное заведение, но что девушки не вышли. После этого господа офицеры ударили в пожарный колокол, но, испугавшись своей смелости, как школьники бегом пустились к лагерю.

Русская армия, ее Верховный главнокомандующий, ее доблестные офицеры – достаточно вспомнить Крыленковскую расправу с генералом Духониным и эвакуацию Крыма – такою страшною ценою заплатили за грехи прошлого, что для каждого русского человека, в особенности для русского офицера, было бы величайшим счастьем не возвращаться памятью к тому темному прошлому, поругание которого все еще продолжает быть любимым занятием всех злостных хулителей русской чести. Но что же делать? Как из песни не выкинуть слова, так и из революционной трагедии России не выкинуть вины разбитой японцами старорежимной армии.

Необходимость внутренне осилить всё, что с нами произошло, неумолимо требует от нас осознания и этой вины. Единственное, что каждый из нас, бытописателей бывшей России, должен строго требовать от себя, это то, чтобы в его воспоминаниях была правда, а в обличениях не злоба, а скорбь. Хочется верить, что эту правду и эту скорбь услышат в моих воспоминаниях и те белые офицеры, которым уже давно ясна черта, отделяющая священную белизну первопоходной идеи от той нудной белоэмигрантской идеологии, которая в своей фарисейски-мелочной ненависти к советской власти нераскаянно славит не только подвиги, но и грехи прошлого, мешая тем самым возрождению России.

Глава IV
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ЕВРОПОЙ. ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. ПРУССКИЕ ПОМЕСТЬЯ

За время отбывания воинской повинности я пришел к заключению, что и сцена и живопись для меня не самое главное, необходимо идти в университет, чтобы понять… Что?.. На вопрос матери у меня был только один ответ: «Все: мир и его законы, жизнь и ее смысл».

«Проклятыми вопросами» я начал мучиться уже в школе. В Коломне муки мои еще усилились. Узел их был в том, что я, как оно и полагается, с 17-ти лет был страстно влюблен; теоретически же не менее страстно увлечен аскетической проповедью Толстого. Из столкновения влюбленности и толстовства в душе и уме подымалась страшная путаница. С задыхающимся сердцем несся я, бывало, в воскресный отпуск в Малаховку. Вихрем влетев в переднюю и наскоро поздоровавшись с родителями, я быстро вбегал в светелку нашей дачи, которая освещалась все теми же итальянскими глазами; сердечно пожав руку Людмилы, я тут же – в который раз – начинал все тот же нескончаемый разговор о любви в духе послесловия к «Крейцеровой сонате». Маята эта длилась и субботу и все воскресенье до позднего вечера: последний поезд в Коломну уходил в час ночи.

Со щемящею тоскою по чему-то, снова не осуществившемуся, лежал я с открытыми глазами на верхней лавке тускло освещенного стеариновою свечею грязноватого вагона третьего класса и с отчаянием думал над незадачей своей жизни… Да, верно, – говорил я себе: – любовь свята, а страсть грешна; этому учит не монах, не отшельник, а Толстой, которого Мережковский называет «тайновидцем плоти», но как же тогда жить.

Правда, другой певец плоти, Ницше, защищает даже и сладострастие, но до чего же зато и груба его любовь, до чего непонятно его наставление не забывать плетки, когда идешь к женщине. Вместе с именами Толстого и Достоевского, Ницше и Мережковского, под стук и перетряс вагона, в сознании вертелось еще одно, уже давно всеми забытое имя. Мы с Людмилой только что прочли роман Шарапова «Кружным путем». Если не ошибаюсь, в этом романе, произведшем на нас очень большое впечатление, грешный соблазн эротической мечтательности противопоставляется таинству брака, благодатная сила которого и возвращает заблудшую женщину сложными кружными путями к ее законному мужу. Не одно воскресенье проговорили мы с Людмилой о том, как же брак может быть таинством, когда плотская страсть есть грех… А ведь и Шарапов и Толстой – христиане. Правда, один – узкий церковник, другой – верующий враг церкви; как же в сущности относится христианство к церкви? Так наши личные чувства неожиданно приводили нас к постановке последних нравственных и даже богословских вопросов. Думая над ответами, мы лишь глубже запутывались в наших вопросах. В отчаянии я решительно заявлял: «Нет, надо учиться – без философии жизни не осилишь». Но – как? где? Аттестат реального училища не давал права поступления на философский факультет, а на дополнительную сдачу экзаменов по древним языкам при округе я, несмотря на доводы собственного же разума, никак не мог решиться. Во мне все рвалось в высь, в даль, в жизнь, а тут сиди и корпи над словарями и грамматиками…

Помощь пришла с совершенно неожиданной стороны. Впервые побывавшая заграницей мать вернулась в восторге от Европы и решила, что философию правильнее всего изучать в Германии.

Посоветовавшись с доцентом московского университета Борисом Петровичем Вышеславцевым, я остановил свой выбор на Гейдельберге и, недолго думая, решил запросить ректора, не могу ли я в порядке исключения быть немедленно же принятым на философский факультет с аттестатом реального училища. Очевидно, моя твердая уверенность в своем праве на изучение философии произвела на чье-то чуткое ухо должное впечатление. Секретариат ответил согласием исполнить мою просьбу с условием, что я перед докторским экзаменом представлю дополнительное свидетельство о сдаче экзамена по латыни. Я был счастлив. В том, что я за четыре года университета с легкостью выучу латынь и, если понадобится, то и греческий, у меня не было никаких сомнений.

Хоть я и рад отъезду, сердце все же разрывается при мысли о разлуке с Людмилой. Нам надо непременно еще раз обо всем «по-настоящему поговорить». Но как это сделать? Она живет уже не у нас, а в своей семье. Мачеха всегда дома; главное же – ее стережет душевно больной и зло ревнующий ее ко мне брат. Несмотря на все трудности, дело все же устраивается. Мы прощаемся, т. е. выясняем, в связи с выяснением наших отношений, все мировые вопросы в запущенном саду на Кудринской-Садовой. Через покосившийся, полуразваленный сметенною с дорожек прелою листвою забор нам из беседки видны высокие, уже обнаженные деревья большого сада «Вдовьего дома». Над пресненски-грузинскими низинами в печально-свинцовой мгле тускло догорают красные полосы заката. «Ну, до свиданья, до весны!» Я целую Людмиле руку, она смущенно наклоняется над моим лбом. Это наш первый поцелуй…

В этом почтительном, хотя и горячем поцелуе на утренней заре моей жизни было что-то общее с тем поцелуем, которым в «Менуэте» Мопассана в осеннем

парке на закате своих дней нежно обмениваются старичок в парике и его жеманная подруга с мушкой на щеке. Не думаю, чтобы мы с Людмилой представляли собою исключение. В наше время юношеская любовь была еще тиха и целомудренна.

Варшава. Быстро выйдя из вагона и сдав ручной багаж на хранение, я весело вскочил в первую приглянувшуюся мне пролетку. Моя просьба показать мне главные достопримечательности города (не остановиться в Варшаве я не мог: Людмила носила польскую фамилию, ее отец часто играл Шопена и я только что прочел «Без догмата» Сенкевича), а затем отвезти в хорошее кафе с музыкой – мне еще в Москве рассказывали, что Варшава богата совершенно иными кафе, чем Филиппов, или даже Сиу – весьма обрадовала сидевшего на козлах парня, сразу смекнувшего, что с легкомысленного безусого пана можно будет сорвать хорошую цену.

От первого знакомства с Варшавой в памяти осталось немного: скорее некая музыкальная тема, чем зрительный образ, связанный с ее достопримечательностями. Передать музыку словами почти невозможно. Поразило меня то, что вместе с тревожным ощущением прельстительно-любовной темы польской столицы в душе поднялась с неиспытанною до тех пор силою и боль первой разлуки с Людмилой.

Что осталось в глазах? Почти ничего: всего только туманы и бесконечные уличные фонари; даже смягченные уже на европейский лад красными и желтыми абажурами ресторанные лампы вспоминаются горящими не в ресторанном зале, которого перед глазами нет, а в сизо-мглистых сумерках печально вечереющего Лазенковского парка. Эту печаль – единую в небе, в блоковских стихах и в моей смятенной душе рвут в клочья никогда раньше не слышанные венгерские скрипки.

«Маршалковская» моего первого вечера в Европе (Варшава показалась мне Европой) до сих пор вспоминается самою светлою, оживленною и влекущею из всех улиц мира, что довелось впоследствии видеть, не исключая и ослепительных Елисейских Полей во время последней всемирной выставки 1937 года.

Поздно заснув в душном вагоне, я проснулся от кондукторского фонаря: «Через полчаса граница». Быстро нацепив воротник и кое-как завязав галстук, я поспешил в коридор, где уже царило то радостно-приподнятое и все же беспокойное настроение, которое в дни моей молодости во всех людях вызывало магическое слово «граница». Вот и Торн. Долгожданная «заграница», вернее Европа, неожиданно просто и прозаично входит в образе сосредоточенно-деловитых и самоуверенно-отчетливых немецких чиновников. После быстрого и непридирчивого осмотра багажа, я независимо гуляю по чужой земле, по ярко освещенным, тщательно выметенным платформам Торна, среди размеченных соответственными надписями станционных зданий. Пути от Торна до Берлина, если не считать с трудом пересиливающей густой утренний туман – белой по черному фону – надписи: Schneidemuhl, не помню. Осталось только общее впечатление не русской разделанности земли, геометрической расчлененности пейзажа и заботливой устроенности жилья, станций, деревень, городов. Навсегда запечатлелся в мозгу лишь въезд в массивный, шумный, по всем направлениям перечерченный освещенными улицами, чернильно-лиловый под дождем Берлин, к центральному вокзалу которого поезд долго несся многоэтажными облезлыми задворками, мимо многолюдно-унылых платформ с красно-желтыми циферблатами.

Получив от полицейского номерок, носильщик, не говоря худого слова, повел меня (никакого московского

ряда и крика) к предназначенному мне судьбою вознице, – извозчиком его не назовешь. На высоких козлах допотопно-громоздкой кареты, запряженной куцой клячей под черной кожаной попоной, восседал, посасывая сигару, багровый сивоусый старик в помятом цилиндре и потертой ливрее с обшитым желтою тесьмою, вместо галуна, воротником.

Еле удостоив меня поклоном, старик медленно расторможил неизвестно для какой надобности заторможенную карету и, стегнув длинным английским кнутом свою перетруженную лошаденку, топотно затрусил по мокрому асфальту к рекомендованному мне отелю на Доротеенштрассе.

Музеи и памятники, которые я осматривал целый день, как-то не произвели на меня большого впечатления. Было, вероятно, около девяти вечера, когда, умывшись и принарядившись, я вполне самостоятельным джентельменом с непривычным ощущением довольно больших денег в кармане, вышел из отеля с намерением пройтись по знаменитой Фридрихштрассе и посидеть в отмеченном у Бедэкера звездочкой кафе «Бауер». Казалось бы, чего лучше. Иди, смотри, слушай, наслаждайся, мечтай – вся жизнь у тебя впереди. Вышло, однако, все совершенно иначе, чем ожидалось. На залитой витринными огнями многолюдной Фридрихштрассе, в тисках видимо усталой, куда-то спешащей и все же останавливающейся чуть ли не у каждого окна толпы, мне сразу стало как-то не по себе. От уныло-назойливых проституток, от презрительно-величественных портье у занавешенных входов в рестораны и варьете исходил какой-то нудный, бесстыжий ток. Что-то бесконечно жалкое чувствовалось в старых газетчиках, настойчиво выкрикивавших сенсационные заголовки ночных изданий и в опрятных старушках с никому не нужными, но все же почему-то покупаемыми букетиками мелких роз.

Со щемящею тоскою в душе добрался я до своего кафе, посидел в нем с час и, с неизвестным мне до тех пор чувством покинутости и одиночества, вернулся в гостиницу.

После страшного ночного Берлина приветливый, утренний Гейдельберг показался мне прелестною, сказочною идиллией.

Веселый носильщик сразу же правильно оценивший мои финансы, быстро понес мои чемоданы в находившийся в двух шагах от вокзала «Баварский двор». Портье так же быстро и так же ни о чем не расспрашивая, назначил мне номер в третьем этаже, в который тут же меня и повел расторопный коридорный в желтой жилетке и зеленом фартуке.

Распахнув окно небольшой, но вполне благоустроенной комнаты, я, как на ладони, увидел перед собою весь Гейдельберг. Направо от меня возвышались подернутые легким туманом Оденвальдские горы. Среди них живописно гнездился знаменитый Гейдельбергский замок со своею древнею круглою башнею. Налево быстро нес свои глинистые воды широкий от долгих дождей Неккар, перехваченный старинным, горбатым мостом. По параллельной Неккару главной улице неторопливо катился маленький открытый трамвайчик. Через новый мост у вокзала пыхтел совершенно игрушечный паровозик с двумя такими же игрушечными вагончиками. Среди красных черепичных крыш тесного города возносилась в перламутровое небо готическая башня собора.

Конечно, я знал старую Москву, знал и историческое Подмосковье: Троицкую лавру, Марфино, село Коломенское; много раз бывали мы с братом в Останкине, дворец и парк которого остались в памяти занесенными глубокими снегами, бывали и в Кускове и в Косине, со святым озером, на дне которого, по преданию,

звонят колокола, и тем не менее я только у открытого окна гейдельбергской гостиницы впервые ощутил мир не как текущую сквозь меня жизнь, а как стоящую передо мною историю.

Вероятно, правильно, что все дальнее и чужое объективируется гораздо легче, чем свое близкое.

Напившись кофе за маленьким столом, покрытым пестрою скатертью, у которого прислуживал не «человек», а скорее хорошенькая гимназистка, правда не в коричневом, а в черном платье, я полетел в университет. По пути то и дело попадались группы студентов-корпорантов в разноцветных «головных уборах» с обязательными шрамами на лицах. Немецкая потребность в форме сказывалась в одинаковых у членов одной и той же корпорации костюмах и палках. Через эти палки то и дело прыгали собаки – модные в то время бульдоги.

Гейдельбергский университет, основанный в 1386-м году, вслед за Пражским и Венским, поразил меня темноватой теснотой своего входа, узостью главной лестницы, маленькими аудиториями, неудобными скамейками и до гробовой доски верными своей «alma mater» (т. е. университету) старыми служителями, – одним словом всем своим монастырским, идиллически-аскетическим духом.

Покончив в канцелярии, я побежал искать комнату: хотелось устроиться поближе к университету и, главное, подешевле, чтобы сразу же начать собирать библиотеку. В комнатах недостатка не было: в 1902-м году «старый Гейдельберг» был сплошным студенческим отелем.

В гору к замку вела полузагородная улица, вдоль тротуара которой сбегал шумливый ручей. На этой улице, с поэтическим названием Звенящего пруда, я и поселился во втором этаже простенького, почти крестьянского

домика, носившего совсем уже сказочное название «Спящая красавица». Снятая мною за 13 марок, т. е. за 6 руб. 50 к. комната (эта цена включала утренний кофе, освещение и уборку) была, правда, очень мала, в одно окно, но в ней было все необходимое, за исключением книжной полки, которую я попросил немедленно же заказать и повесить над диваном, что очень поразило фрау Грамлих, маленькую, скрюченную, почти безволосую старушку. Свое горькое имя (грам – значит скорбь) моя первая гейдельбергская хозяйка носила не случайно: долгими зимними вечерами, угощая меня разогретым кофе и серым хлебом с брусничным вареньем, она подробно рассказывала о своей трудовой, вдовьей жизни – одна вырастила двух сыновей и трех дочерей – причем ее выцветшие глаза с непередаваемою трогательностью смотрели на меня поверх обмотанных у висков шерстинками железных очков, а вокруг беззубого рта на впалых щеках играла прелестная детская улыбка.

Устроившись в «Спящей красавице», я на следующий же день в новом, купленном уже в Гейдельберге костюме и мягкой шляпе, отправился к декану философского факультета посоветоваться, что и кого мне слушать, чтобы в три года успеть сдать докторский экзамен. Знаменитый Генрих Тоде, женатый на падчерице Вагнера и внучке Листа, встретил меня в своем роскошном кабинете более чем любезно. Защитник «национальности и почвенности», в искусстве больше всего ценил свою международную известность и был потому особенно любезен с иностранцами.

По своей внешности, манерам и, главное, по стилю своего очарования Тоде показался мне, привыкшему представлять себе профессора скромно одетым, бородатым интеллигентом, человеком совсем не профессорской среды. В Москве этого элегантного, всегда

изысканно одетого человека с бритым, мягко освещенным грустными глазами лицом, каждый принял бы скорее за актера, чем за ученого. Особенно живописно выглядел Тоде в берете и таларе на торжественных университетских актах.

Кроме специальных курсов по истории искусств, он ежегодно читал в переполненном актовом зале цикл общедоступных лекций, на которые, как на концерты Никита, собирался не только весь город, но приезжали даже слушатели из соседних городов.

Прекрасные бледные руки лектора часто молитвенно складывались, ладонь к ладони. Длинные пальцы касались губ. Как все романтики, Тоде много и хорошо говорил о несказуемом и несказанном, о тайне молчания. По окончании лекции аудитория благодарила любимого лектора бурным топотом сотен ног.

Поговорив со мною о России и узнав, что на каникулы я собираюсь уезжать в Москву, и потому не буду иметь времени для путешествий по Италии и другим европейским странам, Тоде, к величайшему моему огорчению, посоветовал оставить всякую мысль о серьезном изучении истории искусств.

Делать было нечего. Утешившись мыслью, что я главным образом приехал в Гейдельберг ради философии, я в ближайший приемный день отправился к профессору Виндельбанду (Куно Фишер, из-за которого я остановил свой выбор на Гейдельберге, был болен и не читал). Виндельбанд жил совершенно иначе, чем Тоде. Вместо лакея – скромная горничная. В квартире никаких далей: ни далей всемирного искусства, ни далей мировой славы. В весьма буржуазной столовой, служившей и приемной, ждало уже несколько студентов в сюртуках. Горничная, как у врача, вызывала в кабинет профессора одного студента за другим.

Не без трепета вошел я в доверху заставленный книгами и украшенный повешенными под самым

потолком – рамка к рамке – гравированными портретами великих философов, кабинет. С кресла у письменного стола навстречу мне слегка приподнялся грузный человек с очень большим животом и маленькою головкою на широких плечах; вместо шеи – красная складка над очень низким воротником. Таким я себе философа уж никак не представлял. Мое недоразумение длилось, однако, недолго. Сев в указанное мне бархатное кресло и взглянув в глаза ученого, я сразу же почувствовал, что этот «пивовар», как я сразу же окрестил его, – пивовар совершенно особенный. Передо мною сидел живой Сократ, каким Виндельбанд его описал в своих, только что прочтенных мною «Прелюдиях»: та же «втянутость головы в пухлые плечи», та же «внушительность висячего живота», та же характерная для грузных людей легкость движений. Сходство с Сократом почувствовалось, мне и в невероятно живых, умных, остро-проницательных, но отнюдь не созерцательных глазах и в настороженном выражении лица, точно ждущего ответа на «иронически» поставленный вопрос.

Я слушал Виндельбанда в продолжение пяти лет и за это время так вжился в его философский пафос, так изучил его манеру чтения, привычку шарить правой рукой по животу в поисках висевшего на длинной тесемке пенснэ, вскидывать пенею на нос, разглаживать двумя пальцами левой руки лежавшую перед ним записную книжку и, бледнея с дрожью в голосе, произносить излюбленную им фразу: «Dies ist nun einmal das Schickal aller Wahrheiten, dass sie als Paradoxa zur Welt kommen, um sie als Trivialitaten alsbald zu verlassen[5], что должен был по нескольку раз в семестр представлять товарищам нашего учителя. Виндельбанд знал о моем искусстве: однажды он застал меня на кафедре и от души

[5] Такова уж судьба всех истин: они приходят в мир как парадоксы и покидают его как тривиальности.

заапплодировал, когда я кончил (не лишен был юмора). Хотя Виндельбанд безусловно по-своему любил меня, между нами все же не сложилось по-настоящему близких отношений. Думается потому, что Виндельбанд был типичным немецким профессором своей эпохи, т. е. преподавателем научной дисциплины, и только. Я же приехал в Европу разгадывать загадки мира и жизни. За время моего пребывания в университете эта разница наших духоустремлений дважды дала о себе знать.

В семинаре Виндельбанда шла оживленная дискуссия о свободе воли. Виндельбанд разъяснял свою, в основе кантовскую точку зрения, согласно которой признание за человеком свободной воли с научной точки зрения невозможно, а с нравственной – необходимо. Вполне понимая эту методологическую мысль, я все же настойчиво допрашивал Виндельбанда, какая же точка зрения, научная, или этическая, соответствует высшей истине. С непринятою в университете горячностью, я доказывал маститому философу, что его методологическое разрешение проблемы было бы допустимо лишь в том случае, если бы у каждого преступника было две головы: одна для снесения с плеч, как то требуется с нравственной точки зрения, согласно которой человек отвечает за свои поступки, а другая для оставления ее на плечах ввиду господства над душою человека закона причинности, не признающего различия между добром и злом. Это мое, показавшееся товарищам весьма парадоксальным, соображение Виндельбанд спокойно и снисходительно парировал выяснением третьего методологического ряда. Вопрос о наказании разрешался им и не в научно-причинном, и не в этически-нормативном плане, а в плане целесообразности. Наказание преступника он оправдывал необходимостью охранения общества и государства от «асоциальных элементов». В связи с такой постановкой вопроса Вин-

дельбанд допускал максимальное ослабление наказания в благополучные времена и требовал резкого его усиления в эпохи войн и революций. Этот «цинизм» до глубины души возмутил меня, но опровергнуть методологию своего учителя мне было еще не под силу. Когда спор с таким искусным диалектиком и опытным педагогом, каким был Виндельбанд, окончательно загнал меня в тупик, я, набравшись храбрости, в упор спросил его: как, по его мнению, думает сам Господь Бог; будучи высшим единством мира, Он ведь никак не может иметь трех разных ответов на один и тот же вопрос. Мой задор, как помнится, заинтересовал и обрадовал Виндельбанда, но его ответ искренне огорчил меня. Ласково улыбнувшись мне своею умно-проницательною улыбкою, он ответил, что на мой вопрос у него, конечно, есть свой ответ, но это уже его «частная метафизика» (Privatmetaphysik), его личная вера, не могущая быть предметом семинарских занятий. Я почувствовал, что меня со всех сторон окружает проволочное заграждение колючих методологий и что прорыв в сферу нужных мне ответов невозможен.

Перед самым докторским экзаменом в моей жизни случилось несчастье, которое казалось должно было бы по человечеству сблизить Виндельбанда и меня. От моих друзей, у которых в то время гостила моя жена, на его имя пришла телеграмма с извещением о ее трагической гибели. Друзья просили подготовить меня к этому страшному удару.

Попав, вероятно, в первый раз в жизни в такое неестественно трудное положение, Виндельбанд немедленно же написал мне очень прочувствованное, душевное письмо и лично снес его моей хозяйке; предупредив ее о содержании письма, он попросил, чтобы она по возможности осторожно передала его мне. Большего сделать он не мог, и я до сих пор храню благодарную

память об этом человеческом порыве его души сквозь его величественную «персону». Понятно, что, вернувшись после похорон в Гейдельберг я вошел в кабинет своего учителя в предчувствий дружеской встречи с тем новым Виндельбандом, который приоткрылся мне в его письме. Мои ожидания не сбылись: из-за письменного стола привычно приподнялся давно знакомый мне действительный тайный советник, профессор Виндельбанд, сквозь маститую персону которого уже не светилась открывшаяся мне в его письме душа.

Конечно, Виндельбанд сказал несколько полагающихся соболезнующих слов и крепче обыкновенного пожал мне руку, но все это не выходило из рамок привычных, почти светских навыков жизни. Ни одного более или менее интимного вопроса о том, как все случилось, Виндельбанд себе не позволил, словно не считая себя вправе прикоснуться к чужому горю.

То, что тридцать лет тому назад ранило меня в поведении Виндельбанда, впоследствии перестало меня удивлять. Шаблонные русские рассуждения о том, что все мы гораздо искреннее, душевнее и глубже европейцев, и в частности немцев, естественны и понятны у эмигрантов, но явно не верны. Верно лишь то, что русская интеллигентская культура сознательно строилась на принципе внесения идеи и души во все сферы общественной и профессиональной жизни, в то время как более старая и опытная европейская цивилизация давно уже привыкла довольствоваться в своем житейском обиходе простою деловитостью. Остроумнейшая социология Зиммеля представляет собою интересное оправдание этой европейской практики. По мнению Зиммеля, вся уравновешенность и уверенность человеческого общежития покоится на том, что мы не слишком заглядываем друг другу в душу. Знай мы всегда точно, что происходит в душе нашего шофера, пользующего

нас доктора и проповедующего священнослужителя, мы иной раз, быть может, и не решились бы сесть в автомобиль, пригласить доктора или пойти в церковь. Не ясно ли, что в этом нежелании знать душу обслуживающих нас профессионалов уже таится требование, чтобы она не слишком вмешивалась в общественно-государственную жизнь.

Может быть, это требование и не так бессмысленно, как оно кажется на первый взгляд. Уже в университете Вересаев с особою душевною чуткостью относился к гуманному призванию медика, в результате чего из него вышел не очень хороший врач, а довольно посредственный писатель. Немецкая профессиональная культура целиком покоится на труде, знании и жажде постоянного совершенствования. Души, в русском смысле, в ней немного, но успех ее очевиден. Весьма различные стили русской и европейской культур сказались, конечно, и в различии обеих революций. Но не будем заглядывать вперед. Пока я только еще сижу на первом приеме у Виндельбанда. Играя золотым пенсне и то и дело расправляя свою бороду маленькою белою рукою, он очень внимательно расспрашивает меня о том, что я уже читал по философии, составляет мне расписание лекций и рекомендует пособия и книги.

Я ухожу от него в восторге, в радостном предвкушении предстоящей большой и интересной работы. Спешу, не теряя времени, в университетский книжный магазин Винтера, забираю у очкастого господина Фауста книги Виндельбанда, «Всеобщую теорию государственного права» Еллинека, целый ряд дешевых изданий классиков и почти бегом тащу свои сокровища домой, перегоняя блещущие лаком широкие ландо, в которых по «Звенящему пруду» медленно подымаются к «Schloss Hotel» краснолицые англичане-туристы.

Поставив принесенные книги на новую полку, я снова лечу в город обедать. На Главной улице чуть ли не в каждом третьем доме рестораны. Можно завернуть и к «Рыцарю» и к «Золотому петуху» и к «Шуту Перкео» и к «Золотому ангелу»… Выбираю «Золотого ангела», не по пристрастию к пище небесной, а по экономическим соображениям. «Золотой ангел» предлагает обед из трех блюд всего только за шестьдесят пфеннигов. Избалованный домашним столом и Голутвинским буфетом, я ем безо всякого удовольствия; от безвкусного супа пахнет химией, твердоватое мясо плавает в какой-то мучной гуще, сухой бисквит с одной малининой в центре и чашка жидкого кофе совершенно безрадостны. Все же я мужественно беру абонемент на десять обедов. Кроме книг, соблазняют еще симфонические городские концерты и экзотические галстуки в окне у Кохенбургера.

После обеда отправляюсь в горы, но не в замок, а на Philosophenweg. Знаменитою тропою, спускающейся с гор за старинным, давно секуляризированным монастырем, в котором некогда жил родственник Гёте, историк Шлецер, я иду не без волнения: как никак по ней, вероятно, часто ходили, обдумывая свои лекции, Гегель, ходил, конечно, и Гёте, память о пребывании которого в Гейдельберге хранят начертанные на обрамленной плющом каменной доске строки Марианны фон-Виллемер – поздней, но пламенной любви поэта.

Вечером я долго сижу над историей философии Виндельбанда. За окном шумит ручей, перед глазами проносятся картины всего виденного за последние дни. Со стола смотрят большие глаза московской гимназистки в форменном платье. В сердце звучат напевы Шопена, летящие из-под быстрых пальцев ее отца. Душа рвется в Москву… Как трудно читать, не заглушая биением собственного сердца плавного повествования Виндельбанда о развитии философской мысли…

Утро вечера мудренее: сажусь за письмо в Москву. В полночь несу его на вокзал. Улицы пустынны, лишь изредка попадаются с хохотом и свистом расходящиеся по домам из кафе и ресторанов корпоранты. Захожу в буфет третьего класса купить марку. Несмотря на поздний час, в нем еще не угасла жизнь. В клубах сигарного дыма задорно препираются в карты солидные гейдельбергские бюргеры. И тут шум и веселье, удары кулаком по зеленому сукну и добродушное колыхание почтенных животиков. Милый и добродушный, но совсем непонятный народ. И над чем это они столько смеются?

Возвращаюсь домой, решаю с завтрашнего дня начать заниматься по-настоящему и немедленно ложусь спать. Страшно подумать, как быстро бежит время – уже пять дней, как я в Гейдельберге…

Свое решение по-настоящему работать я осуществил, но на свой собственный лад. Немецкие приятели говорили мне, что если я буду слишком разбрасываться, то не только не сдам раньше десяти лет докторского экзамена, но и вообще проиграю всю свою жизнь. Я этому не верил, утверждая уже тогда, что жить надо так же, как играть в шахматы: обязательно всеми фигурами сразу. Кроме экзаменационных предметов, т. е. философии, государственного права и немецкой литературы, я в продолжение всех семестров слушал историю, политическую экономию, историю древних религий, богословие и даже психиатрию, одним словом почти все, кроме естественных наук. На тех нескольких лекциях по физике, химии и медицине, что мне довелось прослушать, я всегда ощущал разоплощение природы и убиение ее души. Непередаваемо страшное впечатление произвел на меня анатомический театр, в который я как-то зашел, чтобы о чем-то срочном переговорить с братом, который вслед за мной тоже приехал учиться в Гейдельберг. Разрезанные на части покойники

(«со святыми упокой»), тяжелый трупный дух, смешанный с запахом формалина и еще чего-то, и тут же рядом уютные дымки папирос и бутерброды в пергаменте на секционных столах, все это до того потрясло меня, что я окончательно укрепился в своей мысли, что лучше совсем не лечить живых, чем так позорить усопших. Брат искренне возмущался моими философскими отвлеченностями, но я упорно твердил свое: от смерти вылечить все равно никого нельзя, отсрочивать же смерть, не зная какая больному предстоит судьба, совершенно бессмысленно.

Из всех профессоров, которых я слушал, но в семинаре у которых не занимался, самым значительным был классический филолог Дитерихс.

В ярко освещенную и всегда переполненную аудиторию запыхавшись вбегал громадный, красноликий и краснорукий человек с муругою вихрастой головою. Вытирая платком пот со лба, он начинал лекцию отрывистыми неряшливыми фразами, как бы подыскивая хватающими воздух толстыми пальцами какие-то точные, не дающиеся ему слова. Минут через пять-десять он, однако, овладевал собою и его хрипловатый, задушевный голос приобретал какую-то особую убедительность. Альбрехт Дитерихс обладал редкою среди немецких ученых способностью воочию видеть то, о чем он говорил. Дионисийские трагедии Эсхила, элевзинские мистерии, культы Деметры и Коры, литургическая тема этих культов «нахождение живым того, которого считали мертвым» и связь этого языческого мира с христианством, на которое Дитерихс смотрел чужим, античным оком – все это оживало в его подчас вдохновенных лекциях с редкою силою. Под влиянием Дитерихса я засел за изучение Ницше (Рождение трагедии из духа музыки) и за книгу его значительнейшего ученика, Эрвина Роде, «Психея». Лекции Дитерихса

подготовили мою позднейшую встречу с Вячеславом Ивановым, Зелинским и со всем русским символизмом.

Наряду с Ходе в те времена самым популярным в городе профессором был историк Эрих Маркс. Хотя он и начал свою научную карьеру с архивных работ во Франции и Англии, на нем, как мне всегда казалось, лежала печать какого-то досадного шовинистического провинциализма. Слушал я у него самые различные курсы, но в памяти остался один только Бисмарк, да и тот не живой, а какой-то бронзовый с сытым голубем на плешине. Я знаю, что написанная Марксом биография железного канцлера, выдержавшая 23 издания, считается классическим научным трудом. Я этого труда не читал, но уверен, что он ниже своей славы: вряд ли Эрих Маркс, малорослый живчик с красивыми, кукольными глазами, мог внутренне осилить вулканическую природу бисмарковского гения.

Охотнее Маркса я слушал Георга Еллинека, меланхолического, рыжего австрийца с кривым пенсне на нервных ноздрях и снулым взором поверх него. В равной мере историк и юрист, Еллинек был одним из первых социологов среди немецких государствоведов. Его живые и в научном отношении весьма поучительные лекции отличались стереоскопической рельефностью научного анализа и не лишенным творческого пафоса полемическим задором.

Первые семестры я не только слушал лекции, но и с жадностью набирался всевозможных новых впечатлений. С типичным «рейнландцем» Платцбекером, который както появился у меня с просьбой давать ему уроки русского языка, мы одно время каждое погожее воскресенье уходили в горы, или в разбросанные по долине Неккара деревни. Страстный патриот и народник-почвенник Платцбекер с восторгом вводил меня в душу и быт своего народа, историю которого он прилежно изучал

у Маркса. На наших прогулках мы тщательно осматривали старые крестьянские дворы, заходили в церкви и подолгу просиживали в кабачках, оставаясь иной раз ночевать в приветливых деревенских гостиницах. Первое время я никак не мог освоить того факта, что бритые люди с подчас очень интересными лицами не то актеров, не то ксендзов, в цилиндрах и длиннополых сюртуках – всего только приодевшиеся ради воскресенья мужики-пахари. Лишь выпив с ними не одну кружку пива и присмотревшись к их мозолистым, коричневым рукам и обветренным изборожденным морщинами лицам, я кое-как связал их со своим русским представлением о мужике.

Будучи ненавистником социалистов и евреев, Платцбекер, от которого я впервые услышал знаменитое моммсеновское определение сущности еврейства, как фермента декомпозиции, настойчиво внушал мне, чтобы я не поддавался сентиментальной болтовне профессора Киндерманна и на его «социально-политических экскурсиях» старался бы на все смотреть своими собственными глазами. Я старался и, невольно сравнивая жизнь немецких рабочих на больших химических заводах в Людвигсхафене с жизнью наших кондровских упаковщиков и ломовых, для которых французская булка была такою диковиною, что фабричная администрация считала ее подходящим коронационным угощением, соглашался с Платцбекером, что социалисты действительно сильно преувеличивают. Тем не менее, я по врожденной жадности ко всему, происходящему вокруг меня, ходил на все социал-демократические лекции и митинги. Помню не очень понравившуюся мне Клару Цеткин, в каком-то сером мешке вместо платья, хрипло ораторствовавшую на тему о разрушении пролетарской семьи под влиянием капиталистической эксплуатации. Гораздо более благоприятное впечатление

произвел на меня маннгеймский присяжный поверенный, впоследствии видный член социал-демократической фракции рейхстага Людвиг Франк. Этот блестящий оратор с большелобым лицом, обрамленным пышными кудрями, изяществом черной визитки и государственным пафосом своего ревизионистического социализма напоминавший Лассаля, был любимым вождем социалистической молодежи – Sozialistische Jugendbewegung[6]. Вскоре после объявления войны 1914-го года он записался добровольцем на фронт и пал в первом же сражении под Люнневиллем. Через год после него пал в Галиции высокоталантливый молодой философ Эмилий Ласк, как и Франк – еврей, социалист и доброволец.

Единственным совсем крупным человеком и оратором, Божьей милостью, среди всех приезжавших в Гейдельберг лекторов, был Фридрих Науманн, основатель и вождь христианско-социальной партии. Социально-педагогическая задача Науманна с полною ясностью определялась заглавиями его первых работ: 1) «Как нам бороться против неверующей социал-демократии», 2) «Социальная программа евангелической церкви».

В связи с появлением третьего издания книги Науманна «Демократия и монархия», его имя было в 1903–4-м годах у всех на устах. В среде «свободного студенчества» и в окружении знаменитого социолога Макса Вебера горячо обсуждалась проблема христианско-национальной и вместе с тем и социально-демократической монархии. Русскому, почти сплошь русско-еврейскому социалистическому студенчеству, теория пастора Науманна представлялась, конечно, сплошною очевиднейшею нелепицей. Я, как умел, защищал Науманна, но защищать его мне было очень трудно, так как никто из моих тогдашних оппонентов

[6] Социалистическое движение молодежи.

не читал его большой работы. Если бы гейдельбергские социалисты хотя бы мельком просмотрели главу о евреях в его «Demokratie und Kaisertum»[7], они, быть может, и простили бы Науманну его тогдашний политический союз с антисемитом Штеккером; в этой весьма интересной главе Науманн высказывает парадоксальную мысль, что ферментом национальной декомпозиции окажется не еврейство, а скорее антисемитизм, который в будущем объединится не с правыми элементами Германии, а с лево-демократическими и социалистическими. Все это никак не интересовало наших партийцев: слепые и глухие ко всем особенностям и сложностям свершавшейся вокруг них жизни, они варились исключительно в своем соку, жили скопом, читали по шпаргалке и узнавали о Германии только то, что печаталось в «Форвертс».

Центром русского партийного студенчества была знаменитая гейдельбергская читальня, помещавшаяся под крышей темноватого, трех или четырех-этажного дома на Мерцгассе. Признаюсь откровенно, что от первого посещения этого русского культурного очага у меня осталось малоприятное ощущение. О существовании читальни-библиотеки я ничего не знал. Случайно проходя по Мерцгассе, я увидел небольшую вывеску на русском языке; очень обрадовавшись, я тут же решил посмотреть, что за читальня и что за народ в ней читает. Первый же взгляд в «читальный зал» сразу разрушил мои радостные ожидания. В небольшой комнате, небрежно увешанной портретами русских писателей и «борцов за свободу», сидели, осторожно шурша тонкою бумагою конспиративных изданий, какие-то сплошь хмурые люди. Никакого привета себе, как русскому, я в быстрых, исподлобья брошенных на меня взорах,

[7] «Демократия и монархия».

не почувствовал. Прочтя на двери, ведущей в соседнюю комнату, надпись: «Правление, часы приема такие-то», я постучался и тут же услышал «herein». В двух задних комнатах, заваленных книгами в истрепанных дешевых переплетах и, главным образом, журналами, курило несколько, по всей своей культурно-бытовой сущности совершенно инородных мне молодых людей. Я просмотрел каталог, записался в члены и вышел из читалки более одиноким, чем вошел в нее.

С течением времени мы с братом и вся наша компания беспартийных москвичей сблизились с такою чуждой поначалу средой западно-русского социалистического еврейства, но совсем своими мы в этой среде так до конца и не стали.

Русские социалистические партии вели за границей регулярную революционную работу, выражавшуюся в партийных собраниях, публичных лекциях и устройстве открытых благотворительных вечеров. Вначале мы на лекции с прениями не ходили, не по сознательному бойкоту, а просто потому, что мало интересовались революцией. Но вот читалкинский улей как-то уж очень разволновался. До нашей компании дошли слухи, что готовится нечто весьма важное, что в качестве докладчика ожидается некая значительная и в каком-то отношении даже таинственная личность. Передавали, что ожидаемой личности будто бы даже запрещен въезд в Германию, но что ее все-таки как-то привезут. Председатель читалки, нищий, чахоточный идеалистический марксист, сговаривался с известным ему носильщиком социал-демократом о конспиративной встрече приезжающего докладчика. (Этот носильщик, к слову сказать, очень обрадовался, увидав меня в 1924-м году на перроне гейдельбергского вокзала. Перекинув через плечо мои чемоданы, он с места же пустился в воспоминания и философию. Вера в то, что в раскрепощении

России он, в качестве присяжного рассыльного революционной гейдельбергской читалки, сыграл далеко не последнюю роль, была в нем так же сильна, как ненависть к коварной Англии, втравившей Россию в войну с Германией и убеждение, что после свержения Романовых и Гогенцоллернов, завещанная Бисмарком Германии дружба с ее великим восточным соседом уже никогда не будет нарушена. Получая хороший «на чай» и крепко пожимая мою руку, он все твердил, очевидно, доставлявшую ему громадное удовольствие фразу: «да, кто бы мог подумать, чтобы социалист Ленин стал осуществителем бисмарковских заветов о сближении Германии с Россией»). Так вот, ввиду всех этих приготовлений, и как бы бенефисного характера предстоящего вечера, как выражался Саша Поляков, студент-медик, племянник известного московского мецената-издателя и обладатель прекрасного баритона (ученик Оленина), мы и решили сменить гнев на милость и почтить вечер своим присутствием. Одевшись понаряднее и воткнув, в пику красным социал-демократическим гвоздикам, по чайной розе в петлицы, мы заняли места под самым носом у докладчика, заказав, вместо полагавшейся дешевой кружки пива, какие-то более благородные напитки. Во всем этом не было и намека на какую-нибудь политическую борьбу или просто демонстрацию. Мы всего только сопротивлялись, как умели, тому бесспорному презрению, которое питали к нам, беспартийным академикам и буржуям, идейные представители революционного социализма. Дело, по правде сказать, осложнялось еще тем, что наша компания не гнушалась общением с некоторыми явными черносотенцами, среди которых был забавный парень, приехавший в Гейдельберг уже после 1905-го года и ходивший по городу с солдатским георгиевским крестом и в бобровой николаевской шинели внакидку.

Таинственным докладчиком вечера, имя которого от нас тщательно скрывали, оказался Лев Дейч. Ни содержания, ни даже темы доклада не помню, помню лишь, что в прениях выступал приехавший вместе с Дейчем Столпнер, совершенно лысый, подслеповатый человек в потертом сюртуке, сразу же поразивший меня своим умом и тою глубокою серьезностью, с которою он развивал свою революционную идеологию. Вскоре после Дейча, очевидно в порядке партийного соревнования, были в том же ресторане «выпущены» эсерами А. Гоц и И. Бунаков. Оба приятеля, с которыми я познакомился уже в свой первый семестр в семинаре профессора Элзенганса, показались мне очень переменившимися. Было очевидно, что за истекшие три года они в чем-то весьма преуспели, что-то совершили и заслужили. Перемена эта ощутилась мною с такою силой, что я как-то даже постеснялся запросто подойти к ораторам и поздороваться с ними, как с товарищами студентами. Надо сказать, что революционное подполье умело создавать авторитеты и внушать к ним уважение даже и среди инакомыслящих.

Абрам Год, приговоренный в качестве члена эсеровского Центрального комитета в 1918-м году большевиками к смертной казни, но помилованный, а потом, после долгих лет заключения, все же убитый, – и сейчас как живой стоит перед глазами: вместо галстука – громадный черный бант, длинные до плеч черные волосы; в этом черном обрамлении бледное, обаятельное, очень умное лицо, с почти не сходящей с него улыбкой и устремленными вдаль глазами. От красноречивого доклада в памяти осталось немногим больше, чем от лекций Дейча: всего только, как-то особенно звучавшее у Гоца многократно повторяемое им слово «марево». Произнося «марево», Гоц видел солнце. В эсерах всегда было много мечтательности.

Вместе с Гоцем, не то в качестве корреферента, не то в качестве застрельщика против марксистов, выступал Бунаков; если не ошибаюсь, уже и тогда по аграрному вопросу. Он говорил менее лирично, чем Гоц, но зато более горячо, умело пользуясь сухими статистическими данными, как хворостом для своего революционного костра. Эсеры восторженно хлопали, эсдеки насуплено пожимали плечами. Я, конечно, выступал в прениях, как против Дейча, так и против эсеров. Доказывая марксистам неверность их социологического метода, и нападая на эсеров за отсутствие у них всякого метода, я выдвигал в качестве положительного начала религиозно-идеалистическую теорию, начавшую у меня вырабатываться под двойным влиянием немецкой романтики и Владимира Соловьева. В 1905-м году, в самый разгар первой революции, я выступил с докладом на тему: «об идейной немощи русской революции». В этом докладе я проводил параллель между французской и русской революциями, доказывая, что французская была первою попыткою практического осуществления последнего слова философии, русская же собирается строить новую жизнь на основе давно уже опровергнутых немецким идеализмом и русской религиозной мыслью материалистических задов философии. Возлагать какие бы то ни было надежды на сочетание политической революционности с духовною реакционностью, я решительно отказывался. Доклад имел успех, но, конечно, лишь успех скандала. Прения длились целых два вечера. Социалисты всех партий с полным единодушием разносили мои тезисы. Большую помощь на втором вечере оказал мне своим выступлением и своим авторитетом прославившийся в Гейдельберге своею выдающеюся докторскою работой Богдан Александрович Кистяковский.

Такие сложные отношения с партийцами были из всей нашей компании только у меня одного. Остальные,

все больше естественники, главным образом медики, не только не занимались общественностью, но даже и не интересовались ею. Мы все без малейшего раздумья над правильностью нашего поведения и при гробовом молчании «классового сознания» помогали читалке добывать нужные ей для революции деньги: из года в год наша компания ставила благотворительные спектакли с балом в пользу эсеров, эсдеков и Бунда. И не только в Гейдельберге, но также в Дармштадте и Карлсруэ.

Почему мы – и не социалисты, и не революционеры, – принимали хотя и косвенное, но все же деятельное участие в партийной жизни, объяснять не приходится. То, что сейчас представляется очень сложным вопросом, не содержало для студенческой психологии начала века решительно никакой проблемы. Мы, не задумываясь играли в пользу партий совершенно по той же причине, по которой действительный статский советник и антисемит Ковальциг не считал за евреев Натана и Леммериха, по которой штабс-капитан Головин сочувственно намекал на нашу не существующую конспиративную квартиру, по которой тетя Зина чуть ли не за образами прятала подпольную литературу, одна почтенная знакомая нашивала белые коленкоровые лозунги на кумачевые знамена, а проживающая сейчас в Германии страстная поклонница Гитлера[8] читала революционные стихи Скитальца на национально-еврейском празднике. Таков уж был дух времени: самая таинственная, самая неуловимая и все же реальная сила истории.

Революционность эпохи имела, конечно, и свою обратную сторону: некоторую никчемность рядовых представителей консервативного лагеря. Помнится, что в продолжение одного или двух семестров, лишь изредка заходя в университет, в Гейдельберге шумно

---

[8] Эту главу автор писал в 1938–39 гг.

веселилась теплая компания дворянской сановной молодежи. С читалкой эта компания, конечно, не общалась, но и с нами, интеллигентами-академиками, сближалась с осторожностью и с большим выбором. Постоянно видался с блестящими молодыми людьми лишь мой приятель, недавно умерший за границей Трифон Георгиевич Трапезников, талантливый историк искусств, нервный, тонкий, всегда изысканно одетый человек, с подлинно аристократической, несмотря на купеческое происхождение, внешностью. За эту внешность известный читалкинский остряк Борис Эммануил при каждой встрече неизменно называл его Трифон-Трапезников. Трифон Георгиевич считал Эммануила наглецом, но втайне радовался его остроте.

Политикой эта компания, конечно, не занималась. Интеллигентского интереса к нелегальной России и подпольной литературе не проявляла, словно не против нее оттачивались в читалке революционные «топоры». Веселилась же она не только шумно, но и с вывертом, с теми причудами, которые никогда не могли бы прийти в голову студентам-корпорантам. Идея вынести мертвецки пьяного, почти раздетого товарища в два часа ночи на улицу и двинуться похоронной процессией к вокзалу с ведром холодной воды для воскрешения обмершего, была столь чудовищным превышением таких традиционных в Германии студенческих шуток, как кошачьи концерты под окнами спящих бюргеров, тушение фонарей, влезание на памятники, что совершенно сбила с толку уютных гейдельбергских шуцманов, решивших поначалу, что тут не веселье, а чуть ли не убийство. Кончилось, впрочем, все благополучно, хотя проделка и обошлась довольно дорого; дороже всех Трапезникову, который ни с того ни с сего взял на вокзале билет и уехал без шляпы и без денег в Париж, проверять все время мерещившиеся ему во время

процессии «мистические треугольники» на нескольких любимых картинах Лувра.

Говоря о Трапезникове, не могу не вспомнить нашего общего приятеля, Михаила Ивановича Катарджи, постоянно проживавшего в двух прекрасно обставленных комнатах лучшей гостиницы. Сын крупного помещика и предводителя дворянства Бессарабской губернии, Михаил Иванович был типичным русским западником-космополитом. Блестяще образованный, свободно говорящий на четырех или пяти языках, Михаил Иванович постоянно вращался среди переполнявших Гейдельберг иностранцев. Несмотря на сильную сутулость, которую Катарджи умело скрывал, он иной раз выезжал верхом с герцогом веймарским и принцессой Софией.

Научная карьера Михаилу Ивановичу не улыбалась, он скорее подумывал о дипломатической, но готовился к ней не спеша. Как настоящий русский барин, он был полон жизни, но лишен того, что ныне стали называть «динамизмом». Его большой и блестящий ум тяготел к Гегелю (Михаил Иванович был учеником гегельянца Куно Фишера), его скептическая душа тянулась к Монтэню, а сердце благоговело перед Паскалем. Наши беседы, прогулки и позднее сидение в маленьком винном погребке были неизменно полны подлинного воодушевления. Я с удовольствием и благодарностью вспоминаю их. Особенно интересно проводили мы время в гостях у Михаила Ивановича, когда к нему приезжал земляк и приятель Базилевич, как и Михаил Иванович, ученик Фишера. Очень начитанный и талантливый, но все же никчемный человек (излишняя роскошь русской культуры), Базилевич до смерти любил разговаривать, вернее балагурить. Балагурил он не без шутовства, но все же и не без высшего смысла. Витийствовал он и жестикулировал всегда на несколько тем сразу, сам себя слушая, сам себе подмигивая и сам на себя радуясь.

Пригласив Трапезникова и меня к себе, Михаил Иванович благодушно показывал нам своего забавного приятеля, как болгарин показывает свою обезьянку: «а покажи, как девица за водой ходит, как пьяный мужик валяется»… Базилевич все охотно показывал, говорил и острил без умолку. Тут были и дерущиеся кошки, которых он еще лежа в постели дразнил сырой печенкой для того, чтобы начать свой день со «здорового» смеха, были и мужики, будто бы спросившие его с телеги – «а что, барин, далеко ли до царствия небесного?» и даже плащаница, к которой ему, Базилевичу, с детства было неудобно прикладываться: «к лику, – заливался он своим барским грассирующе-шепелявым говором, – не достоин, к ногам – смирения не хватает, а к пупку, как-то неловко». Свои юмористические рассказы Базилевич беспрестанно пересыпал то богословскими парадоксами, то философскими афоризмами. Словно из рукава сыпал он цитатами и изречениями Блаженного Августина и Фомы Аквинского, Гегеля и Шлейермахера, Гёте и Чехова…

Михаил Иванович Катарджи, конечно, не был революционером. В нем были сильны государственное сознание и сословное самоутверждение. Тем не менее и он не только брал билеты на читалкинские вечера, но и хорошо платил за них. Заартачился он только один раз, но не по политической, а по эстетической причине. Читалкинский комитет постановил, чтобы распространители билетов обходили «знатных соотечественников» в наивозможно шикарном виде. Во исполнение этого постановления я и явился к Михаилу Ивановичу в визитке, котелке и светлых перчатках, а моя дама в костюме «tailleur» по тогдашней моде, с огромной бутоньеркой на груди. Катарджи не на шутку сконфузился и рассердился: «Я всегда с удовольствием, но при чем этот маскарад… простите, не могу». Пришлось еще

раз вечером запросто придти к нему и продать билет, как обычно, втридорога.

Не удавшийся по отношению к Михаилу Ивановичу «костюмный нажим» дал в Баден-Бадене очень хорошие результаты. Тщательно изучив по курортным спискам русское население Баден-Бадена, мы объезжали гостиницу за гостиницей. Самое важное было твердым тоном и хорошим «на-чаем» помешать телефонному докладу швейцара о нашем желании видеть наших соотечественников. Неизвестных молодых людей, ждущих в вестибюле гостиницы ответа, примут ли их, или нет, мало кто примет. Не принять же внезапно появившихся в раскрытых дверях номера вслед за докладывающим коридорным прилично одетых людей гораздо труднее. Приняв же – еще труднее отказать в каких-нибудь двадцати марках за билеты на благотворительный вечер. Должен сказать, что «знатные соотечественники» почти никогда не отказывали и, не зная что творят, поддерживали нашу «великую и бескровную».

Первым номером появлялся на эстраде великолепный Саша Поляков во фраке и лаковых штиблетах. Его действительно прекрасный голос, ухарство и задушевность покоряли всех: и украинцев, и армян, и грузин, и даже евреев. Меньшинственной ненависти к русской музыке в те времена никто еще не испытывал. После Саши выступали обыкновенно я или мой брат, изумительно читавший Чехова. Чтение сменяла музыка, обычно русское трио из Дармштадта, состоявшее из аристократического поляка, лупоглазого, белозубого румына и грустного местечкового еврея.

По окончании программы все устремлялись в буфет, за которым несколько лет подряд торговала Наталия Осиповна Коган-Бернштейн, вдова расстрелянного социалиста-революционера, и ее неразлучная подруга, как впоследствии выяснилось, провокаторша Жученко,

которую в читалке все любили за тихий нрав и преданность делу. И действительно, спокойный голос и разумные советы этой, скромно одетой и гладко причесанной худощавой женщины с маленькими, желтокарими и слегка как будто косившими глазами, часто улаживали семейно-партийные споры по устройству вечеров.

Несмотря на то, что читалкинские балы устраивались наследниками нигилистических отрицателей эстетики, дамы-организаторши старались обставить их со всею доступною колонии роскошью. По углам зала и у колонн живописно разбрасывались киоски, т. е. декорированные растениями и цветною папиросною бумагою столы. Особенною искусницей в безвкусном деле превращения столов для продажи шампанского, цветов и лотерейных билетов в пестрые бумажные беседки, слыла Сонечка Левине, весьма буржуазная по всем своим жизненным привычкам сестра расстрелянного в 1919-м году, в качестве, члена мюнхенской советской республики, Евгения Юльевича Левине, которого я близко знал.

Покинув Гейдельберг в 1910-м году, я совершенно потерял Левине из виду; где он был во время войны 1914-го года, и что она из него сделала – я не знаю. В студенческие годы – это был невероятно мягкий, даже сентиментальный человек, воспевший в стихах барабанящие по крышам пролетарских мансард осенние дожди и чистых благородных проституток. Его бескровный и отвлеченный социализм носил скорее этически-педагогический, чем революционный характер. Одно время он стоял близко к немецкому обществу «Ethos» и объезжал по его поручению немецкие города с лекциями о Максиме Горьком. Ни фанатизма, ни догматизма в нем не было. Думаю, что в мое время он вообще не был определенным и стойким марксистом.

Немецкий энциклопедический словарь называет Евгения Юльевича русским социалистом, это вряд ли верно. Раннее детство, правда, он провел в России, но учился в Германии. Стихи и драмы писал на немецком языке, который он считал своим родным языком. По подданству он был итальянцем, по миросозерцанию – гуманитарным атеистом, по внешности типичным евреем. Во всем облике не было ни малейшего намека на идейно-волевую жизнь и на трагически-героическую смерть. Самое страшное в этой смерти то, что она, как мне по крайней мере кажется, была не судьбою, а случайностью.

Какая страшная мысль, что не только Левине, но и мы, беспартийные организаторы благотворительных Гейдельбергских вечеров, во всем, что случилось с Россией, виноваты. Мы, конечно, хорошо знали, что выручаемые деньги поступают «в распоряжение революционных партий», но над смыслом этих слов не задумывались. Не задумывались над ним, в конце концов, и сами партийцы; суетливо, но не без важности живя своею «идейной» жизнью, – собраниями, прениями, рассылкой литературы – они образа той революции, которую готовили, перед собою не видели. Если бы их глазам хотя бы на минуту предстала возможность того, что сталось с Россией, на наших благотворительных вечерах вряд ли могло господствовать то задушевно-обывательское веселье, которое по своему психологическому тембру мало чем отличалось от обычных провинциальных вечеринок.

Так же, как в Калуге или Коломне, под жиденький оркестрик в пять человек, кружились мечтательно вальсирующие пары. Под оглушительные французские возгласы так же путанно выделывала свои фигуры лихая кадриль и несся по залу бешеный галоп. Для мазурки и венгерки у немецких музыкантов не хватало

темперамента. Тогда поддать пару за рояль садился, похожий на Антона Рубинштейна, Джемс Шерешевский. Топот, шарк и скок сразу же усиливались. Печальноокий армянин Телетов, талантливый молодой ученый со слегка седеющими висками, изящно чертил миниатюрнейшей ножкой блестящий паркет зала. Пышным, тюлевым колоколом плыла рядом с ним его дама, желто-розовая, как марципанное яблоко, Сонечка Левине. Острым циркулем выкидывал в стороны свои длиннейшие ноги, задушенный крахмалом председатель читалки Товбин, вислощекий, вислоносый юноша с совершенно заросшим густым волосом лбом. Широкою «московскою масленицей» скользил по залу, счастливый своим артистическим успехом уже сильно подвыпивший Поляков, большой специалист по части мазурки и венгерки. Аристократический Три-фон-Трапезников не танцевал, т. е. не прыгал и не крутился. Под размеренно мелодичные звуки па-де-катр или миньон, он с неподражаемым старомодно-декадентским изяществом ритмически прогуливался по залу с самою изящною дамою вечера. В остальное же время сидел за шампанским с Катарджи и балтийским бароном, развлекая себя и своих собеседников меткими замечаниями по поводу «веселящейся революции».

К часу танцы прекращались и начинался, как на всех русских вечерах, пляс. Сначала плясали «русскую» (у нас в деревне, если дом еще не снесен, вероятно, и сейчас на чердаке валяется полученная мною в качестве первого приза за «русскую», репродукция Штуковской картины «Грех»), а потом еврейскую «дределе». Этот танец замечательно исполнял добрый москвич, Тимофей Ефимович Сегалов, автор интересной докторской работы об эпилепсии у героев Достоевского и большой любитель Глеба Успенского, рассказы которого он талантливо читал на наших вечерах. Танцевал Сегалов

в длинном черном сюртуке и в заломанном на затылок цилиндре. Под локти за спиной пропускалась палка, большие пальцы запускались в проймы жилета, остальные, в растопырь, подрыгивали в такт музыке. Все тело подергивалось и раскачивалось в каком-то комическом, но не лишенном своеобразной грации, ритме. Сегалов получил в награду «Бетховена» Балестриери. Почему Штук и Балестриери были любимцами революционной молодежи и в большом количестве украшали студенческие мансарды, сказать не могу. Странным образом это было тоже в духе времени.

Когда было пора расходиться по домам, начиналось пение. Сначала Поляков со своим хором в пять-шесть человек затягивал на эстраде «Не осенний мелкий дождичек» или «Во поле березонька стояла». Но очень скоро в дальнем углу зала не в порядке политической обструкции, а просто по велению души и вина раздавалась какая-нибудь революционная песня. Явно, что революция, за которой было «компактное большинство», всегда побеждала. Поляковские солисты добровольно переходили в революционных хористов и подхватывали революционные припевы отнюдь не менее страстно, чем народные. Лучшим запевалой революционных песен был изредка наезжавший в Гейдельберг Бунаков, в те годы поразительно красивый, вдохновенный юноша, исполненный живою верою в непобедимость добра. Пишу и вижу перед собою его бледное, запрокинутое лицо, прекрасные волнистые волосы почти до плеч, ласковые, счастливые глаза, слышу его не очень ровный, но большой и благородный по тембру голос.

Обыкновенно же запевал известный впоследствии историк русского студенческого движения Сватиков, полный, низкорослый, осанистый юноша. Пел он с определенным цыганским, пошибом:

По пы-ы-лыюй дороге те-е-лэга не-есется
А в-ней два-а жандар-ма си-идят…

Хор лихо подхватывал:

Сбейте ж оковы, дайте мне волю
Я научу вас свободу любить…
А до-о-ма оставил он ма-ать одинокую
Что будет о нем го-о-рэвать…

с новым нажимом чувствительности выводил дальше Сватиков… В заключение, явно озорничая, крыл всех своим могучим голосом Саша Поляков:

Сбейте ж оковы, дайте мне волю…

После пыльных жандармов пелась марсельеза, интернационал, иной раз довольно нелепая старая студенческая песня:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать» писал,
За героев его,
За его идеал.

и т. д., вплоть до польского национально-революционного гимна:

Еще Польска не сгинела…

болгарской «Окровавленной Марицы» и еврейской колыбельной:

Уф дем припечек брент а файерл.

Эту песнь, как и другую переселенческую:

Ин Америка воинт дер Тата

пели обыкновенно на рассвете, как бы про себя, несколько местечковых студентов и студенток. Особенно грустно было видеть среди них уже не совсем молодого, горько нуждавшегося доктора химии, которому знакомый мне корпорант, в будущем посол демократической

Германии, как-то при всех посоветовал пристегивать всегда спускавшиеся брюки к концам галстука, если ему действительно не на что купить помочи.

Рассказывая об этом, я отдаю дань современности; не отдавать этой дани нельзя; важно только не уступать ей своих позиций, что никого не обязывает, однако, сохранять их совершенно в том же виде, в каком они были некогда заняты. Нельзя не видеть, что не существовавший для левой русской интеллигенции еврейский вопрос, оказался не только существующим, но и весьма сложным по своей сущности.

Эта сущность приоткрылась мне впервые в 1907-м году. Попав к своим друзьям, сестрам Миракли в Вильну, я сразу же заметил, что они, отнюдь не будучи антисемитками (одна из них, своеобразная толстовка, целыми днями работала задаром в еврейской сапожной мастерской) относятся к еврейству совершенно иначе, чем мы, москвичи. Под их влиянием я и сам начал ощущать своеобразное лицо еврейства, как особого, во многом от русских весьма отличного народа. Здесь я впервые увидел жирных толстосумов с тяжелыми веками и скептически скривленными губами, сладко млеющих, румяно-крупитчатых, словно сахарною пудрою посыпанных волооких барышень и липнущих к ним провинциальных франтов, в утрированно модных костюмах, ярких галстуках, лиловых носках и лимонно желтых перчатках, но увидел также и изможденных землисто-серых юношей, с глазами фанатиков и безумцев, раздавленных нищетою и горем старух, словно сошедших с полотен Рембрандта, и прекрасных, величественных стариков в пейсах и кафтанах…

В результате моего довольно долгого пребывания в черте оседлости во мне не только возникло чувство исключительной трагичности еврейской истории, но и зародился вопрос не является ли

Еврейский запах нищеты и пота,
Селедки, моли, жареного лука,
Священных книг, пеленок, синагоги…

(Довид Кнут)

бытовым осадком, раздирающей душу еврейства борьбы между призванностью ко вселенскому делу и узким национализмом.

Никакие разговоры на эту тему с читалкинскими деятелями не были, конечно, возможны: за малейшую попытку выяснить «еврейский вопрос» они сразу же зачислили бы меня в лагерь реакционеров и антисемитов. То, что я вывез из моей поездки в Вильну – живую жалость к еврейству и стыд за царскую инородческую политику, – показалось бы им только естественным. Вывезенное же мною второе убеждение, что, занимаясь рабочим и аграрным вопросами, русское революционное еврейство занималось, в конце концов, лишь борьбою за свое равноправие, на что оно имело, конечно, полное право, – им показалось бы несправедливым, так как, в связи со всей своей политической идеологией, они себя от русского народа не отличали.

Сам я в то время ни рабочим, ни аграрным вопросами не занимался и теоретически ничего в них не понимал. Но думая, как мне это всегда было свойственно, прежде всего глазами, я никак не мог увидеть живого смысла в том, что внук виленского раввина и сын ковенского маклера, никогда не видавшие русской земли и русского мужика, ежеминутно ссылаясь на Карла Маркса, горячо спорят друг с другом о том, в каких формах рязанскому, сибирскому и полтавскому крестьянству надо владеть своею землею.

Рассказывая о своих университетских годах, я сознательно не касался вопроса о своем внутреннем философском развитии.

Предполагая рассказать о нем в дальнейшем, сейчас я хочу упомянуть только об одном событии, которым

закончилась моя заграничная учеба, и которое определило собою мои первые философские шаги в России.

Сдав докторский экзамен, мы, то есть: Сергей Осипович Гессен, Николай Николаевич Бубнов и я решили вместе с двумя немецкими товарищами, будущими профессорами Мелисом и Кронером, основать выходящий на нескольких языках международный журнал по философии культуры.

Организационное заседание должно было состояться на квартире профессора Риккерта во Фрейбурге. По счастливой случайности, во Фрейбурге как раз находились Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Николаевна Гиппиус с их неразлучным спутником Философовым.

Недолго думая, мы с Сережей решили пригласить наших знаменитых соотечественников на заседание к Риккерту, где должен был быть и издатель проектируемого журнала. Расчет наш оказался вполне правильным. Присутствие русских известных писателей сильно повысило наш престиж, а потому и шанс на заключение выгодного контракта.

Предстоящий разговор с Мережковским, с которым он только что познакомился, как с писателем, очень занимал Риккерта. В утро того дня, на который было назначено заседание редакции с издателем Зибеком, при участии русских писателей, Риккерт на своей ежедневной прогулке по Гюнтерстальской аллее, неожиданно встретил, как он сразу же понял, Мережковских с Философовым.

Зинаида Николаевна Гиппиус-Мережковская произвела на домоседа-мыслителя огромное впечатление своеобразной новизной своего образа. Очень «изящно и даже агрессивно» одетая и окутанная облаком душных духов, пахнувших даже на душистом летнем воздухе, она показалась ему существом только что вышедшим

из утонченного французского романа, и он никак не мог представить себе, что сможет с Frau Mereschkowsky говорить о философии и мистике. Немножко побаивался он и того, как встретит Зинаиду Николаевну его жена, женщина большой культуры, очень умная, очень тонкая, но совсем другого склада: достаточно сказать, что Париж оказался для нее, талантливой скульпторши, одним из самых больших разочарований всей ее жизни; он навсегда поразил и оттолкнул ее своею грязью. Характерно, что грязь и беспорядок Рима ее душа и ее глаза принимали без всякого протеста.

Несмотря на всяческие сомнения и опасения, все кончилось как нельзя лучше. Дмитрий Сергеевич произвел на Риккерта впечатление очень яркой и сильной индивидуальности, хотя он и не мог понять, почему знаменитый писатель больше говорил о Суворове, чем о «Логосе», как было решено назвать наш журнал. От Зинаиды Николаевны в душе Риккерта осталась «nur eine Melodie», но все же он почувствовал утонченность и экзотику петербургской культуры. В издателе Зибеке присутствие знаменитых русских писателей усилило уважение к русской редакции; он поверил, что нам удастся найти в Москве столь щедрого мецената, от которого будет перепадать и ему, и согласился начать серьезные переговоры, которые Риккерту и удалось довести до благополучного конца. Вскоре после заседания мы подписали с Зибеком довольно выгодный контракт.

У меня от первой встречи с Мережковскими и Философовым осталось лишь внешнее впечатление: прекрасные, печальные глаза и красные губы Дмитрия Сергеевича, какая-то, несмотря на штатский костюм, перетянутая, военно-адъютантская талия Философова и изящный костюм-тайер Зинаиды Николаевны с цветами на отвороте.

Несмотря на то, что Мережковский был основателем и председателем петербургского религиозно-философского общества, в котором я, по приглашению Вячеслава Иванова, дважды выступал с докладами, я вторично встретился с Мережковскими уже в эмиграции, в 1923-м году на банкете «Современных записок» в Париже. То, что мы с ним в России ближе не познакомились, конечно, не случайность: очень близкий мне по своим темам и с ранних лет интересовавший и волновавший меня писатель, Мережковский чем-то постоянно и отталкивал меня, чем, мне самому не вполне ясно: скорее всего назойливостью его идеологического конструктивизма, которым одинаково полны как романы, так и публицистика, а также и неподлинностью его творческого горения. Все собираюсь заново перечесть все произведения этого исключительно трудолюбивого и блестяще одаренного человека и вскрыть для себя его живую человеческую душу. Дарование Зинаиды Николаевны ближе и понятнее мне. В нем тоже нет духовной питательности и душевной теплоты, но зато много тончайшего яду и непередаваемого очарования.

Наша гейдельбергская, студенческая жизнь протекала, если не считать квартирных хозяек и ежесеместровых приглашений к нашим профессорам, в полном отрыве от местной жизни. Ближе познакомился я с германским бытом и обиходом лишь к концу четвертого семестра, попав, по желанию отца, осенью 1904-го года в Пруссию. Отцу хотелось, чтобы я увидел его родину и познакомился бы с его родственниками.

Прежде всего я направился в Мемель, где двоюродный брат моего отца занимал должность бургомистра. Большая бесформенная вилла бургомистра стояла в молодом, только что посаженном саду далеко за городом. Воздух показался мне особенно чистым и крепким. Почувствовалась близость моря. Встретила меня

тетушка с родственным радушием и сразу же повела обедать. В столовой была уже в сборе вся семья. Старшей дочери, скромной миловидной девушке с пепельными косами, обвивавшими тщательно причесанную голову, с золотым крестиком на черной бархатке, было на вид лет шестнадцать; самая младшая сидела за столом в высоком стульчике. Сам дядюшка оказался внушительным, добродушным мужчиной, что называется в самом соку: умные очки, аккуратно подстриженная бородка. Видно, что он душою и телом приятно ощущает свое бургомистерское достоинство, свое значение первого гражданина города. Угощали сердечно, расспрашивали обо всем с живым интересом. Дядюшку интересовала главным образом Японская война, тетушку – наша семейная жизнь: сколько у меня братьев, сестер, бывала ли мама заграницей, почему я учусь в Германии… Конфирмантка Паула изредка вскидывала на меня любопытные взоры, что мне казалось вполне естественным со стороны шестнадцатилетней провинциальной девочки, только что познакомившейся со студентом знаменитого Гейдельбергского университета, к тому же уроженцем таинственной России, в которой медведи среди белого дня задирают проезжих на дорогах… Тетушке поведение Паулы было явно не по душе; по ее мнению, дочь должна была думать только о конфирмационных уроках. Тем не менее обед протекал вполне благополучно… Но к несчастью, я начал оживленно рассказывать о берлинской постановке «Дна». Как только я упомянул имя Горького, я почувствовал, что сделал какое-то фо-па, но отступать было ниже моего достоинства. На двадцать первом году своей жизни я был очень тверд в своем презрении к мещанству. Делая вид, что ничего не замечаю, я продолжал свой рассказ, вдаваясь, что было очевидно уже совсем неприлично, в детальное сравнение исполнения роли Настьки Книппер

в Москве и Эйзольд в Берлине. Весело начавшийся обед кончился для меня печальною неожиданностью. После сладкого все встали из-за стола. Бургомистр сразу увел меня в кабинет, где был сервирован кофе с коньяком; на низком маленьком столике стояли коробки с сигарами всевозможных размеров и окраски. Очень удивившись моему отказу от коньяка и сигар (очевидно, в представлении почтенного бургомистра студент, развязно рассуждающий о социалистах и проститутках, должен был быть привержен к табаку и крепким напиткам), дядюшка внезапно вскинул на меня полный укоризны взор и, задумчиво посасывая толстую сигару, с видимым нравственным усилием, словно исполняя тяжелый долг, начал длинную тираду о том, до чего с моей стороны было неуместно говорить в присутствии конфирмантки о социалистах, о Горьком и восхваляемых им проститутках. «Неужели ты не понимаешь, – наставлял меня дядюшка, – что Паула, этот невинный ангел, которая готовится в этом году впервые предстать перед алтарем для причастия, не должна ничего знать об этих беспутных женщинах?»

Такого серьезного наступления я не ожидал, но оно было мне на руку. К отбитию лобовой атаки я был более подготовлен, чем к защите себя от того враждебно-недоуменного молчания, которое наступило после моего разговора о Горьком и «Дне» за столом. С поразившей моего дядюшку убежденностью выпалил я все, что мог сказать в защиту независимости искусства от мещанской морали и политического направленства. За Настьку я заступился со всею страстностью молодости: нет, она не обыкновенная проститутка, она поэт и мечтатель, в России это все понимают. Если бы «Дно» было грязным произведением, моя мать не стала бы нам читать его вслух. А она читала, да еще как! Недаром она в молодости играла с самим Станиславским

в любительском спектакле. На чтении присутствовала и моя сестра, такая же шестнадцатилетняя девушка, как Паула.

Перед столь энергичной самозащитой почтенный бургомистр почти что растерялся. Несмотря на докторский титул и звание присяжного поверенного, он както не сразу нашел, что мне возразить; думать же ему в мирный послеобеденный час, всем обиходом предназначенный для отдыха, явно не хотелось. Принципиальная сторона вопроса его вообще мало интересовала. Решив, что я чужого поля ягода и что со мною, воспитанным очевидно не вполне нормальной матерью, ничего не поделаешь, дядюшка внезапно переменил тактику. Похвалив за красноречие и посоветовав сменить «бесхлебное искусство» (brotlose Kunst) философа на карьеру присяжного поверенного, для которой я, как он только что имел случай убедиться, был одарен, как немногие, он взял с меня честное слово, что Пауле я своих сумасшедших теорий развивать не буду, и, весело подмигнув, заявил, что вечером мы с ним «уютненько кутнем», чтобы выбить из моей головы выспренние русские идеи.

Ужин, к которому дядюшка слегка принарядился, прошел гладко и легко: очевидно, тетушке уже было известно, что мое поведение за обедом объясняется не столько моей личной порочностью, сколько чрезмерно либеральными взглядами моей русской матери. Поужинав, мы отправились в город. Согласно разработанному дядюшкой плану, нам предстояло посещение четырех ресторанов. Начать обход предполагалось с простой пивнушки, закончить же дорогим винным погребком, выдержанным в старогерманском стиле. Шли мы, как, выйдя из дому, сразу же сообщил мне дядюшка, не просто кутнуть, а кутнуть с высшею, так сказать, целью. Как гоголевский Скзозник-Дмухановский,

градоправитель Мемеля считал своею обязанностью время от времени лично удостоверяться – правильно ли свершается течение жизни во вверенном ему городке и не притесняют ли где заезжих гостей. Такое значение бургомистерских прогулок содержатели ресторанов не только хорошо понимали, но, очевидно, и приветствовали. Они подбегали к нам с совершенно невероятным подобострастием и, приняв заказ с почтительно склоненною головою, передавали его кельнерам с головою победоносно поднятою. По ресторанам радостно разносилось: «Fur Herrn Oberburgermeister zwei Pils! Fur Herrn Oberburgermeister eine Flasche Niersteiner und Hummermayonnaise»![9] Этот хорошо мне запомнившийся салат из омаров и бутылка рейнвейна в серебряном ведре со льдом были нам поданы в довольно уже поздний час. В резной деревянной нише было темновато. На столе горела низкая лампа под желтым абажуром. Многоопытная в любовных делах кельнерша, не очень молодая, но еще очень красивая, принесла, к моему удивлению, не два стакана, а три и, разлив вино, фамильярно подсела к нам, как имеющая на то право старая знакомая бургомистра. Уже давно находившийся под влиянием винных паров дядюшка смотрел на нее с еле скрываемым вожделением, но и с желанием дать мне почувствовать, что он никогда не перейдет границы… Может быть, сей примерный муж, походивший в тот вечер на кота в благороднейшей визитке, и действительно не преступал той черты, что в его подсознательно-лицемерном сознании твердо отделяла дозволенную неверность от недозволенной, может быть, вспоминая со мною свои незабвенные студенческие годы, он лишь по старой привычке весьма развязно

---

9 Для господина обербюргермейстера два пильзенского пива! Для господина обербюргермейстера бутылку нирштейнского вина и двойную порцию салата из омаров!

попадал игривою рукою в пышные прелести своей веселой дамы, – не знаю. Знаю лишь то, что от всего этого мне было как-то не по себе и что мое смущение явно раздражало почтенного бургомистра.

Когда я на следующее утро сошел в столовую, я застал за кофейным столом у окна одну только тетушку. Она, казалось, была в самом лучшем расположении духа. Желая окончательно загладить вчерашнюю обеденную неприятность и подчеркнуть, что она совсем не узкая моралистка, тетушка сразу же заговорила о нашем вчерашнем кутеже. Что-то в ее поведении мне не понравилось, и я с жестокою, желторотою прямолинейностью, без всяких обиняков заявил, что я их немецких взглядов на жизнь не понимаю; не понимаю, почему с Паулой нельзя говорить о прекрасном сценическом воплощении вовсе не неприличного образа Настьки, а с кельнершей, тяжело зарабатывающей свой хлеб, можно обращаться совершенно неприлично. При произнесении последних слов урожденную баронессу чуть не хватил удар. Ее лицо мгновенно налилось кровью, и нижняя челюсть отвисла, как у Щелкунчика; она гневно ударила кулаком по ручке кресла… и расплакалась.

Дней через пять бургомистр ласково, но твердо посоветовал мне отправиться погостить в имение своих родственников, в котором как раз гостила вместе со своею берлинскою подругою моя замужняя троюродная сестра.

Коренастый пароходик, на котором почти совсем не было пассажиров, медленно подходил к пристани. В заливных лугах низкого берега споро работало несколько конных косилок. Когда, спустив пар, начали причаливать к небольшому серому мостику с двумя скамейками на нем, во внезапно наступившей тишине послышался совсем калужский стук молотилки.

На пристани стояла стройная молодая женщина в белом платье с красным шарфом и весело махала мне широкополой соломенной шляпой. Сбежав по сходням, я с неожиданным приливом родственных чувств радостно расцеловался с очаровательною кузиною и, отдав по ее приказанию чемодан какому-то простоватому парню, вопросительно оглянулся: отправляясь в Rittergut[10], я почему-то ждал, что за мною вышлют по меньшей мере четверню, которая после резвой езды по каким-то еще никогда не виданным местам примчит меня к подъезду барского дома, а может быть и замка.

К моему удивлению, никакого экипажа не оказалось. На мой задорный вопрос: «а где же лошади?», кузина, рассыпавшись звонким смехом, во мгновение ока накинула мне на шею свой длинный шарф, ловко продернула его концы под мышки и, протрубив в кулак военный сигнал «рысью», ударила меня зонтиком по плечу. Невольно подчиняясь ее прихотливо-веселому настроению, я после недолгой, но уже сладостной борьбы выхватил у нее зонтик и мы под руку понеслись к видневшимся невдалеке крышам и деревьям имения. Минут через пятнадцать мы уже были у калитки усадьбы. Над высокой травой, кое-где плешинами выкошенной для скотины, закатными огнями горели окна старого дома; в густом саду пестрели куртины астр, георгин и настурций. От калитки к дому шла совсем русская, запущенная дорожка. Поодаль виднелись развесистые яблони в подпорках. Никаких следов рыцарства: все уютное, милое, простое.

Быстро умывшись и переодевшись в отведенном мне мезонине, обставленном тяжелою, домодельною мебелью красного дерева, украшенном чучелом тетерева и букетами засушенной травы, я в необычайно

---

[10] Родовое имение.

приподнятом настроении сбежал в зал; одернулся перед одним зеркалом, оправил волосы перед другим и с бьющимся сердцем вышел на террасу, где меня уже ждали к ужину кузина и ее подруга: очень красивая женщина с темными, горячими глазами, с бескровными губами и со слишком холеными от безделья и скуки руками – несчастная и нервная.

В царившем на террасе настроении мне сразу же почувствовалась какая-то чуждая обывательски-помещичьему уюту нота. Беспокойные огни свечей посреди стола, накрытого с недеревенской тщательностью, душно-сладостный запах осенних роз и крепких духов, целая батарея затейливых ликерных бутылок, коробки с модными в то время папиросами Кириацифрер, сыры, фрукты, тут же томик стихов графини фон Путткамер, своеобразной предшественницы нашего Вертинского, писавшей под рискованным псевдонимом «Марии Магдалины», все это ничем не напоминало мемельских родственников. В первый же вечер Эльсбет мне рассказала, что между нею и ее родными – война, что она живет в имении вроде как в ссылке, отбывает наказание за измену своему мужу, противному ей человеку, за которого ее, семнадцатилетнюю, насильно выдала замуж мать. Денег муж ей на руки не дает, родители же дают гроши, но требуют, чтобы она честно отрабатывала их. Ей поручено самостоятельное ведение молочного хозяйства. Она должна вставать с петухами, чтобы присутствовать при дойке и записывать в толстенную книгу, сколько литров дает Цецилия, сколько Корнелия, сколько Валькирия (более скромных имен у немецких коров почти не бывает). Молочное хозяйство она ведет и даже с успехом, но и за свою свободу борется с ожесточением. У ее подруги деньги пока еще водятся; ликеры, фрукты, закуски – все это она выписывает из города. Живет она в деревне, пытаясь, пока что

домашними средствами, привести в порядок свое здоровье, так как ее берлинский «друг» не выносит детей.

Этот странный и интимный разговор невольно привел меня в сильное замешательство. Обе женщины это заметили и дружно подняли меня на смех: «Nein, sieh doch, wie unser Baby rot wird»[11], – воскликнула кузина и, захлопав в ладоши, ловко запустила в меня диванной подушкой. Не успел я вымолвить слово в свое оправдание, как она с кошачьей легкостью прыгнула мне на колени, зажала рот горячею, пахучею ладонью: «Baby soll schweigen»[12] и таким шалым, хмельным, все совлекающим взором заглянула мне в глаза, что голова моя пошла кругом и во всем теле ошалело застучали пульсы: пол террасы всколыхнулся, как палуба в бурю, и начал уходить из-под ног. Теряя сознание, я вдруг почувствовал как бы ожог в сердце: в моем левом кармане лежало письмо из Москвы. Перед глазами сразу встал старый сад на Кудринской-Садовой. Боже, как преданны были печальные итальянские глаза, как ласковы прикосновения тихих рук, как нежны и прохладны робкие девичьи губы…

Так нежданно-негаданно поднялась в моей душе первая отчаянная борьба с самим собою за самого себя; самая, быть может, трудная в жизни борьба твердой воли против расслабляющих желаний, непреклонной верности против соблазнов и мечты.

Эльсбет так страстно увлеклась своею игрою в любовь, что в доме и хозяйстве все сразу же пошло вверх дном. Число литров, даваемых по утрам Корнелией и Валькирией, правда, аккуратно записывалось, но лишь потому, что мы в это время как раз расходились по своим комнатам, чтобы хоть немного соснуть до утреннего кофе, который подавался теперь не в 8, а в 10 утра.

---

[11] Посмотри только, как наш младенец покраснел.

[12] Младенец должен молчать.

До обеда Эльсбет пыталась заниматься хозяйством, но без большого успеха. После обеда все окончательно сходило с рельс. Несмотря на страдную пору, лучшая пара рабочих лошадей частенько запрягалась в легкую тележку и мы иногда втроем, иногда вдвоем уезжали в поля, в лес, любоваться заречными закатами и жечь костры на берегу реки. У Эльсбет был небольшой, приятный голос, но песни ее меня не трогали. Превращая Неман в Угру, я начал обучать ее русским романсам и песням. Она старательно учила русские слова, но выговор ее был ужасен. Решили, что она будет петь песни без слов. Бывало, пение обрывалось на особо трепетной ноте… Так проходили наши вечера и ночи… в лесу, в саду, под яблонями, на скамейке у пристани под грустные всплески всегда чем-то устрашающей душу ночной реки.

Как миг пролетела вторая половина августа; вот уже и сентябрь начал склоняться к концу. Все темнее становились осенние ночи, все ярче пылали в их темноте большие, лучистые звезды. Все холоднее становились утра. Желто-красные клены, зеленые лапы ельника уже с трудом пробивались сквозь мглисто-молочный утренний туман. Эльсбет надо было собираться в Берлин. Она горячо уговаривала меня не возвращаться в Гейдельберг, а иммобилизоваться на зимний семестр в Берлине. Соблазн был велик. Все же, хоть и с грехом пополам, я себя отстоял, чарам не только пленительной, но и многоопытной в любовных делах женщины до конца не поддался. Волю мою крепила не только верность моей Москве, но и преданность идее подлинной любви, не только Людмила, но также «Крейцерова соната» Толстого и «Смысл любви» Соловьева…

Спускаясь в пять часов утра с украденным ключом от двери в кармане и с башмаками под мышкой

из душной берлинской квартиры кузины, я испытывал бурную радость избавления от грозившего мне пагубного счастья…

После Клементьева и моей прусской эпопеи, Гейдельберг показался мне благостным раем. Моя тихая мансарда с большим трехстворчатым окном и привычным видом на безмолвие Неккаровской долины и Оденвальдских гор, встретила меня ласковым, солнечным приветом. На письменном столе, под букетом роз – привет моей милой хозяйки – стояла фотография московской гимназистки, а на стуле лежал тяжелый пакет, только что присланное из Москвы, полное собрание сочинений Владимира Соловьева.

На следующий же день, во время чтения «Оправдания добра», в комнату постучался почтальон и протянул толстое заказное письмо, запечатанное Людмилиным лиловым сургучом. Потрясенная моим покаянным письмом, она писала, что надеется достать денег и к весне приехать в Гейдельберг, не для того, чтобы отстаивать себя, а для того, чтобы залечить мои раны. И дух, и смысл ее письма целиком заключался в соловьевской строфе:

Милый друг, не спрошу я тебя,
Где ты был и откуда идешь,
Только к сердцу прижму я любя,
Ты покой в моем сердце найдешь.

Да, это был совсем другой мир, чем тот, из которого я только что вырвался: девичий, жертвенный, русский. С умилением и раскаянием читал и перечитывал я полученное письмо; за чтением вспомнилось, как принес Людмиле накануне отъезда в Пруссию большую фотографию Соловьева (ей очень хотелось постоянно иметь перед глазами лицо философа, над которым я буду ежедневно работать) и как она, твердо держа ее в своих, быть может, слишком маленьких руках, в глубокой

задумчивости, со свойственной ей расстановкою слов, повторила, уже не раз слышанное мною признание, что в сущности она любит в человеке только глаза и руки. На ее языке это значило: как жаль, что существует страсть, когда вся полнота дана уже в любви. Ставя портрет на стол и горячо благодаря меня, она прибавила: «Лучших глаз и рук, чем у Соловьева, я ни у кого не видала».

К лету Людмила, как и обещала, приехала в Гейдельберг. За этот жертвенный и во многих отношениях героический приезд я до конца жизни останусь благодарен той несчастной, одинокой женщине, которая бьется в Москве над воспитанием сына, которого без настоящей любви родила в революцию, чтобы иметь основание не прекращать своей так никому и не пригодившейся жизни.

Рассказывать о нашем лете, о пятом лете нашей любви, я не буду. Достаточно сказать, что своею добротою, своим высоким благородством и своею верою в какое-то мое высшее призвание, Людмила действительно спасла меня тем летом от ската в то «отвлеченное сладострастие» (Соловьев), которое разожгла во мне Эльсбет. Спасла меня Людмила, однако, не для себя, а для новой любви, которая зародилась в душе вскоре после ее отъезда в Москву.

Вместе с угасанием моей первой любви во мне началось – в душе все друг с другом связано – и некоторое охлаждение к Владимиру Соловьеву, по крайней мере к его аскетической этике. Докторская работа была начерно уже написана, о перемене темы не могло быть и речи. После многих колебаний я решил ограничиться переносом центра тяжести своей работы из сферы этики в сферу философии истории. Виндельбанд не протестовал. Изложению соловьевской философии я решил предпослать довольно обширное вступление, посвященное западникам, Чаадаеву и славянофилам.

Утраченный мною интерес к рационалистической системе Соловьева, глубоко чуждой его пророческому духу и его лирике, оказался утраченным навсегда: моя докторская работа так и осталась фрагментом задуманного большого исследования о Соловьеве.

Развенчание Соловьева произошло во мне не без влияния Розанова. Ту роль, которую в моей жизни сыграл прусский роман, в моем духовном развитии сыграла встреча с этим чувственно-привередливым и все же по точности своих духовных прозрений гениальным мыслителем.

Уже первая, прочитанная мною розановская статья с меткой и злой критикой соловьевского стиля произвела на меня среди обильной литературы о Соловьеве исключительно сильное впечатление.

Так двумя тяжелыми переломами, двумя болезненными разрывами закончилась моя взволнованная юность.

Ноябрь 1938 г. – апрель 1939 г.

Глава V
ЖЕНИТЬБА. СМЕРТЬ ЖЕНЫ. ШВЕЙЦАРИЯ. ФРАНЦИЯ. ИТАЛИЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

Стояли прекрасные сентябрьские дни. Не только Гейдельбергский университет, но и весь город – гостиницы и рестораны, меблированные комнаты и частные квартиры, носильщики, рассыльные и извозчики – готовились к приему съезжавшихся на третий философский конгресс гостей: немцев и иностранцев. Больше всех волновалась владелица «Театр кафе», милейшая фрау Райски. Бесконечно гордая тем, что организационный комитет конгресса поручил ей закусочный буфет, она страшно боялась, что не угодит иностранцам. Каждый раз, когда кто-нибудь из нашей компании заходил к ней выпить чашку чаю или поужинать, она скромно присаживалась к столику и начинала все снова и снова расспрашивать, что пьют и едят к завтраку французы, англичане и итальянцы. Особенным авторитетом у нее пользовались Михаил Иванович Катарджи и Трифон Георгиевич Трапезников, хорошо знавшие и Париж, и Лондон, и Рим: «Ganz feine Herren»[13].

Большинство достопочтеннейших гейдельбергских обитателей интересовалось главным образом обещанным бургомистром грандиозным фейерверком и освещением замка. Ходили слухи, что по случаю конгресса, кроме замка, разноцветными бенгальскими огнями будут освещены все мосты на Неккаре и целый ряд других «исторических зданий».

Пароходное общество по этому случаю спешно украшало свой флот: красило лодки, заготовляло флажки и лампионы, законтрактовывало музыкантов. Все это

[13] Настоящие господа.

мне с волнением сообщала гражданская жена хромого барабанщика, сын которой готовился вместе со мною к докторскому экзамену. Студентки, ассистентки и дочери профессоров с нетерпением ожидали бала в только что заново отделанном зале «Музейного общества». Так, подобно неподвижной платоновской идее, все приводящей в движение, волновал философский конгресс умы, сердца и мечты прекраснодушного гейдельбергского населения, гордого своим университетом, в котором некогда читал сам Гегель.

Как далека, как бесконечно далека эта романтическая идиллия моей юности от жуткой романтики современной национал-социалистической Германии, силящейся насильственно вырвать из чрева «объективного духа» еще не вызревшую в нем «антитезу» Версаля и как через Ницше, любимца многих национал-социалистических вождей, все же тесно связана с нею. О типично романтическом характере воинствующей философии Ницше спорить не приходится. Из его писаний можно было бы с легкостью извлечь целый том цитат, по подбору слов и образов, по ритму фраз, по господствующей в них парадоксальности мысли, очень близких к изречениям Шлегеля, Тика и их философских соратников. Ницшевские «ночи и молчания», «чужбины и родины», «арфы и молоты», ницшевская тоска и ницшевская дифирамбичность – все это и по своему вкусу и по своей безвкусице настолько романтично, что читается ныне не без труда. И все же не подлежит сомнению, что Ницше своею защитою всесозидающей роли войны и военных добродетелей оказал не только на психологию Берлина, но и фашистского Рима почти такое же сильное влияние, как Маркс на идеологию большевизма. Двое из наиболее интересных учителей Муссолини, члены Великого фашистского

совета, социологи Парето и Сорель, прошли, по их собственному признанию, через очень сильное влияние Ницше.

Менее крепки, но все же очевидны связи национал-социализма и с классиками романтизма. Современно-немецкая теория «крови и почвы» так же связана с народнически-этнографическими писаниями Гердера, Гаманна и «отца гимнастов Яна», как идея тоталитарной государственности с религиозно-социальными учениями перешедшего в католичество Мюллера и полумистического социалиста Фихте. Странно сказать, но даже в писаниях такого набожного мистика и подлинного поэта, как Новалис, нередко встречаются места, звучащие прямыми предсказаниями совершающихся ныне процессов. Перечитывая его в 1936-м году, я долго думал над его своеобразным учением о короле-вожде, являющемся не патриархально-мудрым отцом своего народа, а его героическим сыном, и искренне смеялся над его оказавшеюся пророческою мыслью о превращении всех граждан в чиновников и о введении для них, а также и для «заслуженных домашних хозяек» особой формы. Вот тебе и романтически-мистическая вражда немцев ко всякой грани и форме в искусстве и мысли!

Не странно ли, что съехавшиеся в 1908-м году на конгресс философы, несмотря на революционные громы 1905-го года и на то, что до начала Великой войны оставалось всего только шесть лет, не испытывали ни малейшей тревоги за состояние мира.

Правда, в своем вступительном слове президент конгресса, Виндельбанд, горячо говорил об опасности борьбы «всех против всех», которую несут с собою популяризация знания и демократизация общества; но, анализируя эти опасности и оптимистически предсказывая возврат человечества к разумно-гуманитарным

идеалам 18-го века, он в гораздо большей степени волновался борьбою Сократа с софистами, о которой блестяще писал в своих «Прелюдиях», чем своей современностью. Социологическая незаинтересованность и политическая нечуткость почти всей неоидеалистической философии Германии были поистине потрясающими. Успокаиваясь на том, что Ницше – поэт и филолог, а Маркс – экономист и политик, маститые профессора философии или вообще не занимались этими мыслителями, или занимались ими в целях приспособления их идей к положениям научной философии, что по тем временам значило – к Канту. Зиммель остроумно доказывал, что античное учение Ницше о вечном возвращении может быть понято, как своеобразная трактовка категорического императива: «живи так, чтобы, в случае повторения жизни, ты не имел бы основания желать изменения пройденного тобою пути». Явно не чувствуя заложенных в марксизме разрушительных энергий, Форлендер близоруко подводил идеалистически-этический фундамент под материалистическое учение «Коммунистического манифеста».

Русская вольная философия, державшаяся в общем и целом мнения Н. А. Бердяева, что интерес к вопросам познания всегда развивается там, где утрачивается доступ к «бытию»; и потому, быть может, более чуткая к вопросам социальной и политической жизни, была, к сожалению, представлена на конгрессе не только случайными, мало интересными, но и весьма молчаливыми мыслителями. В прениях принимали участие лишь два странных самодума: блестящий эрудит Ительсон из, Берлина и дилетант Георгий Еллинек из Здолбунова, да три русских студента – минорнейший Минор, запальчивый Семипалов (бывают люди до смешного похожие на свои фамилии) и длинноволосый, высокий, худой, черный, как смоль, Борис Яковенко, защищавший

уже в 1908-м году свою систему «плюрализма» в том же стиле начетнического внедрения во все житейски-иллюзионистические прикрытия истины, которая и поныне составляет неизменную сущность его весьма ученых писаний.

В центре конгресса стояла горячая борьба англо-американского прагматизма с идеалистической традицией немецкой философии. Наследники Рима, но не Афин, враждебные созерцательной традиции в христианстве, пуритане-прагматисты приехали в цитадель идеалистической философии с целью навязать Европе возникшее в Америке убеждение что исповедание общеобязательной, вневременной истины есть верх логической непоследовательности и практической бессмыслицы. С явно антинаучным задором доказывали профессор Шиллер и его единомышленники, что не человек должен служить идее, а идея человеку, что задача философии не в том, чтобы строить воздушные замки, а в том, чтобы устраивать земные жилища, что истина тождественна пользе.

Я, как впрочем и все русские студенты-философы, был всею душою на стороне немцев, которым американский прагматизм представлялся' страшным варварством и грубым невежеством. Яковенко, несколько раз выступавший против прагматистов, своею полемическою энергией и святительскою внешностью неизменно вызывал большой интерес к своим критическим замечаниям. В основном и Яковенко и все другие противники прагматизма были бесспорно правы: выросший на перекрестке дарвинизма и марксизма прагматизм был, благодаря своему утилитарному отношению к высшим духовным ценностям, совершенно не в состоянии не только разрешить, но хотя бы только правильно поставить основной философский вопрос о природе истины. Тем не менее в его живом подходе к вопросам

устроения жизни для отвлеченной немецкой философии было много нового, а для русской, которую мы, русские, к стыду своему знали хуже немецкой, много своего, близкого. Перекликаясь и с Ницше и с Бергсоном, американский прагматизм стремился, в чем и была его главная заслуга, к замене схоластически-школьной философии живою и действенною, всеохватывающею философией целостного духа. Эта, в своей религиозной глубине русская, тема захватила меня много позднее – лишь на войне. Не скажу, чтобы немецкие пушки разбили во мне твердыни критической философии; они просто повернули душу к другим, более существенным вопросам. Легкость моего внутреннего отхода от Канта, освоение которого я, однако, и поныне продолжаю считать необходимым условием серьезного изучения философии, объясняется, конечно, чужеродностью его философии всему моему душевному и умственному строю. Боже, с какими муками усваивал я в свои первые семестры «Критику чистого разума». Ночи напролет бродя по горам Гейдельберга, смотрел я, бывало, на летящую сквозь облака луну, на переливающийся огнями сизо-туманный город подо мною, с его мостами и башнями, на возникающую в моем представлении за Гейдельбергом, Берлином и Варшавой, Москву (вот Георгиевский переулок, за обеденным столом сидят все наши) и никак не мог поверить, что весь этот с детства знакомый, устойчивый мир всего только содержание моего сознания, которому на самом деле или вообще ничего не соответствует, или нечто, о чем я не в силах составить себе ни малейшего представления.

Не знаю, как бы я осилил все эти трудности, если бы не внезапно возникшее во мне увлечение немецкой романтикой и мистикой. Новалис и Шлегель, Шеллинг и Баадер, Мейстер Эккехардт, Плотин и Рильке

не только помогли мне освободиться от гносеологической муки, но и подготовили мою встречу с русской философией. Во время работы над своею докторскою диссертацией о Соловьеве, за изучением Одоевского, Чаадаева, Хомякова и Киреевского я испытывал большую радость первой встречи наивно реалистического детского восприятия мира с положениями научной философии. Моя большая программная статья «Жизнь и творчество», опубликованная в 1913-м году в «Логосе», представляет собою первый набросок философской системы, пытающейся на почве кантовского критицизма научно защитить и оправдать явно навеянный романтиками и славянофилами религиозный идеал.

Я вернулся в Гейдельберг с похорон жены, погибшей за несколько недель до открытия конгресса. Говорить о своем, личном, не будучи защищенным объективирующей формою искусства, очень трудно; ведь читатель воспоминаний смотрит не в душу вымышленного героя, а в душу самого автора. Но все же не говорить о своем нельзя, так как я ясно отдаю себе отчет в том, что все понятия, в которых я мыслю мир и историю – вина, свобода, судьба – родились в глубинах моей личной жизни.

Немногое в своей жизни я помню так живо, как первую встречу с моею первой женою. Было начало летнего семестра 1904-го года. Догнавший меня на улице Бунзена Саша Поляков, не только талантливый певец, но и веселый дон Жуан, таинственно объявил: «Знаешь, в Зоологическом институте уже две недели как появилась новая курсистка, настоящая москвичка. Говорят изящная, под «знатную соотечественницу», но недотрога. Много знает, работает прекрасно, была на Высших курсах. К сожалению, партийная и, как все зоологи, – социал-демократка. Станчинский намекает, что у нее был какой-то сложный роман с известным

музыкантом. На этого музыканта вся моя надежда. Женщина, страдавшая под рояль, не может не расчувствоваться, когда я запою. Сегодня она обедает в «Континентале».

Мы только что разместились за «табль д'отом», как в дверях появилась «знатная соотечественница» в сопровождении двух зоологов. Впереди шел, похожий на бородатого гнома, коренастый Станчинский, позади – стройный полурумын Миракли, очень красивый юноша с большим костистым лбом и печальными, оленьими глазами. Оба товарища совсем не запросто, а с какою-то подчеркнутою почтительностью, подвели новую знакомую, очень милую девушку с общерусским, словно из-под кокошника, но индивидуально умным и нервным лицом, к хозяйке пансиона, фрау Капитэн, которая нарядною, высокогрудою массою пышно восседала на конце стола, и так же почтительно, как бы «шапронируя» высокопоставленную особу, подвели ее к ее месту. Опустившись на стул между своими кавалерами, Анна Александровна сразу же сосредоточила внимание своих обоих спутников на себе и тем разъединила их между собою.

Сидевшему рядом со мною Полякову весь этот «выход» (ученик Оленина любил выражаться театральным жаргоном) весьма не понравился. «Мое дело дрянь, – шепнул он мне, – я совсем забыл, что Миракли прекрасно играет на скрипке, а кроме того, у него имя поэтичнее: Аркадий Васильевич звучит гораздо лучше, чем Александр Васильевич; Аркадий – все равно что Аркадия: и лужок, и свирель. Имя героя очень важно для женщин, все равно, как ее духи для нас». Поляков считал себя большим знатоком в вопросах страсти и любил тонко и глубокомысленно порассуждать на «величайшую тему жизни». Интуиция не обманула Александра Васильевича: Анна Александровна сразу же невзлюбила

его. По-русски чистая, по-интеллигентски идейная и до неприязни ко всему мужскому роду стыдливая, она с почти бестактною резкостью отклонила поляковское ухаживание, сразу же почувствовав его опытно-профессиональную развязность.

Занятый своими переживаниями (приезд Анны Александровны в Гейдельберг совпал с моим возвращением из Пруссии) я долгое время почти не замечал нового члена русской колонии. К тому же Анна Александровна была естественницей и марксисткой, презиравшею философские отвлеченности, я же был горячим идеалистом и весьма равнодушным к естественным наукам антимарксистом. Ее новый зоологический институт находился у вокзала, мой старый университет – у собора. Она писала докторскую работу об инстинкте самосохранения у раков, я – об историософии Владимира Соловьева, основанной на идее самопожертвования. Все это отнюдь не способствовало нашему сближению. Мы по-товарищески встречались за «табль д'отом» и на читалкинских собраниях, изредка говорили о Москве и иногда обменивались политическими колкостями. Этих поверхностных встреч было, впрочем, вполне достаточно, чтобы видеть, с какою быстротою вырастала и крепла любовь между Анною Александровною и Аркадием Миракли. Через год они женихом и невестой поехали на русскую зоологическую станцию в Вилль-Франш заканчивать свои докторские работы.

С «жизнерадостно-благоуханной», «сине-солнечной» Ривьеры влюбленные слали своему другу Станчинскому, от души примирившемуся с победой приятеля в неравной любовной тяжбе, безгранично счастливые открытки и письма… Вдруг пришла непостижимая телеграмма: «Аркадий заболел тифом, приготовь комнату в больнице»…

Прошло две недели. На маленьком гейдельбергском вокзале собралось десятка два-три людей. Профессора,

ассистенты, студенты и служащие зоологического института пришли проводить гроб с останками своего ученика и товарища в сюртуках и цилиндрах; русские – в обычных летних костюмах. Анны Александровны не было. За несколько дней до смерти Аркадия она сама заболела тяжким нервным недугом. Врачи строго предписали пока что не говорить ей о смерти жениха.

По платформе растерянно метался, по-бабьи вспухший от слез волосатый восточного вида человек в широкополом сюртуке и форменной путейской фуражке. По тому, с какою восторженною благодарностью он пожимал руки профессорам и товарищам своего умершего сына, как перекладывал венки, выправляя надписи на лентах, было ясно, что он сейчас так же весь в смерти любимого первенца, как уже завтра будет вне ее: выплачется, умоется, переоденется и привычно отправится распоряжаться в бюро.

Поднявшись по устланным черным сукном доскам в обитый черным же сукном вагон, я в темноватой его глубине сразу же увидел приехавшую несколько дней тому назад из Вильны сестру покойного, Нину. В черном платье-подряснике, со слегка склоненною на бок, гладко причесанною головою, бледная, печальноокая, с иконописно удлиненным носом и освещенным панихидною свечою тонким ртом, вся отозванная в глубокое, созерцательное затишье, она показалась мне не живою женщиною, а ликом из византийской мозаики первых веков. Несмотря на это, она своим обликом напоминала своего весьма жизнерадостного, изящно-светского брата.

Священник не успел еще разоблачиться, а псаломщик собрать панихидные свечи, как по настоянию старика Миракли, хотевшего почему-то во что бы то ни стало присутствовать при пломбировании вагона, началась эта тяжелая, после возвышенной богослужебной

скорби, процедура превращения останков усопшего в скоропортящийся груз: станция назначения – Вильна. Но вот всё кончилось. Мы проводили отиравшего глаза и щеки громадным платком старика Миракли к его берлинскому поезду, свято обещали немедленно же заказать для зоологического института два больших портрета сына: один – в директорский кабинет,, другой – в лабораторию, и, помахав несколько раз платками, поспешили со Станчинским и Ниною к Анне Александровне, совещаясь о том, как и когда сообщить ей обо всем происшедшем.

Только что пробудившись от длительного обморока-сна, Анна Александровна сидела на краю постели и, жалуясь на непереносимые боли, умоляла сиделку поскорее сходить за давно уже ушедшим к морю Аркадием (очевидно ей казалось, что она находится в Вилль-Франш) и попросить его поскорее вернуться, чтобы вынуть из ее головы «эти страшные, длинные гвозди».

Всего только наскоро осведомленная Станчинским о загадочной, нервной болезни Анны Александровны, Нина ни на минуту не растерялась. С совершенно недоступною ни мне, ни Станчинскому простотою, подошла она к постели больной, выслала сестру в соседнюю комнату за Аркадием, сказала, что гвоздики маленькие, как булавки, так что она и сама может легко вынуть их, тут же показала незаметно выдернутую из своей кофточки булавку и, уговорив Анну Александровну попытаться еще раз заснуть, так тихо и спокойно, с такою внутреннею сосредоточенностью села у изголовья, положив руку на голову больной, что та через несколько минут заснула, но уже не больным, а целительным сном.

С этого вечера началось медленное возвращение Анны Александровны в жизнь. Сразу же вовлеченный Ниною в тайну врачевания и воскрешения души Анны Александровны, я, сам того не замечая, быстро выучился помогать ей в ее трудном деле.

Какими силами действовала Нина, я и поныне не умею сказать. Молиться она не умела, гипноз презирала, как всякое насилие, никаких наставительно-педагогических речей о необходимости жить и работать никогда не произносила и, тем не менее, она на моих глазах творила явное чудо. Изо дня в день встречаясь у постели Анны Александровны, мы с каждым днем все глубже и таинственнее сближались друг с другом…

Несмотря на то, что моя личная жизнь, пройдя через многие скорби, сложилась на редкость счастливо, меня временами все же волнует вопрос, что бы было, если бы, прощаясь со мною перед возвращением в Вильну за дверью Аниной комнаты, Нина смертным холодом своих рук и нездешнею печалью своих глаз не внушила бы мне, что нам с нею не спасти Ани, если я не заменю ей Аркадия…

Осенью 1906-го года, по пути из Гейдельберга в Москву, где должна была состояться наша свадьба, мы с Аней провели несколько дней у Нины в Вильне.

Аня каждый день одна ходила на могилу Аркадия. Ожидая ее, мы с Ниною подолгу бродили по запущенному саду, в котором стоял ее ветхий домик. Говорили мы исключительно об Ане и Аркадии, но молчали, быть может, и о своем; о том, что «Зачалось и быть могло, но стать не возмогло».

Несмотря на горькую Анину тоску по Аркадию и на наши с Ниной немые беседы, никто из нас не испытывал ни малейшего смущения совести. Накануне свадьбы между нами тремя странным образом все было ясно и чисто.

Войдя в Анину семью, я встретился с совершенно чуждым мне миром. Несуразно высившийся среди маленьких домишек декадентский Оловянниковский дом выходил на грязноватую Самотечную площадь, как раз

против второразрядного ресторана «Волна». В первом этаже помещалась старозаветная Оловянниковская торговля экипажами и москательным товаром.

Во втором – квартира хозяев. В третьем – какая-то неуместная на Самотеке Художественная фотография.

Внутреннее убранство квартиры было на добрых четверть века старше «стиля» недавно отстроенного дома с огромными, затейливо изогнутыми оконными рамами. Направо от передней находились две громадные комнаты, в которые редко кто заглядывал: темный кабинет хозяина, обставленный громоздкою, дубовою мебелью и холодноватая, неуютная гостиная: наискось поставленный концертный рояль, высокие, простеночные зеркала и трафаретный плюшевый «гарнитур». Когда я в сумеречный час впервые вошел в эту, явно излишнюю в ежедневном обиходе комнату, у меня по спине невольно пробежала дрожь и промелькнула мысль, что нужною эта комната может стать только в случае смерти кого-нибудь из членов семьи.

Жилая часть квартиры – узкая, длинная столовая и спальни на девять человек, выходила на двор. Мебель тут была неказистая, скопидомная, но за долгую жизнь прочно обжитая и потому все же более уютная. Оловянниковский дом явно носил следы легкого в России тех времен обогащения и часто связанной с ним безвкусицы.

Хотя я по фотографиям и Аниным рассказам и имел некоторое представление о ее родителях, они при первой встрече все же весьма поразили меня. Культурный и бытовой разрыв между ними и дочерью был так велик, что они как были, так и остались для меня совершенно чужими людьми. В особенности типичен был отец. В длинном, узком сюртуке, с черною тесемкою вместо галстука, он показался мне классическим европеизированным купцом эпохи Островского.

С чужими тихий и молчаливый, он в семье был настоящим деспотом. Направляясь из передней в столовую, он уже в коридоре хлопал в ладоши. При пятом хлопке тарелка супа с мясом, без которого он не признавал обеда, должна была стоять на своем месте. Во время обеда он нетерпеливо обегал глазами стол, требуя, чтобы младшие дети без слов угадывали его желания: не дай Бог было подать соль вместо перца или горчицы. Летом, когда семья жила на даче, богатей Оловянников с удовольствием обедал в грязноватой «Волне», хотя до первоклассного «Эрмитажа» было рукой подать. Часов в пять он почти ежедневно выезжал на дачу в Медведково в легком шарабанчике, запряженном тяжелым орловцем.

Мать Ани, бывшая не многим моложе своего мужа, представляла собою несколько другой тип: в ней уже чувствовалась интеллигентская прививка. Была ли интеллигентность Екатерины Петровны ее личною чертою, или только отсветом ее просвещенного брата, довольно известного в Москве преподавателя и социалдемократа, я сказать не берусь, думаю, что скорее последнее…

По моим наблюдениям, в конце 19-го века и еще более в начале 20-го в каждой русской семье, не исключая и царской, обязательно имелся какой-нибудь более или менее радикальный родственник, свой собственный домашний революционер. В консервативно-дворянских семьях эти революционеры бывали обыкновенно либералами, в интеллигентски-либеральных – социалистами, в рабочих – после 1905-го года иной раз и большевиками. Нельзя сказать, чтобы все эти тайные революционеры были бы людьми идеи и жертвы. Очень большой процент составляли снесенные радикальными ветрами влево талантливые неудачники, амбициозные бездельники, самообольщенные говоруны

и мечтательные женолюбы. (Левая фраза тогда очень действовала на русских женщин). Роль такого родственника в семье Оловянниковых; играл вышеупомянутый брат Екатерины Петровны.

Сергей Петрович не был бездельником, но и он был блестящим говоруном и, несмотря на многодетную семью, большим донжуаном. Под его влиянием, его собственные многочисленные дети, как и дети его сестры, поступая в университет, или на Высшие женские курсы, само собою вступали и в партию.

Уже по письмам, которые Аня получала от своих братьев и друзей, мне было ясно, что ее сближение с «идеалистом» было им, революционерам, не только малопонятно, но даже неприятно. В их письмах невинный для меня термин «идеалист» звучал так же непримиримо, как полуругательство «жид» в устах дворян-антисемитов.

Наиболее враждебно встретил меня младший брат Ани Иван, участник того «мокрого» дела (так, пользуясь уголовным жаргоном, называл террористические акты старший брат Ани, опора дела и набожный черносотенец Михаил), во главе которого стояли погибшие впоследствии братья Добролюбовы.

Худой, жилистый юноша, невысокого роста, заряженный террористической идеей, словно револьвер пулею, Иван в первое время нашего знакомства сознательно не разрешал себе общения со мною. Входя в комнату своею странною походкой (шмыгающие ступни и согнутые колени), он сразу же отходил в дальний угол, откуда, не принимая участия в разговорах, бросал на меня лихорадочные взоры своих глубокосидящих в скуластом лице глаз. Иногда он приводил с собою гимназического товарища, конечно, тоже партийца, сильно окающего крестьянина с Сенежского озера. Крестьянин этот был на редкость красивый юноша-богатырь;

в выражении правильного лица, озаренного задумчиво скорбными глазами и всегда бледного от темных, длинных волос, было нечто иночески-богатырское. С приятеля Ивана Оловянникова Виктор Васнецов мог бы написать прекрасный образ Георгия Победоносца.

Кроме черносотенного Михаила, которого Аня ненавидела, и младшего Ивана, с которым ей бывало часто как-то не по себе, у нее был еще третий, любимый брат Павел, студент юридического факультета, большая умница и талантливый партийный оратор. По приезде в Москву мы застали Павла в Бутырской тюрьме. Однажды, во время передачи, Аня познакомила меня с его невестой, Наташей Никитиной, и ее братом Андреем. Никитин, как и братья Оловянниковы, был социалистом, но каким-то особенным. В Андрее все (изящная, какая-то поникшая фигура, девичья белизна кожи, легкое золото летучих волос, блуждающая в светлых, северно-синих глазах пленительная улыбка) дышало нежностью, хрупкостью и застенчивостью. Глядя на Андрея Никитина, я не сомневался в том, что, не болей вся Россия революционною горячкою, он никогда не оказался бы в партии. Для революционной борьбы он не располагал ничем, кроме, быть может, искреннего сочувствия к «униженным и оскорбленным», играющего в революциях, как выяснилось, самую последнюю роль.

Приготовления к свадьбе нас с Аней мало занимали. Мы венчались по просьбе ее родителей и ради устранения формальных неудобств совместной жизни не в городе. Пожизненной верности мы друг другу не обещали; не по легкомыслию или испорченности, а по крайней честности. Я был радикальнее Ани и любил повторять, что вопрос о природе нашей любви – брак, или не брак – разрешится для нас только на смертном одре. Ясно, что при таком отношении к перемене

в нашей жизни, очень важные для Аниных родителей вопросы приданого, обзаведения и средств к существованию, нас вообще не интересовали.

Наше предсвадебное время мы проводили в театрах, музеях и в бесконечных миросозерцательных и политических разговорах. «Товарищи» – как Анины родные, так и ее знакомые – стаями перелетавшие из квартиры в квартиру, прилагали все усилия, чтобы разбить и развенчать меня. Чувствуя мою силу в философии и диалектике, они переводили наши споры в сферу программных и тактических вопросов революционной политики. Я, конечно, не сдавался и, не входя в «неинтересные» детали, упорно «бил» по их несостоятельным философским предпосылкам. Бой был не равен: я сражался один – один в поле не воин – они же чувствовали себя призванными глашатаями идущей к победе революционной России. «Сплоченной дружиной» гребли они «против течения», я же, стоя на перекидном мосту своей философии, всего только созерцал борьбу революции и реакции, в моем понимании, борьбу двух неправд. Твердо уверенный в своей правде и в своих силах, я не только не страдал от своего одиночества, но даже гордился им. Зато сильно страдала за меня Аня. Сердцем поддерживая меня, она волей и сознанием была все же на стороне моих противников.

На следующий день после венчания в старинной подмосковной церкви и грустного празднования этого события в родительском доме (моя ранняя женитьба совершенно сразила мою мать, болезненно привязанную к своему первенцу), мы с Аней отправились обратно в Гейдельберг, где идиллически устроились в миниатюрной – в две с половиною комнаты – квартире. Наш «Гартенхауз», в нижнем этаже которого был сарай, где хранились лопаты, грабли, метлы и всяческая домашняя утварь, представлял собою нечто вроде

стеклянного скворечника во фруктовом саду. Жили мы, конечно, по-студенчески: обедали в ресторане, ужинали же у себя дома. К ужину – чай с бутербродами – обыкновенно приходили наши приятели. Работали мы много и со страстью, но каждый про себя. Женитьба не пробудила во мне естественнонаучных интересов; Анины же философские искания она скорее притупила. Защищать свой «диалектический материализм» против моего кантианства ей было не под силу. Перехода же на мои идеалистические позиции она страшилась, как углубления своей измены Аркадию, с которым она и после свадьбы продолжала быть глубоко связанной.

Когда кончился зимний семестр и наступила весна, Аня решила ехать в Вилль-Франш, дописывать начатую там докторскую работу. Несмотря на мою боязнь, что на Ривьере она попадет во власть своих тяжелых воспоминаний и снова заболеет, я сразу же согласился. Не согласиться мешала мысль, как бы Аня не заподозрила меня в ревности, которую считала недопустимым унижением любви. Как типичная русская интеллигентка, она и в личной жизни отстаивала ту гуманитарно-либеральную свободу, что и в своей политической борьбе.

От дороги в Вилль-Франш в памяти осталось только несколько отдельных картин. Нелепые золотые колонны и мраморные стены сизого от табачного дыма и до отказа набитого шумными людьми модного мюнхенского кафе сразу же сменяются окном тишайшего отеля над синеющими сквозь утренний туман водами Фирвальдштедского озера. Мы медленно идем по знаменитой Аксенштрассе. Еще не вполне успокоившаяся после бурной ночи сине-зеленая поверхность озера все величественнее и шире развертывается под нами; снежные горы все отчетливее и торжественнее вычерчиваются во влажном, весеннем небе. Аня все тревожнее и нервнее

сжимает мою руку. Я чувствую, что она думает об Аркадии, с которым два года тому назад впервые шла этою же дорогою. В ее испуганных глазах, в пробегающей по милому лицу волнующей меня судороге немая мольба понять и простить ее. Каким-то перенятым от Нины волевым жестом я сразу как бы заговариваю ее уже снова кровоточащую рану, так что мы, хоть и с запозданием, благополучно, т. е. без припадка, возвращаемся в гостиницу. Портье уже выносит наши чемоданы на вокзал.

В окне почти пустого вагона поезда, несущегося к Симплонскому туннелю, легко, словно кулисы на колесиках, уходят вдаль тяжелые, горные массивы. Аня, боясь, как бы горы не обрушились на ее голову, лежит в купе с задернутым желтою шторкою окном. Я молча сижу у ее ног в надежде, что утомленная утренней прогулкой, она, в конце концов, забудется сном.

Вот и Милан. Простояв с четверть часа с закинутыми вверх головами перед готическим лесом беломраморного собора и пробежавшись (мы уже в Генуе) по Кампо-Санто, с его не понравившимися нам театрально-риторическими памятниками, мы незабвенно прекрасным, солнечным утром трогаемся из Ментоны в Вилль-Франш, к себе, как охотно подчеркивает Аня.

Аня в прекрасном, светлом настроении. Уже не прячется в купе, а стоит почти все время у открытого окна, в котором, маня и играя, то первозданно яркими, то приглушенно-нежными красками, летит какая-то фантастическая, древняя, как Одиссея, и одновременно современная, как всемирная выставка, страна. Прерываемые туннельными темнотами, летят заросшие белыми и лиловыми глициниями мраморные виллы, охраняющие их входы стройные, темно-зеленые кипарисы, эстрадно-театральные на мой северный взгляд пальмы, иглистые, в ржавых пятнах агавы, серебристо-лунные

оливы, терракотовые полосы земли на еще античных каменных террасах и то удаляющаяся, то приближающаяся синева южного моря с медленно скользящими в ней красными и белыми парусами…

Не найдя в гостиницах и пансионах подходящих комнат, мы поселились в здании зоологической станции, служившем в средние века тюрьмою, в громадной, почти пустой комнате, без жалюзи и занавесок, с каменным полом и тяжелым ржавым кольцом в нем. Напившись утром чаю у доходящего до самого пола окна, в которое струился солоноватый морской воздух, мы сразу же расходились по своим рабочим углам: Аня в лабораторию, я – в сад, читать. Полуденный сигнал горной батареи альпийских стрелков, мелодичный и печальный, совсем иной, чем наш Клементьевский, напоминал нам об обеде. Обедали мы в маленьком отеле «Универ», небольшой русской компанией, среди которой меловою бледностью лица и фанатическим блеском черных глаз обращал на себя внимание, одетый в черную куртку полувоенного покроя поляк Мицкевич – убежденный социалист и пламенный патриот.

Мицкевич познакомил нас со своею соотечественницей и единомышленницей, женою известного в то время парижского хирурга. Мадам М. была большою поклонницею Владимира Соловьева, с которым некогда занималась французским языком. Знаменитый философ владел им хорошо, но для парижского уха не в совершенстве. То, что я писал диссертацию об этом искреннем защитнике католичества и польского народа, невольно сближало меня с польской патриоткой.

Во всем строго принципиальный, Мицкевич в Монте-Карло не ездил, мы же втроем частенько посещали знаменитое казино. Аня и мадам М. теряли за зеленым столом всякое самообладание: обеих во время вращения рулетки охватывала самая настоящая игорная лихорадка.

Меня, ко всеобщему удивлению, рулетка совершенно не волновала. Я скромно играл, ставя на «руж» и «нуар», откладывая с аккуратностью местных жителей в неприкосновенный фонд половину каждого выигрыша. Мне везло: на наши небольшие с Анею деньги я выиграл себе на летний костюм и на обратную дорогу в Гейдельберг. На деньги же мадам выиграл ей по своей системе довольно приличную сумму, несколько тысяч франков.

Несравненно больше рулетки захватило меня само Монте-Карло, этот взращенный грехопадением райский сад, с его в то время еще головокружительной жизнью. Больше всего любили мы с Аней рассматривать съезжающуюся на крупную ночную игру публику. Парные экипажи один за другим бесшумно подкатывали к ослепительно освещенному подъезду казино; из них, волнуя сердце нежною отравою тончайших духов, с балетною легкостью выпархивали какие-то совершенно фантастические для моего юношеского глаза красавицы. Слегка касаясь услужливо поданных рук своих изящных кавалеров во фраках, они, сияя драгоценными камнями, манящими улыбками и загадочными взорами, одна пленительней другой, быстро проскальзывали мимо нас в наркотически влекущие их, аляповато раззолоченные, зеркальные залы…

За отсутствием у меня фрака, вход в казино на вечернюю игру был нам заказан. Это нас мало печалило. Зато очень прискорбно было узнать, что по той же причине нам не попасть ни на один из спектаклей с участием Шаляпина. Помню, с каким новым в себе чувством протеста и раздражения смотрел я на разряженную публику, непрерывным потоком спешившую в театр. Выпив в «Кафе де Пари» по чашке кофе, мы сели в убогий трамвай, напоминавший своею медлитель-

ностью московскую конку, и в горьком чувстве своего социального отщепенства поплелись в свою средневековую тюрьму.

Вернувшись в Гейдельберг, мы прослушали летний семестр, а к осени поехали в Москву, так как для окончания докторской работы мне была необходима Румянцевская библиотека.

Сняв две большие комнаты, повесив над диваном в кабинете большой портрет Соловьева, который, чудом вывезенный из Советской России, и сейчас висит в моей комнате, и купив большой самовар, мы, в радостном сознании начинающейся для нас новой взрослой жизни, сообщили друзьям и знакомым, что по средам мы дома и будем рады видеть их у себя. Наши «журфиксы» пришлись всем по сердцу. В первую же среду набралось много народа и сразу же закипел нескончаемый разговор на всевозможные темы. Иногда я устраивал литературные вечера. Как-то читал «Снежные маски» Блока, которым очень увлекался. Аня, так же как и ее друзья, не разделяла моего увлечения символистами. «Товарищи» хором протестовали против «модернистических вывертов». Всяческая «мистическая невнятица», доказывали они мне, есть всегда порождение социально-политической мути. Символическое искусство подымает свою голову лишь потому, что сорвалась социальная революция. Когда революции начинают сдавать, реакционная гниль начинает фосфоресцировать.

Я отбивался не только со страстью, но, каюсь, и с запальчивостью, цитировал христианских социалистов, спрашивал, в чем же реакционность Франциска Ассизского, доказывал, что христианский социализм Соловьева не реакционен, но прогрессивен, что марксистский подход к Блоку и Рильке нелеп, но ничего не помогало. В головах моих оппонентов все мои

теоретические аргументы сразу же превращались в психологические симптомы буржуазно-феодальной структуры моего сознания. Спор шумел, но топтался на месте. Видя, что мне ни мистикой, ни критицизмом не отстоять своих позиций, я переходил в наступление: принимался доказывать своим оппонентам, что они потому с такою простотою решают все вопросы, что привыкли к очень упрощенному пониманию марксизма, представляющему собою на самом деле весьма сложный вариант глубокомысленнейшего учения Гегеля. Моим тогдашним коньком было сопоставление первого тома «Капитала» с третьим. Тут у меня были интересные мысли, подсказанные мне во время семинарских дискуссий профессором Ласком. Но и этот козырь мои оппоненты, не вдаваясь в глубину проблематики, крыли простым указанием на то, что пролетариат воспитывается на «Коммунистическом манифесте» и на упрощенном изложении первого тома «Капитала»; сравнение же первого тома с третьим и установление между ними сложной, диалектической связи может интересовать лишь таких аполитичных академиков, как я. Моя диалектика – та же мистика, только головная; праздная игра ума, быть может, нужная для науки, но вредная для жизни.

Когда теоретический спор окончательно запутывался, подавали самовар и начиналось чаепитие. За столом разговоры естественно принимали более примирительный характер. Так как среди Аниных друзей был знаменитый в будущем скульптор и его брат, впоследствии актер, то разговоры часто переходили на темы искусства и театра. За самоваром Аню, в которой не было ничего от Гончаровской Марфиньки и ее евангельского прообраза, иногда заменяла Людмила. Ей было трудно приходить к нам, но мы ее упорно звали

и она, превозмогая свою боль, все же приходила по совершенно той же причине, по которой и я охотно согласился на Анино предложение провести каникулы на Ривьере. Интеллигентское понимание любви не допускало ревности. Своими прекрасными итальянскими глазами она иной раз подолгу смотрела на портрет Соловьева, «Смысл любви» которого мы с ней когда-то с восторгом читали. Жалела ли она в эти минуты о том, что, приехав спасать меня от «отвлеченной чувственности», она не нашла в себе сил отказаться от «отвлеченной духовности», я и поныне не знаю. Гордая, благородная и замкнутая, она и после моей женитьбы много и охотно говорила со мною о нашем полудетском прошлом, но настоящего не касалась, боясь, вероятно, хотя бы мимоходом упрекнуть меня за мою измену.

Иногда, вместе со своим женихом, Павлом Оловянниковым, приходила его невеста, Наташа Никитина. Тихая и безмолвная, она поначалу оставалась в тени. Но как-то, поймав на себе во время спора с Павлом ее внимательный и как бы удивленный моею ненужною горячностью взор, я внезапно почувствовал все своеобразное очарование ее образа. Было в ней нечто цветуще-возрожденское и одновременно нечто модернистически-изысканное. Смотря на нее, можно было легко представить себе, какою она была девочкою. И стилистически и психологически в ней было много глубины и дали. Небольшая, круглая головка была отягчена крупными локонами, под крылатыми бровями молчали кроткие, пристальные глаза. Не тонкому наблюдателю ее очень своеобразные движения рук могли бы показаться теми искусственно-хореографическими жестами, которыми в те годы в Москве и сознательно и бессознательно грешили почитательницы божественной босоножки Айседоры Дункан, на самом же деле они были прирождены и просты. Наташа Никитина

училась на историко-философском отделении Высших женских курсов. Очень любя музыку, которой обучалась с детства, она после Гофмановских концертов начала было ею совсем серьезно заниматься, но вскоре бросила по идейно-аскетическим соображениям; решив, что сейчас не время жить для себя, она, выбрав себе самую неказистую партийную кличку, жертвенно пошла все по тому же, ей лично чуждому пути, по которому шла почти вся интеллигенция. Помню, как ближе познакомившись со своею будущею «belle soeur», я обратился к ней с вопросом, почему она, вопреки своей внешности, наперекор своим дарованиям и своей любви к родителям, принадлежавшим к тому классу, который революция хочет уничтожить, поступила в партию, но не мог добиться от нее никакого иного ответа, кроме совсем короткого: «судьба».

Кажется, в новой истории не было эпохи, в которой дух времени с такою безапелляционною силою побеждал бы все субъективные наклонности людей, как то имело место в русской интеллигентской среде в конце 19-го и в начале 20-го веков. Очевидно идеалисты 30-х годов не даром до дыр зачитывали «Логику» Гегеля.

Московские дни летели быстрее гейдельбергских. Незаметно подошел март. Последняя «среда» была особенно оживленной и интересной. Прощаясь друг с другом до осени, никто из нас не чаял, что Аня через три месяца будет отозвана из жизни, а Наташа Никитина разойдется с Павлом Оловянниковым и через три года станет моею женою.

После долгих размышлений мы с Аней решили, что самым правильным будет, если я поеду в Гейдельберг один, чтобы как можно быстрее сдать экзамен, она же на это время поедет погостить к сестрам Миракли на дачу под Ковно. Так мы и сделали. Аня почти ежедневно писала мне в Гейдельберг. Ее письма были на редкость светлы и спокойны. И вдруг телеграмма – скончалась…

Приехав в Ковно, я узнал, что Аня утонула, пытаясь спасти купавшегося в Немане и попавшего в стремнину младшего брата Аркадия. Тела обоих погибших были перевезены в Вильну и похоронены рядом с Аркадием. Как непостижимо страшно, что десятилетний Вася должен был погибнуть, чтобы вернуть брату его невесту.

Внезапно обрушившаяся на меня смерть жены перевернула всю мою, как мне тогда по молодости лет казалось, лишь от меня зависящую жизнь. В трагичности внезапной Аниной смерти я не мог не услышать осуждения свыше того доброго дела, каким мне представлялась моя женитьба. Лишь после долгих испытаний своей совести, я понял, что вина моя перед Аней в том, что я влюбился в нее и женился на ней как бы под Нининым гипнозом. Каким образом во мне, скорее излишне самостоятельном, чем слабовольном человеке, возник мой тогдашний восторг послушания, мне и сейчас остается непонятным; то, что он был своеобразным преломлением моей страстной, но мне тогда не внятной влюбленности в Нину, я понял лишь в долгих мучительных исканиях смысла Аниной смерти. Отвлеченные соображения, что ведь и Аня полюбила меня как своего врача и исповедника в каком-то сложном слиянии с умершим Аркадием, не облегчали сердца. Днем еще можно было жить, но по ночам, под шум дождя по крыше Нининого домика (после похорон я неделю прожил в Вильне) в душе поднималась ничем не погашаемая безысходная тоска. Страшнее всего было то, что чувство своей вины перед умершей нерасторжимо сплеталось с зачарованностью скорбным образом Нины, с отсветом панихидной свечи на губах и в немых, никому не молящихся, и все же нездешних глазах. Хотелось только одного – остаться в Вильне, но этого сделать было нельзя: внутренний голос непререкаемо твердил, что освободившийся Аниною смертью

путь к Нине открылся как навсегда запретный путь. Чувствуя, что со мною происходит что-то неблагополучное и страшное, я не был в силах понять, что же собственно во мне творится. В душе развертывалась жуткая мистерия, в которой Бог и чёрт, борясь за мою несчастную душу, таинственно меняли свои трагедийные маски.

Отправляясь из Москвы в Гейдельберг со вполне законченною работою, я рассчитывал сдать экзамен в 6-8 недель. Анина смерть изменила все перспективы и все ритмы моей жизни. Я сдал его лишь летом 1910-го года.

С благодарностью вспоминаю друзей, помогших мне дойти до этого внешнего рубикона жизни, прежде всего доктора Мелиса, ради которого я и переехал из полюбившегося Гейдельберга в чужой поначалу Фрейбург.

Мелис, с которым мы сблизились уже с первого семестра, с тревогой наблюдал мой роман в стиле Достоевского с Аней и был в отчаянии от моей женитьбы на двадцать третьем году жизни. Зная за мной способность с головой уходить в нахлынувшее на меня чувство, он, очевидно, боялся, что, овдовев, я вообще откажусь от мысли об окончании университета и решил во что бы то ни стало этому воспрепятствовать. Вначале он был очень осторожен; разговоров об экзамене не поднимал: просто заходил проведать в сумеречный час, развлечь разговором, или увести с собою в уютный винный ресторанчик, где к нам присоединялся Михаил Иванович Катарджи, тоже переехавший во Фрейбург. Целительнее этих встреч были длинные прогулки по лесам Шварцвальда, издали как будто бы дремучим, на самом же деле расчищенным, как парк, с пронумерованными просеками.

Правильно угадывая мое настроение, Мелис стал все чаще приносить мне распространенные в то время томики Дидериховских изданий мистиков. Больше всего мы читали с ним Плотина, Мейстера Эккехардта и Райнера Мариа Рильке, поэзией которого он сильно увлекался. В связи с этим чтением и разговорами о прочитанном я написал две напечатанные впоследствии по-немецки и по-русски статьи: одну о трагедии творчества у Фридриха Шлегеля, другую о трагедии мистического сознания Р. М. Рильке. В характеристику Каролины Шлегель я смело вставил несколько строк из письма Нины Миракли, в котором она писала о себе самой. Это типично романтическое отождествление жизни и творчества никем из моих друзей не было замечено, хотя между Каролиной и Ниной не было решительно ничего общего.

Решив, что я достаточно окреп душою и нервами, чтобы засесть за серьезную работу, Мелис предложил начать со мною подготовку к экзамену. Зная свою неспособность ко всякого рода зубрежке, я с благодарностью принял его предложение. В продолжение по крайней мере трех месяцев Мелис изо дня в день ровно в семь утра входил в мою комнату с неизменною сигарою в нервной, бесплотно-костистой, как рентгеновский снимок, руке. Сняв котелок и тяжелое драповое пальто, он тушил электричество, находя, что у окна достаточно светло, и, не теряя времени, вынимал свои толстые, клеенчатые тетради, в которых находилась вся необходимая для экзамена премудрость. Я покорно отдавался его педагогической воле и, подавляя в себе философскую любознательность, старался как можно проще и нагляднее разложить в своей голове не слишком богатые результаты тысячелетних раздумий человечества над основами мира и жизни. Занятия шли хорошо. Мы подвигались быстро. Мелис был счастлив.

Но вот на нашем пути появилось неожиданное и, как ему казалось, весьма опасное препятствие: из Парижа пришло письмо с известием, что во Фрейбург едет, рассчитывая с месяц погостить у меня, младший брат Ани Иван. Мелис долго уговаривал меня написать ему, что у меня перед экзаменом нет ни времени, ни лишних сил для свидания. Сколько я ни доказывал милому Георгу всей невозможности последовать его совету, он настаивал на своем, считая сдачу докторского экзамена моим прямым долгом, а потакание Ивановым планам вредною сентиментальностью.

Вид Ивана, с которым он познакомился, зайдя ко мне как-то под вечер вместе с холеным и проодеколоненным Катарджи, окончательно убедил его в том, что этому молодому человеку было бы лучше оставаться в Париже. Замученный революцией, высылкой, бегством, расстрелами друзей, безденежьем и ранней, нищей женитьбой, Иван, действительно, являл собою странный и не внушавший европейскому глазу никакого доверия вид. Одет он был в какой-то синий костюм, напоминавший форму альпийского стрелка, на ногах были гамаши на пуговицах. Бледное, почти безусое лицо неряшливо обрамляла, очевидно, конспиративная бородка. Глаза лихорадочно горели, по скулам часто пробегала нервная судорога. Будучи сам сыном богатого купца-промышленника, Иван с истинно пролетарской ненавистью смотрел на темною ниткой простроченные светлые перчатки в холеной руке Михаила Ивановича и, не зная немецкого языка, злобно косился на Мелиса. Мелис же, приветствовавший в качестве поклонника Руссо, с искренним, но, конечно, отвлеченным восторгом манифест 17-го октября, ушел, как мне показалось, не без опасения, как бы со мною не приключилось чего недоброго.

Вспоминая мелисовскую заботу обо мне, не могу попутно не вспомнить рассказа Горького, снимавшего летом 1923-го года целый бельэтаж в богатой вилле известного во Фрейбурге доктора. Доктор этот был большим поклонником таланта Алексея Максимовича, но все же побаивался своего знаменитого квартиранта-большевика, а потому на ночь оставлял у порога своей спальни огромную злую овчарку. Если этот рассказ даже и прикрашен Горьким, он по существу точен и правдив.

Ни в чем не сходясь друг с другом, мы все же прожили с Иваном несколько приятных для нас обоих недель. Относясь отрицательно к конспиративно-террористической деятельности Аниного брата, я в известном смысле все же не мог не преклоняться перед целостностью его воли и той жертвенностью, с которою он строил, вернее уродовал свою жизнь. У Ивана было несколько трогательных привычек, оставшихся, вероятно, от тюремной жизни. Он ловко брился одним только клинком безопасной бритвы. Никогда не смывал оставшегося на бритвенной кисти мыла – берег пену на следующий день, а сапоги и платье чистил сам, считая недопустимым утруждать этой работой горничную.

В предыдущей главе я уже упоминал о «Логосе». В основу этого журнала, русское и немецкое издания которого начали выходить в Москве и Тюбингене в 1910-м году, легли, идеи и чаяния, давно волновавшие наше гейдельбергское философское содружество (Кронер, Мелис, Бубнов, Гессен и я). Первым словом этого содружества был небольшой сборник под заглавием «Vom Messians. Kultur – philosophische Essays»[14], вышедший в известном лейпцигском издательстве.

[14] «О Мессии», Культурно-философские очерки.

О борьбе «Логоса» за представлявшийся ему образ русской философии и об оказанном ему сопротивлении со стороны славянофильски-православной мысли речь еще впереди. Сейчас только несколько слов о наших тогдашних волнениях. Обсуждались наши идеи и замыслы долго и горячо. Сборник «О Мессии» писался с вдохновением, почти с восторгом, в убеждении, что из скромного начала выйдет настоящее дело. Больше всех волновался пожалуй Сережа Гессен, сын известного «кадета», эмигрировавший впоследствии заграницу и составивший себе в Европе, в особенности в славянских странах, крупное имя своими философски-педагогическими трудами. Приходя на наши собрания, он не то в шутку, не то всерьез, приветствовал нас вариантом знаменитой революционной фразы: «философия объявлена в опасности, мы заседаем непрерывно». И действительно, заседали мы, подготовляя сборник и журнал, чуть ли не целыми днями. Виндельбанд, к которому мы после подписания контракта с издателем Зибеком обратились с просьбою о сотрудничестве, отнесся к нам отечески сочувственно, но своего философского благословения в сущности не дал. Уже раньше, когда я принес ему наш сборник «О Мессии» и вкратце рассказал о наших дальнейших замыслах, он вскинул на меня свои сверляще-умные глаза и улыбнувшись своею очаровательною улыбкою, саркастически произнес: «Sie haben ihr Heftchen “Vom Messias” gennant, jetzt wollen sie die Zeitschrift “Logos” betiteln, passen sie auf, sie landen doch beiden Schwarzen»[15]

Виндельбанд конечно шутил, но в его шутке было все же некоторое опасение, что мы, его ученики, изменим идеям критического кантианства и, незаметно

[15] «Вы дали вашей тетрадочке название “О Мессии”, теперь же вы хотите озаглавить ваш журнал “Логосом”. Будьте осторожны, вы еще причалите у монахов».

для себя самих, причалим к католическому берегу романтики. Если не считать простою случайностью, что из пяти участников нашего сборника, только один не изменил заветам критицизма, то Виндельбанду нельзя будет отказать в большой проницательности. Кронера привели к живому христианству длительные занятия Гегелем и страшный опыт Вердена. Мелис, бросивший в своей молодости ради философии офицерскую карьеру, отрекся в 1923-м году и от академической философии. Написав ряд книг, посвященных романтике и мистике, он, с ранних лет тяготевший к южному морю и эстетике католицизма, покинул Германию и поселился на итальянской Ривьере. В каких он сейчас настроениях – не знаю. Говорят, что он написал две книги о Муссолини и склоняется к заигрывающему с католицизмом крылу фашизма.

Что касается трех русских участников нашего Сборника, то на приблизительно старых позициях остался только Николай Николаевич Бубнов, не вернувшийся по окончании университета в Россию и благополучно профессорствующий ныне в Гейдельбергском университете; я же, и в несколько меньшей степени Гессен, во многом весьма существенно приблизились к своим бывшим московским противникам. Дружное сотрудничество основателей «Логоса» с идейными руководителями славянофильского «Пути» на страницах парижского «Нового града» является лучшим доказательством состоявшегося сближения, предопределенного всем строем тех мессианских чаяний, которыми были нам внушены статьи нашего сборника. Ни о христианстве, ни тем более о православии в нем не было и речи, но в нем определенно звучало то в основе романтически-славянофильское отрицание александрийски-эклектической культуры 19-го века, которое неизбежно ведет к занятию религиозных, а в последовательном развитии и христианских позиций в историософии.

Над всеми статьями весьма юного сборника веял дух Новалиса, Фридриха Шлегеля и еще не читавшего Отцов церкви Киреевского. Во всех статьях шла речь о философе-пророке, о новой животворящей идее, об избранном народе-водителе. Ожидая явления «Нового слова», мы однако твердо отмежевывались от философии Ницше, столь привлекательной для многих мыслителей начала 20-го века. Вслед за автором передовой статьи Кронером мы все отказывались видеть в Ницше подлинного «божьего посланника» на том основании, что он проповедовал не «евангелие любви», а «евангелие силы», и твердо заявляли, что мы жаждем не «скрижалей новых ценностей», а «нового первосвященника ценностей древних и вечных». Если ко всему этому прибавить еще соображения передовой статьи, что России в сборнике отведено особое место на том основании, что в ней пророческая тоска о новой правде звучит сильнее, чем на Западе, то нельзя задним числом не подивиться той, подчас враждебной страстности, с которою в Москве, накануне Великой войны, воевали друг с другом приехавшие из Германии «логосовцы», засевшие в издательстве «Мусагет» на Пречистенском бульваре, и потомки старых славянофилов, объединявшие свои силы в издательстве «Путь» на Знаменке.

Личных отношений эта война почти не затрагивала. Спорили и ссорились в старой Москве горячо и много, но расходились друг с другом редко: по-настоящему злые, но зато в отдельных душах и по-новому святые времена наступили только после войны и революции.

За несколько дней до экзамена я зашел, как то было принято, к Виндельбанду с визитом. Он встретил меня с исключительною любезностью и, выразив надежду, что мой устный экзамен не испортит очень хорошего впечатления от моей докторской работы, спросил,

на какую тему я хотел бы с ним побеседовать. Мой ответ, что я больше всего занимался Платоном, Декартом и, главным образом, Кантом, ему очевидно понравился. Мы расстались очень тепло. В крепком рукопожатии учителя я почувствовал обещание, если нужно, помочь мне не посрамить себя.

Наша часовая беседа, инициативу которой Виндельбанд все время умело предоставлял мне, была одною из самых интересных научно-философских бесед моей гейдельбергской жизни. Закончив ее проблемою естественного права у Канта, Виндельбанд изящно передал меня своему коллеге Еллинеку, который, подхватив тему, перевел речь на Гоббса, Пуфендорфа, а затем перешел к стоикам. Если бы не историк литературы, барон фон Вальдберг, я сдал бы экзамен на «Summa cum laude». Но барон совершенно сбил меня с толку непонятно мелочными вопросами о каких-то вариантах гетевского текста в различных изданиях. Раздосадованный и усталый, я не вполне вежливо заявил, что никогда не интересовался вопросами, интересующими моего экзаменатора. Во время моего прощального визита Вальдберг искренне извинялся, говоря, что от души желал не испортить мне блестящего экзамена и потому ставил самые легкие чисто внешние вопросы: ему казалось, что иностранцу, в последнюю минуту решившемуся переменить свой дополнительный предмет (в качестве такового я сначала действительно выбрал политическую экономию, которая мне однако перед самым экзаменом до того опротивела, что я махнул на нее рукой) будет легче отвечать на «детские» вопросы, чем на более существенные. Сердечно поблагодарив моего неловкого доброжелателя, испортившего мне мой экзамен и подивившись про себя психологической нечуткости этого известного исследователя французского психологического романа, я с легким

сердцем, но и с грустным чувством конца моей студенческой жизни, вернулся во Фрейбург, где меня с нетерпением ждали Катарджи и Мелис.

Как я ни боролся против искушения нового свидания с Ниной, я после нескольких недель бездельного пребывания во Фрейбурге все же поехал в Вильну. С тоскующими друг по другу душами, но с прикованными к Неману глазами, просиживали мы с Ниною ночи напролет в ее увешанной портретами покойников (матери, братьев и Ани) комнате, а днями устало и молча бродили по пыльным улицам и окраинам Вильны. Да и о чем было говорить. Нам все было давно ясно и все же в нас все оставалось темно. Прощаясь друг с другом на вокзале (я ехал к своим на Рижское взморье, а потом в Италию), мы одинаково чувствовали, что навсегда прощаемся с нашею горькою любовью, которой ничего не оставалось, кроме добровольного пострига.

На взморье погода стояла прекрасная. Неделями тишайшее море, на берегу которого мирно сушились дырявые сети, блаженно молчало под ласковым солнцем. В заливных лугах по берегу еще пахло сеном, а на ветряных взгорьях уже начинали вращаться скрипучие крылья мельниц. Время клонилось к осени, но в моем сердце начала расцветать весна.

Случайная встреча с совсем еще юной, голубоглазой, златокудрой, только что начинавшей певицей, богобоязненно взращенной в деревенской тиши и вдруг вышедшей на вольный простор артистической жизни, ожгла меня, как огнем.

Открытый летний сад в Мариенгофе; блаженная теснота за нашим столиком; красные лампионы в темных ветвях; симфонический оркестр Шнееганса исполняет Чайковского (Щелкунчика); через неделю – копна душистого сена; качающаяся на ночной волне лодка; концертная поездка в Виндаву, где артистку под нескончаемые

аплодисменты забрасывают цветами, – а через месяц уже и разлука: темная ночь под поднятым верхом несущейся по пляжу коляски, бледно-зеленый, ядовитый рассвет над тяжелым свинцовым морем, чашка отрезвляющего черного кофе на Рижском вокзале (о, как печальны глаза и холодны пальцы бедной Зои) и снова тоска и острые угрызения совести – вот все, что осталось в памяти от первого порыва сердца обратно в жизнь…

Снова, как два с лишком года тому назад, медленно проплывают за вагонными окнами покрытые снегом массивы швейцарских гор. Величие их меня уже не трогает, я весь погружен в себя. Оборванный приморский роман трепещет в душе предчувствием новых, более полных и глубоких переживаний. Вслушиваясь в горячий спор мечты и совести, я уже чувствую, что совести не осилить мечты, что она еще долго будет мучить меня, но руководить моею жизнью скоро перестанет; это свое отступничество я ощущаю не только грехом, но уже и правдой жизни.

У замечательного итальянского писателя, философа и публициста Джиованни Папини, начавшего свою карьеру с проповеди атеистического футуризма и кончившего призывом к католичеству, есть с большим подъемом написанный марш храбрости: «Единственное спасение – храбрость, единственный путь искупления – храбрость, единственный оплот гордости – храбрость, единственная твердыня славы – храбрость, единственное огненное испытание – храбрость! Да будет в каждом из нас с каждым днем все больше и больше храбрости».

Я никогда не был футуристом, в свое время даже выступал в «Эстетике» против самого Маринетти, за что навлек на себя великий гнев славного русского футуриста, Владимира Маяковского, наговорившего мне после

лекции невероятное количество талантливых грубостей, но на недостаток храбрости, по крайней мере в своей молодости, мне жаловаться не приходится. Моя затея поехать в Италию и попытаться подготовить почву для издания итальянского «Логоса» была верхом чисто футуристической храбрости, чтобы не сказать дерзости.

Своих денег на поездку у меня не было, я решил, что мне их предложит Катарджи – так оно и случилось. Приглашение графа Кальдерони, с которым мы познакомились на философском конгрессе, было, конечно, только любезною фразой, – я решил принять ее всерьез. Не зная ни слова по-итальянски, я решил, что обойдусь скромным знанием французского языка и выразительной итальянской жестикуляцией. Храбрость оказалась действительно силою: мне удалось настолько живо заинтересовать некоторых итальянских философов идеями международного журнала по философии культуры, что вскоре после выхода в свет немецкого и русского изданий «Логоса», вышло и итальянское под редакцией кантианца Вариско.

Храбрость почти всегда побеждает в содружестве со счастливой случайностью. Успех моей научно-издательской миссии был бы абсолютно невозможен, если бы, приехав во Флоренцию, я поселился не в русском пансионе, а в каком-нибудь заштатном итальянском алберго. Содержательница русского пансиона на Via Cavour, куда меня направил флорентийский издатель и книготорговец Ольский, с сыном которого я познакомился еще во Фрейбурге, Лидия Александровна Висковатова, оказалась на редкость милой и высококультурной русской женщиной. Покинув еще девочкою Россию, она горячо привязалась к своей второй родине. Человек мало практичный и совершенно не ценящий материальных благ, Лидия Александровна

смотрела на свой пансион не как на коммерческое предприятие, а скорее как на институт по изучению культуры и природы Тосканы. Попасть к ней было не легко. Все комнаты были всегда заранее расписаны. Наибольшею популярностью маленький русский пансион пользовался в немецкой профессорской и писательской среде. За сравнительно короткое пребывание на via Cavour я познакомился там с известным Базельским философом Иоэлем, с ценителем и переводчиком французов, утонченнейшим эссеистом, злым сатириком, актером-любителем и профессиональным донжуаном, Францем Блей, с довольно бездарным берлинским скульптором и с трогательною старушкою-писательницею, типа честных тружеников пера.

Мое появление в пансионе, по-видимому, обрадовало Лидию Александровну. Несмотря на свою любовь к Италии, она, словно мелодию, которую внутренне слышишь, но спеть уже не можешь, носила в себе живую тоску по России. Так как все комнаты были заняты, Лидия Александровна уступила мне свой будуар и с радостью принялась помогать мне в дорогом ее сердцу деле сближения России и Италии.

Решили начать с тщательного изучения Флоренции: нельзя же было идти к профессорам и писателям тосканской столицы с теми скудными, отвлеченными сведениями, которые я вынес из университета и случайного чтения. Проводить со мною много времени в галереях Лидия Александровна, конечно, не могла, но она ежедневно за утренним кофе направляла мой осмотр Флоренции, а по возвращении подробно расспрашивала меня о моих впечатлениях. Этим критическим расспросам и попутным замечаниям я в некоторых отношениях обязан больше, чем книгам Бургхардта, Вельфлина и других знаменитостей, по которым я готовился к своей итальянской поездке и которые перечитывал по вечерам.

Еще тоньше флорентийского искусства воспринимала Лидия Александровна природу Тосканы. Ее бесхитростные, в техническом отношении почти беспомощные акварели охотно покупались людьми, влюбленными в окрестности Флоренции. Они ценили тишину, отрешенность и мудрость этих небольших листков, внушенных Лидии Александровне кистью Беато Анжелико и молитвами Франциска Ассизского. До чего коленопреклоненна и восторженна была любовь Лидии Александровны к этим двум святым я до конца понял лишь в Ассизи, где мы пробыли с нею целых две недели. Захваченные древним монастырем, византийским сумраком подземных сводов, расписанных Чимабуйе и жизнерадостными фресками Джотто в светлой, надземной церкви, мы лишь в последнюю минуту удосужились пойти посмотреть на тот храм Минервы, из-за которого Гёте почти просмотрел обитель святого Франциска.

Рассматривая акварели Лидии Александровны, я горячо доказывал ей, что в ее работах больше России, чем Италии, больше трепета Нестеровских березок, чем четкой торжественности кипарисов. Волнуясь моею неспособностью отрешиться от типичного для всех туристов поверхностного восприятия Италии, она с большим терпением учила меня слушать божественно-нежную музыку тосканской природы. Я старался, но малоуспешно. Окрестности Флоренции: колоннады кипарисов, стесненные каменными оградами дороги, амфитеатры виноградников – все это казалось мне скорее прекрасно исполненными театральными декорациями, чем тою живою природою, к которой я с детства привык прислушиваться с закрытыми от полноты чувств глазами. «Нет, – твердил я своему милому гиду, – с этою замкнутою в себе, немою и строгою композицией мне никогда не слить своей души. Под пиниями и кипарисами я легко могу себе представить свою

надгробную плиту, но я не представляю себе, чтобы я, подобно Вертеру, разрыдался под ними, или, еще того невозможнее, бросился бы, как Алеша Карамазов, целовать итальянскую землю. Для меня в ней нет тоски по бесконечности».

Зимою 1922-го года, в мрачном нищем, пореволюционном Берлине мне попалась под руку замечательная по уму, желчности и остроте автобиография Папини «L'uomo finito». Углубившись в нее, я живо вспомнил 1909-й год, пансион на via Cavour и самого автора, бывшего в наших спорах с Лидией Александровной почти всегда на ее стороне. Дойдя в седьмой главе до описания флорентийской деревни, я почувствовал, что он каждым своим словом описывает не только тосканскую, но и подмосковную деревню: «все, что во мне есть поэтического, меланхолического, я получил от своей деревни… где я научился дышать и мыслить, деревни голой, бедной, серой… чуждой пышности, роскоши красок, запахов… но интимной, близкой сердцу, требующей тонкой чувствительности и возбуждающей иллюзию бесконечности»… Я закрыл книжку и задумался. Мне страшно захотелось во Флоренцию, чтобы папиниевским, итальянским глазом посмотреть еще раз на Италию.

Изучив Флоренцию и отполировав в ежедневной пансионской беседе свой французский язык, я начал понемногу ходить по гостям. Так как я прожил в Италии всего только пять месяцев, притом ‘без языка, то не смею судить об итальянцах и итальянском обществе. Могу только сказать, что с теми итальянцами, с которыми мне приходилось встречаться, мне было легко и просто. Говоря по-немецки, объясняясь по-французски, вставляя кое-где итальянские слова, я подвизался среди ученых и писателей без особых затруднений. Какова была фашистская Италия, не знаю, но прежняя в бытовом

и психологическом смыслах была, пожалуй, ближе России, чем, например, Германия, оказавшая на наше духовное развитие гораздо большее влияние.

Сближало Россию и Италию, по крайней мере русскую и итальянскую интеллигенцию, во-первых, естественная простота общения, а во-вторых, обилие свободного времени. Не помню, у кого мы несколько раз бывали с Лидией Александровной, но вспоминаю какие-то небольшие, лишь самою необходимою мебелью обставленные комнаты, обилие красного вина, клубы табачного дыма и шумные «московские» беседы, с тою только разницею, что итальянки не принимали в них никакого участия. Странным образом, но от моего почти полугодового пребывания в Италии у меня в памяти не осталось ни одного женского лица за исключением старой, строгой, но пленительно простой и изысканно любезной графини Кальдерони, у которой я как-то обедал в большом, гулком, холодноватом палаццо: чопорно расставленная по мраморным стенам старинная мебель, прекрасная сервировка и более чем скромная еда – на всем благородном обиходе грустный отблеск былого богатства и былого значения в обществе.

Освоивши искусство Флоренции, и повертевшись в итальянском обществе, я решил не без трепета в сердце приступить к осуществлению главного задания своей поездки и начать визиты знаменитым итальянским философам с целью привлечения их к «Логосу». Боясь, что не сумею с достаточной полнотой, краткостью и точностью охарактеризовать на французском языке сущность нашего замысла, я написал по-русски нечто, вроде вступительной речи, попросил Лидию Александровну перевести ее на французский язык и выучил перевод наизусть. Идя с первым визитом, я тщательно обдумывал, как бы мне, сохраняя необходимую вежливость

и предупредительность, не выпустить из своих рук инициативы беседы: успеть все сказать, прежде чем собеседник начнет спрашивать.

Мои заботы и волнения оказались, благодаря доминирующему значению немецкой философии в 19-м веке, совершенно излишними. Все итальянские философы понимали немецкий язык. Вариско и Бенедетто Кроче, с которыми мне прежде всего нужно было вести переговоры, свободно объяснялись на нем. То, что мне удалось во Флоренции переговорить с неаполитанским профессором Кроче, было большой удачею.

Где я был принят этим мировым ученым и философом, занявшим в 1920-м году пост министра народного просвещения, я сказать не могу. (Перед глазами стоят великолепный портал и торжественный швейцар в шитом мундире, в треуголке и с булавой). Не без волнения поднимался я по широчайшей мраморной лестнице в кабинет знаменитого мыслителя, о «мыслях» которого я имел весьма смутное представление, основанное на быстром просмотре первого тома его «Эстетики», только что вышедшего в немецком переводе. Разговора с Кроче не помню. Полагаю, что, сразу же отклонив мою просьбу принять на себя редакцию итальянского «Логоса» и хлопоты по отысканию издателя, Кроче одновременно любезно согласился сотрудничать, как в русском, так и в немецком выпусках журнала. Как знаменитый, многоопытный и весьма занятой человек он быстро прекратил нашу беседу, к которой я так долго и тщательно готовился.

Совсем иной характер носило мое посещение профессора Вариско. С ним мы сразу же разговорились на все темы, что особенно интересовали наш организационный комитет. Расставаясь, мы условились о следующей встрече. В результате дальнейших переговоров Вариско дал свое принципиальное согласие на редактирование

итальянского издания «Логоса». Во Флоренции моя миссия была исполнена. Надо было собираться в Рим, так как к Рождеству я непременно хотел быть в Москве.

Рим произвел на меня очень большое впечатление, но никаких своих слов, достаточно точных и живых для передачи этого впечатления, в моем распоряжении нет; не только потому, что я пробыл в «Вечном городе» всего только шесть недель, но и по принципиальной невозможности описать «вечность». В живом, импрессионистическом слове возможно удержать впечатление от Парижа, с его необъятными площадями, убегающими в сине-сиреневые дали перспективами, задумчивыми медитациями фонтанов, огненно-красочными вихрями и криками ночных бульваров, священною тишиною старинного сенского квартала, – от Берлина с его бесконечными конными памятниками (с дворцовой площади видны 23 бронзовых лошади), умной инструктивностью его тщательно собранных музеев, деляческим размахом его прилежно суетливых улиц, тяжелою невеселою чувственностью, но не от Рима. С Римом встречаешься как-то иначе: не как с новым событием в своей жизни, а как с вечным бытием истории. Сказать о Риме, хотя бы только о его внешнем облике, об его античных, христианских, возрожденских камнях нечто точное, верное можно, как мне кажется, только в форме искусством углубленного раздумья над судьбами человечества. Такая интуиция руководила, очевидно, и Брюсовым в его стихах об Италии, но тема оказалась ему не по силам:

Страна, измученная страстностью судьбы,
Любовница всех роковых столетий,
Тебя народы чтили, как рабы,
И императоры, как дети.
Ты с трона Цезарей судила властно мир,
И больший мир из Ватикана.
Былая власть твоя – низверженный кумир,
Но человечество твоим прошедшим пьяно.

Как хотелось бы на склоне лет, когда все свое отойдет от жизни, еще раз посетить вечный город, к которому, быть может, и впрямь ведут все земные дороги.

После Рима – снова Флоренция, совсем новая тем, что уже совсем своя. Оживленный вечер в кафе с Лидией Александровной, Гордоном Крэгом, создателем нашумевших декораций для «Гамлета» в Художественном театре, с русским художником, имени которого не помню, и постоянно влюбленным нищим, чахоточным эмигрантом, который за несколько дней до моего отъезда в Россию повесился в Кашинах. Вот и последняя ночь в милом пансионе. Наутро сердечное и даже взволнованное прощание со всеми его обитателями. В вагоне скорбное раздумье над целящей властью времени: да, ничего не забыв, так же нельзя жить, как нельзя жить, всё предавая забвенью. Вся мудрость жизни, как личной, так и исторической, в том, чтобы не разрушать прошлого будущим, а строить свой завтрашний день на вчерашнем.

Милан, Мюнхен, Берлин, Варшава; под самый Новый год, 31-го декабря, к вечеру – Москва. В легком пальто и широкополой шляпе выхожу на темноватую платформу. Очень холодно. Еще не видя своих, слышу мамин голос: «Да ты с ума сошел, ты простудишься». Брат сразу же накидывает мне на плечи отцовскую енотку. Расцеловавшись со всеми, я надеваю шубу в рукава и подымаю воротник. Вот она, почти два года тому назад покинутая мною Москва: длинные улицы, путанные переулки, крутящийся вокруг фонарей снег, встряхивание саней по ухабистым мостовым, поскрипывание белоснежных тротуаров под шагами прохожих… Вылезаем из саней, я открываю калитку, вхожу во двор. Маша уже на крыльце, встречает как родного, еле сдерживается, чтобы не заплакать: она не видала меня со смерти Анны Александровны, которую очень любила.

В столовой уже все приготовлено для встречи Нового года. До двенадцати остается меньше часу. Мама, братья, сестры, так же, как и летом в Ассерне, как-то особенно внимательны ко мне. Часы начинают бить. По привычке подымаются бокалы. Нового счастья мне никто не решается желать, сам же я чувствую, что для меня начинается новая жизнь.

Июль – декабрь 1939 г.

Глава VI
РОССИЯ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Проснувшись первого января 1910-го года в той самой комнате, в которой я восемь лет тому назад укладывал чемоданы, собираясь за границу, я не сразу встал с постели. Возврат в родительский дом после всего пережитого с новою силою поднял в душе заглохшую было боль таинственной Аниной смерти.

Когда я раздвинул занавески, глазам предстал залитый солнцем, заваленный снегом двор. По свежеразметенной, узкой дорожке молодцевато подходили к крыльцу первые новогодние «визитеры» – двое рослых городовых с медалями на груди.

Мама с волнением ждала меня в столовой. Брат уже уехал с визитами, младшая братия была на катке. Наше чаепитие затянулось до обеда. В первый раз мы говорили с матерью по душам обо всем, что со мною случилось, и о том, как жить дальше. Не с легким сердцем уступила она меня Анне Александровне и сейчас своею бесконечною лаской и обещанием всячески помочь мне как бы каялась не только передо мною, но и перед Анею.

Так как своею главною задачею я считал как можно более быструю сдачу магистерского экзамена и осуществление русского «Логоса», то мы решили, что я сразу же засяду за книги, а для дополнительного, к родительским ста рублям в месяц заработка объявлю у себя на дому курс лекций по философии. Приняв такое решение, я на следующий же день отправился искать две комнаты. Мне повезло. Снял в «барской» квартире, у самого Москворецкого моста с видом на Москва-реку и разноцветные домики на другом берегу: всякие скобяные, москательные и селедочные торговли.

Мне нравилось, что окна выходили не на Кремль – обременительно с утра до ночи иметь перед глазами памятники истории.

Овдовевший с год тому назад владелец квартиры, милый, радушный и бесконечно сентиментальный юрисконсульт большой коммерческой фирмы, был очевидно рад, что вокруг него под весьма достойным предлогом снова завертится жизнь. Он первый же записался на мои лекции и обещал сказать о них коекому из своих знакомых.

Затея моя удалась на славу и в духовном и в материальном отношениях. После лекций (читал я «Введение в философию» по два часа в неделю) почти все слушатели оставались пить чай. Случалось, что попозднее подъезжали то те, то другие знакомые знакомых; беседа затягивалась всегда за полночь. Мой хозяин принимал всех, как своих гостей, и под сурдинку ухаживал за дамами. Тем у нас всегда бывало много, темперамента – хоть отбавляй, времени никто не жалел, так как работою мало кто был переобременен.

По московской привычке идти к намеченной цели не официальными, казенными путями, а личными и домашними, я решил поговорить о своем намерении устроиться при Московском университете, пока что в частном порядке, с кем-нибудь из профессоров. Хотя я и был поверхностно знаком с самим Львом Михайловичем Лопатиным, я решил сначала поговорить с Г. Г. Шпетом. Мне казалось, что этот талантливый и совсем еще молодой приват-доцент, глубже Лопатина связанный с современной западной философией, отнесется ко мне внимательнее знаменитого «старика».

Хотя в заставленный книжными полками и несколько назойливо украшенный всевозможными изображениями воронов и медведей кабинет Шпета я вошел в довольно уже поздний утренний час, мне пришлось прождать

минут 10–15, пока из двери, ведущей в спальню, легкою, изящной походкой вошел как будто бы очень обыкновенный, на самом же деле весьма необычный человек, с небольшою круглою головкой и очень мелкими чертами гладко бритого лица, совсем еще молодого, но все же уже помятого, в складках и красноватых пятнах.

Уже после получасового разговора со Шпетом о философии, искусстве, Москве (кого только не знал Шпет) мне стало окончательно ясно, что он мне не помощник и не советчик, так как ему нет ни малейшего дела до того – будет ли при Московском университете процветать лопатинское лейбницианство, или марбургское неокантианство. Будучи большим эрудитом и тонким любителем философской проблематики, Шпет, во многом очень близкий Гуссерлю, боровшемуся против глубокомыслия в философии, органически не переносил в науке никаких исповеднических убеждений. Достаточно было – я это впоследствии не раз наблюдал в разговоре с ним – малейшей попытки углубления научно-философской мысли до какого-нибудь исповеднического убеждения, как в нем сразу же обнаруживался абсолютно беспочвенный нигилизм, который он защищал с изумительным по блеску и таланту диалектическим мастерством.

В публичных дискуссиях Шпет выступал сравнительно редко: берег свою популярность и свое академическое достоинство. Среди его, всегда интересных выступлений, мне особенно запомнилось последнее. Жили мы уже под большевиками. В нетопленной аудитории Высших женских курсов шло публичное заседание Религиозно-философской академии. Все сидели в пальто, шубах, валенках; как во внешней обстановке, так и в тревожном настроении собравшихся чувствовалось наступление вражьей власти и повелительная

необходимость не говорить перед ее лицом никаких случайных, поверхностных и праздных слов. Доклад читал Бердяев. Темы я не помню, но, помня Бердяева тех дней, уверен, что в его докладе должны были быть те духовно предметные, существенные слова о самом главном в жизни, которые мы все от него тогда ждали.

Шпету доклад не понравился. Не представлявшая для него ничего нового христианская тенденция докладчика, вдруг непомерно взволновала и даже возмутила его. Задергался маленький носик, засверкали умнейшие в мире глазки и понеслась придирчивая, остроумнейшая речь, богатая знаниями, ассоциациями, парадоксами, но в целом неубедительная и ненужная.

Отдельных возражений Шпета я не помню, помню только, что он запальчиво нападал на христианство и с непонятною страстностью защищал в большевистской Москве… Элладу. В этом выверте была, конечно, своя, шпетовская логика. Думаю, что преувеличенно ощущая внутреннюю близость христианского и коммунистического утопизмов, Шпет только потому и говорил о светлой, трезвой, здешней Греции, что его раздражал традиционный в Религиозно-философской академии взгляд на Москву, как на третий Рим. Какой – к чёрту – третий Рим, когда в Кремле засели большевики. Не расстрелять ли вместе с большевиками и христиан, чтобы наконец-то вытрезвилась матушка-Русь.

Не найдя поддержки в Шпете и поняв, что ему, по тактическим соображениям, было бы даже неудобно оказывать покровительство пришлому элементу, я решил, опять-таки в частном порядке, повидаться с Лопатиным. Сделать это было не трудно. В доме графа Шереметьева, по Шереметьевскому переулку, проживала, никакими особенными талантами как будто бы не отмеченная и все же находившаяся в центре духовной жизни Москвы, семья доктора А. Г. Петровского,

с женой которого с детства дружила моя мать. У Петровских бывали Владимир Соловьев, Лев Михайлович Лопатин, дети Льва Толстого и много других представителей науки и литературы. Лопатин приезжал обыкновенно поздно, после театра выпить красного вина с мятными пряниками и попугать своими страшными рассказами в духе Эдгара По.

Решив переговорить со Львом Михайловичем, я попросил Дарью Николаевну Петровскую устроить мне свидание с ним у себя на квартире. Она охотно согласилась и пригласила меня на очередной вечер лопатиских рассказов.

Приехал Лев Михайлович по обыкновению поздно. Войдя в комнату шаркающей походкой и поздоровавшись с хозяевами и гостями, уже давно поджидавшими за самоваром знаменитого философа, он уютно опустился на оставленное ему место против графина с красным вином и, вынув платок, стал протирать очки. Я внимательно всматривался в него: высокий, выразительный лоб, умные, строгие, печальные серые глаза; сразу видно – недюжинный большой человек, но одновременно, по прадеду, а быть может даже и по деду – несомненнейший леший: длинные, прямые, зачесанные за уши волосы, кудластая, седая, в желтых табачных подпалинах борода и большой беззубый рот, превращающийся не только в моменты громкого смеха, но даже и при улыбке в жутковатую пасть. Ручки маленькие, напоминающие поплавки. Между пальцами правой, все время как-то зябко прячущейся в рукав потрепанного сюртука, вечная папироса, с которой желтый ноготь то и дело стряхивает пепел. Но самое странное в Льве Михайловиче то, что он никогда не выпрямляется во весь человеческий рост; стоит и ходит так, как будто бы только что поднялся с четверенек.

От Дарьи Николаевны я узнал, что этот одинокий человек – лесовик, живет странною, детскою жизнью.

За ним все еще ухаживает старый лакей, который ежедневно стелет ему постель в «детской» и при выездах в холодную погоду неизменно наказывает заткнуть «ушки» ваткою.

Думаю, что в тот вечер Лев Михайлович своих страшных историй не рассказывал; если бы рассказывал, как бы я мог их забыть. В способности Льва Михайловича с детскою непосредственностью ощущать присутствие всякой нечисти в жизни, я не сомневаюсь, как не сомневаюсь и в его большом актерском таланте. Его брат, уже пожилым человеком, стал актером Московского Художественного театра и лопатинского имени не посрамил. Многие же, близко знавшие братьев, говорили мне, что сценическое дарование Льва Михайловича было значительнее дарования его брата.

Очарованный Львом Михайловичем, его своеобразным обликом, его старомодною любезностью и юношескою разговорчивостью, я тут же в двух словах намекнул ему на свои планы и попросил разрешения в ближайшее время навестить его.

Принял он меня, если не ошибаюсь, в редакции «Вопросов философии и психологии». От разговора с ним у меня в памяти остался только тот тон, что делает музыку. Милейший в доме Дарьи Николаевны, Лопатин оказался в редакции совершенно другим человеком. Несмотря на то, что его представление о неокантианских течениях в немецкой философии было весьма приблизительным, его отрицание этих течений было весьма определенным. Я ушел от него с чувством, что Историко-философский факультет, «Психологическое общество» и редакция «Вопросов философии и психологии» были в глазах Лопатина некою вотчиною, в которой им искони заведены определенные порядки, не нуждающиеся ни в каких заморских новшествах.

Намерение пробить себе путь к философской кафедре Лопатин во мне, конечно, не погасил, но мой

идеалистический пыл он сильно ослабил. После ряда дальнейших встреч с ним и его коллегами по факультету, Г. И. Челпановым, юристом В. М. Хвостовым и другими «стариками», я невольно стал задумываться над мыслью, что в России, быть может, правильнее заниматься философией вне университетских стен.

В связи с таким сдвигом в моем настроении, начал постепенно меняться и ритм моей жизни. Я перестал сидеть дома за книгами, стал больше бывать у знакомых, главным образом, в кругу друзей Анны Александровны, с братом которой, Павлом, меня уже давно соединяла глубокая дружба, выросшая из нашей переписки в первые месяцы после ее смерти. Соединял нас и живой интерес к вопросам философии, которая в связи с неудачей революции 1905-го года приобретала даже и в левых кругах все большее и большее значение.

Должен сказать, что, вернувшись в Россию в 1910-м году, я застал в революционной среде, так враждебно встретившей меня в 1906-м году, довольно большие изменения. Ненависти к правительству было не меньше, чем раньше; презрения к отцам, либералам, было, по крайней мере на словах, пожалуй далее больше; о преддумской «банкетной» кампании 1906-го года вспоминали с такою же озлобленностью, как и о «кровавом воскресении», когда двинувшаяся под предводительством Талона с иконами и хоругвями к Зимнему дворцу рабочая делегация была встречена ружейными залпами, но во всем этом оппозиционном кипении уже не было прежней воли к наступлению и уверенности в его успехе. Подсознательно многие начали сдавать позиции. Радикальные кандидаты прав с не совсем чистою совестью записывались в помощники к знаменитым присяжным поверенным буржуазно-либерального лагеря. Радикальные сыновья серых купцов шли торговать в отцовские лабазы. Кое-кто из студентов-общественников,

словно в монастырь, уходил в науку. Один из друзей Павла Оловянникова, принимавший деятельное участие в восстании 1905-го года, сел где-то около Або в маленькую рыбачью лодку и выплыл, почти не умея управлять парусом, в шхеры, с целью раз навсегда (в стиле ибсеновского «Бранда», не сходившего со сцены Художественного театра) решить для себя вопрос: что делать и как жить. Через месяц он вернулся с неожиданным для всех решением стать скульптором. Свое решение московский «Бранд» осуществил на славу.

Конечно, чистые теоретики марксизма не садились в лодки и не отчаливали к новым берегам. Внимательно следя за нарастающей реакцией, они не без самодовольства утешали себя мыслью, что бегство в культурничество представляет собою вполне естественные результаты революционного отлива. Выдержанные идеологи революции, они уверенно ждали новой волны прилива и к общему нашему несчастью действительно дождались ее – многие себе на голову. Вопрос о том, могли ли бы они и не дождаться ее, празден и пуст. И все же в сердце не убить веры, что не случись войны, Россия могла бы избежать революции; пробужденная в 1905-м году революционная энергия начала в эпоху Третьей думы быстро сливаться с созидательным процессом жизни. Мне припоминается на первый взгляд как будто бы и не типичный, на самом же деле симптоматически весьма существенный случай.

На подмосковной даче, в которую мы ради здоровья сестры переехали на постоянное житье, у нас служили в качестве дворника и кухарки Сергей Масленников с женою Татьяной. Чета была не вполне обычная. Сергей – красавец с гневными, шалыми глазами – пьяница и бабник, жена – мечтательная истеричка. Вспомнив во время жарения жаркого, что телятина – телок – «глаза ласковые, язык шершавенький», она сразу же вынимала

противень из духовки и уходила из кухни, «придтить в себя». Восстание 1905-го года произвело на супругов совершенно ошеломляющее впечатление, они словно с ума сошли, опьянели. Да и было с чего. Жили в серости, жили в бедности, никогда ни о каких партиях ничего не знали, ни о каких своих заступниках не помышляли. И вдруг – вся страна за них: стали фабрики, стали дороги и пошли пылать господские усадьбы. Этого на старом положении, в бездействии вынести было невозможно. Надо было наспех менять жизнь, выносить ее куда-нибудь на вершину. Как быть? Помог урядник. Под прикрытием полиции, а может быть и при ее прямом участии, Сергей с какими-то подручными ворвался к нам на дачу (мать была как раз в Москве, отец в это время служил на Кавказе) и разгромив в порядке народного гнева кое-какую мебель, заботливо вынес уже в порядке строгого коммерческого расчета все ценное и портативное с дачи: серебро, деньги, меховые вещи и персидские ковры. Мать подала, конечно, в суд, но делу хода дано не было – не такие были времена. Через несколько месяцев мы получили объявление, что Сергей Масленников вместе с урядником открыли большое прачечное заведение – «специальность крахмал и тонкое дамское белье».

Приехав в 1911-м году в ту же дачную местность, я как-то во время прогулки увидел масленниковскую вывеску. Захотелось зайти посмотреть как процветают старые знакомые. Встретили меня Сергей со своей Татьяной без малейшего смущения, без малейшего чувства замешательства. Рассказали словоохотливо, что дело, слава Богу, идет хорошо. Даже откладывать кое-что начали. В себе я никаких неприязненных чувств к грабителям не ощутил. Темное дело прошлого оказалось каким-то образом осмысленным и потому высветленным. Помню, я еще подумал: как хорошо, что их

не судили и не посадили в тюрьму, пропал бы впустую неудержимый порыв выбиться в люди. А так, с грехом пополам, все же живут и процветают.

Мой случай, конечно, ничего не доказывает. Рассказывая о превращении революционеров разных масштабов и толков в маститых присяжных поверенных, оборотистых лабазников, ученых, скульпторов и прачечников, я хочу указать только на ту энергию, с которой русская жизнь в «темные годы» реакции боролась против интеллигентской революции. Как в межфронтовой полосе, под перекрестным огнем двух вражьих станов, каким-то чудом сажалась и выкапывалась насущная картошка, так и в России накануне Великой войны наперекор смертному бою охранного отделения и боевой организации, на жалкой почве, как-никак добытой 1905-м годом свободы, вырастала какая-то новая, с году на год все крепнувшая жизнь.

Москва росла и отстраивалась с чрезвычайной быстротой. Булыжные мостовые главных улиц заменялись где торцом, где асфальтом, улучшалось освещение. Фонарщиков с лестницею через плечо и с круглою щеткой для протирания ламповых стекол за пазухой я по возвращении в Москву уже не застал. Когда керосиновые фонари уступили место газовым, я так же не могу сказать, как и того, с какого года газовое освещение стало заменяться электрическим. Помню только, что молочно-лиловые электрические шары, горевшие поначалу лишь в Петровских линиях, на Тверской и Красной площади, стали постепенно появляться и на более скромных улицах городского центра. Ширилась и разветвлялась трамвайная сеть. Уходили в прошлое милые конки с пристегом где одной лошаденки, а где, как например на Трубной площади или под Швивою горкою, и двух уносов. Становились преданием парные разлатые линейки, что в мои школьные годы ходили

в Петровский парк и Останкино, может быть, и на другие окраины – не знаю.

Всюду, как грибы после дождя, вырастали дома. Недалеко от Красных ворот забелела одиннадцатиэтажная громада дома Орлика. У Мясницких ворот высоко подняла свои круглые часы башня нового почтамта. В тылу старенького Училища живописи, зодчества и ваяния взгромоздились высокие корпуса с квартирами-студиями. На плоской крыше многоэтажного дома Нирензее с уютными квартирами для холостяков (комфорт модерн) раскинулось совсем по-европейски нарядное кафе. Особенно быстро преображалась «улица святого Николая», интеллигентский Арбат. Едешь и дивишься – что ни угол, то новый дом в пять-шесть этажей.

Нет, напрасно природные москвичи с пеною у рта ругают большевиков за то, что они стерли с Москвы ее стародавний облик. Облик этот начал меняться задолго до большевиков. Спору нет: большевизм проявил в своем коммунистически-государственном грюндерстве много бестактности и безвкусицы, но ведь и в вольном меценатски-купеческом строительстве не было недостатка ни в том, ни в другом. Достаточно вспомнить Врубелевскую мозаику на Метрополе, громадные золотом окаймленные лиловые ирисы всем нам памятного особняка недалеко от Никитских ворот, неоготический замок Морозовой, глубоко во дворе на Спиридоновке, и знаменитый по своей нелепости особняк на Воздвиженке в мавритански-готическом стиле, с его усыпанными раковинами и окантованными каменными морскими канатами башнями. Думается, что все эти стилистические изощрения подходили к старой Москве не больше, чем здание Моссельпрома. Единственное, что можно сказать в защиту вольного московского строительства, это то, что в Москве всякая нелепая причуда всегда была больше к лицу, чем покорное послушание

закону планового строительства. Иногда мне, впрочем, думается, что при внимательном рассмотрении советской столицы, образ которой, несмотря на сотни фотографий, мне все еще как-то не видится, и в ней где-нибудь да скажется исконный русский дар все – хорошо ли, плохо ли – переделывать на собственный лад.

Провинция преображалась, пожалуй, еще быстрее Москвы. У нас в Московской губернии шло быстрое перераспределение земли между помещиками и крестьянством. (Известно, что накануне революции в распоряжении крестьянства находилось уже больше 80 % пахотной земли). Подмосковные помещики, поскольку это не были Маклаковы, Морозовы, Рейнботы, беднели и разорялись с невероятною быстротою; умные же и работоспособные крестьяне, даже не выходя на отруба, быстро шли в гору, смекалисто сочетая сельское хозяйство со всяческим промыслом: многие извозничали в Москве, многие жгли уголь, большинство же зимою подрабатывало на фабриках. Большой новый дом под железною крышею, две, а то и три хорошие лошади, две-три коровы – становились не редкостью. Заводились гуси, свиньи, кое-где даже и яблонные сады. Дельно работала кооперация, снабжая маломочных крестьян всем необходимым: от гвоздя до сельскохозяйственной машины.

Под влиянием духа времени и помещики все реже разрешали себе отказывать крестьянам в пользовании своими молотилками и веялками. Ширилась земская деятельность. Планомерно работал земский случной пункт под надзором двух дельных ветеринаров, к которым я часто ездил в гости. Начинала постепенно заменяться хорошею лошадью мелкая, малосильная лошаденка – главный старатель крестьянского хозяйства. Улучшались больницы и школы, налаживались кое-где губернские и уездные учительские курсы. Медленно, но упорно росла грамотность.

Было бы, конечно, большою ошибкою утверждать, что хозяйственный и культурный подъем в одинаковой степени охватывал всю Россию. Равномерным он мог бы быть лишь в результате планомерной, правительственной работы. Но правительство, во всяком случае в культурно-просветительной области, не работало, а в лучшем случае не мешало работать общественным силам: земству, городским самоуправлениям и отдельным талантливым личностям. Там, где такие личности находились, работа кипела и жизнь цвела; там же, где их не находилось, жизнь хирела и прозябала. Но таких «медвежьих углов» становилось в России, как мне помнится, из году в год все меньше и меньше. Из своих четырехлетних лекторских разъездов по провинции я вынес определенное впечатление, что начиная с 1905-го года многое начало видимо меняться в ней.

Исчезли пригородные кварталы, в которые нужно было ходить со своим фонарем; даже в небольших провинциальных городах начало появляться электрическое освещение. Появились автомобили, которым в иных захолустных городах приходилось выдерживать атаки возвращающегося с поля стада. Помню рассказ о позорном водворении такого пионера культуры на двух волах в ближайший пожарный сарай какого-то уездного украинского города.

Юг развивался быстрее центра. В Херсонской губернии вместо привычных ярмарок начались ежегодно устраиваться сельскохозяйственные выставки, которые с большим интересом посещались крестьянами. Мне рассказывали, что на одной из таких выставок можно было выиграть в лотерею верблюда, подаренного выставочному комитету передовым помещиком в качестве особенно сенсационной рекламы нового дела. В Николаеве, где я читал дважды перед очень живой аудиторией, значительная часть вывоза хлеба уже велась

кооперативами. Украинские деревни, опасаясь пожаров, начинали покрываться черепицею, великорусские – железом. Не только в уездных городах, но и в больших селах начали появляться женские и мужские прогимназии.

Наряду с ростом хозяйственного благополучия росла и культурная самодеятельность. Расширялась сеть провинциальных театров, учащались разъезды по большим провинциальным городам столичных актеров, писателей и лекторов. В городах с большою примесью еврейского населения стали появляться частные музыкальные школы. Перед самой войной по югу России разъезжал со своим оркестром учитель математики из Александрии Ахшарумов, исполнявший, впрочем кажется, довольно плохо симфонии Моцарта, Гайдна и Бетховена.

Я знаю, мои сведения и наблюдения над хозяйственным и культурным ростом довоенной России случайны, отрывочны и малосущественны. Все это я видел лишь мельком, из окна вагона. Будь я земцем, кооператором или, наконец, просто человеком с тем живым интересом к общественно-политической жизни, который во мне впоследствии пробудили война и революция, я безусловно мог бы сообщить гораздо больше интересного и важного, но все же я думаю, что мои скудные и поверхностные впечатления по-своему показательны: как никак они учат тому, что даже человеку с закрытыми на общественную жизнь глазами, нельзя было не видеть быстрого, в некоторых отношениях даже бурного роста общественных сил России накануне злосчастной войны 1914-го года.

Силовая станция всероссийской культурной работы находилась, конечно, в Москве, вдали от министерств и правительственных канцелярий. Как только я обосновался у себя на Балчуге, я сразу же, без всяких особых

со своей стороны стараний, был вовлечен в налаживающуюся как раз в те годы широкую просветительную работу. Не могу сказать, каким образом и через кого я был приглашен в качестве лектора на «Вечерние пречистенские рабочие курсы». Лишь смутно помнится мне грязноватый кирпичный корпус, к которому меня еженедельно подвозил извозчик и те темноватые коридоры, которыми я проходил в небольшую поначалу аудиторию, состоявшую на добрую половину из настоящих рабочих. Могу сказать, что к своему первому курсу «Введение в философию» я готовился с очень большим воодушевлением, движимый горячим желанием доказать рабочим, что над всеми людьми царствует единая в веках истина, которая и тогда единит нас борьбою за себя, когда ослепленные ее отрицанием мы озлобленно боремся друг против друга.

Свою идеалистическую проповедь я начинал с беллетристического описания борьбы Сократа с софистами, которую я сознательно стилизовал в нужном мне политически-педагогическом направлении. Софистов я рисовал типичнейшими представителями господствующего класса, напомаженными, наряженными, праздными юношами. Сократа же – ремесленником-пролетарием, еще по-народному верующим в единую божественную правду. Маркс, которого я не называл, но на которого прозрачно намекал, выходил у меня типичнейшим представителем софистического рационализма, растлителем подлинной истины и народной души.

От исторического введения я, во многом следуя примеру своего учителя Виндельбанда, переходил к систематически-популярной разработке вопроса об истине-справедливости, превращая ради наглядности искомую Сократом единую истину в некий, расположенный высоко на горе город. Я тщательно доказывал, что считать нагорный город за монастырь, на том основании,

что, подходя к нему с востока, видишь только церкви, так же бессмысленно, как считать его садом, потому что подходя к нему с юга видишь одни сады, или, наконец, за фабрику, вид на которую открывается путнику с запада.

Так же, как с городом, поучал я, обстоит дело и с самой истиной. Конечно, пролетарий видит ее иначе, чем буржуй, буржуй – иначе, чем служитель духа – ученый, художник, мыслитель. Но разве разница взглядов на единую истину и многообразие подходов к ней опровергают ее существование, как некоего положительного всеединства, восклицал я в духе Владимира Соловьева. Нет, надо только охватить истину, то есть исконное и вечное бытие мира, со всех сторон и в этом охвате срастить все личные, классовые и национальные правды перспективно ущербленных мнений во всеохватывающую и целостную истину – справедливость.

Как по своему соглашательскому направлению, так и по своему идеалистическому пафосу, мой курс был, конечно, отнюдь не в духе организаторов и идейных возглавителей «Пречистенских курсов». Успех он, однако, имел, и даже большой: аудитория увеличивалась от лекции к лекции, причем увеличивалась, не изменяя своего первоначального характера и состава. Очевидно интересы интеллигентных рабочих были все же шире, чем то представлялось нашей лево-партийной интеллигенции.

К сожалению, после летних каникул моя лекторская деятельность на «курсах» была прекращена. Думаю, что причину надо искать в чьем-нибудь личном недоброжелательстве. Если бы я окончательно пришелся не ко двору у организаторов курсов и полиции, мне вряд ли удалось бы уже в следующем году завоевать себе прочную позицию в «Бюро провинциальных лекторов».

Устроил меня в бюро популярный в те годы критик и лектор Юлий Исаевич Айхенвальд, плодотворную

деятельность которого в «канунной» России было бы несправедливо обойти молчанием. Сын раввина, большой знаток Шопенгауэра, критик-индивидуалист, отрицавший традиционный в России социологический подход к искусству и не убоявшийся в печати ополчиться против кумира революционной интеллигенции Белинского, к тому же еще и страстный отрицатель театра в эпоху расцвета славы Комиссаржевской, Шаляпина и Станиславского, Айхенвальд не имел, казалось бы, никаких шансов на прочный успех у широкой публики. Тем не менее он его бесспорно имел. Ценила Айхенвальда не только Москва, любила его и провинция. Всюду, куда бы я ни приезжал, я слышал только положительные, иногда даже восторженные отзывы об его лекциях.

Спрашивая себя, за что широкая публика любила Айхенвальда и ради каких преимуществ прощала ему его антиинтеллигентские выпады, я нахожу только один ответ: за чуждый всякому политиканству и агитации научно-популярный стиль его лекций; за то «культуртрегерство», которое так ненавидел Андрей Белый: «культура трухлявая голова».

Широкие круги трудовой провинциальной интеллигенции, не исключая и «хорошо грамотных» рабочих, вовсе не были в такой мере и степени захвачены исповеднически-политическим пафосом, как то казалось партийным «властителям дум». Помню, как я был удивлен тем, что страстные споры, кипевшие одно время в Москве вокруг покаянного сборника «Вехи», совсем не интересовали провинцию. Провинциальные представители свободных профессий, земские деятели, народные учителя и учительницы не чувствовали себя виновными ни в «народническом мракобесии» (Бердяев), ни в «сектантском изуверстве» (Франк), ни в «общественной истерике» (Булгаков), ни в «убожестве правосознания»

(Кистяковский), ни в «бездонном легкомыслии» (Струве). Но и Мережковского, гневно обрушившегося на «веховцев» рядом по существу кое в чем правых, но по тону и стилю уж очень плакатно звонких статей, они своим призванным защитником не признали бы. Вся эта горячая полемика шла лишь по столичным верхам.

Читающая и думающая провинция была, как мне кажется, не только не более отсталой, чем передовая столичная интеллигенция, но в известном смысле и здоровее ее. Она явно тянулась к хорошей, солидной книге и питательной научно-популярной лекции. По собственному опыту могу сказать, что небольшие, хорошо построенные курсы на такие темы, как «Введение в философию», «История греческой философии», «Россия и Европа, как проблема русской философии истории», «Основные проблемы эстетики Возрождения», имели в Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах не только не меньший, но скорее больший успех, чем отдельные миросозерцательные, остро публицистические лекции. Эту здоровую и горячую жажду знания и утолял Айхенвальд своими не слишком глубокими, но всегда хорошо продуманными и хорошо сформулированными, исполненными подлинной любви к литературе, лекциями.

«Бюро провинциальных лекторов» организовалось при «Обществе распространения технических знаний», основанном в 70-х годах прошлого столетия. Это Общество ставило своею целью утоление «духовного голода рвущейся к свету провинции», как любил выражаться доктор Грацианов, незабвенный председатель Нижегородского народного университета, процветавшего под странным названием «Секции воспитания, образования и гигиены».

Организованный при этом Обществе учебный отдел, разбитый на двенадцать комиссий, ставил себе

с каждым годом все новые и новые задачи. Он издавал дешевые книги и брошюры по всем областям знания, а также и всевозможные пособия для читателя: заботливо составленные «программы домашнего чтения» для начинающих серьезно заниматься самообразованием и «библиографические сборники» для преуспевающих. Дело велось широко, горячо, с подлинным идеалистическим подъемом и в том прогрессивном духе, которые были всегда характерны для начинаний «отзывчивой русской общественности». На доме по Большой Кисловке, в котором находилось Общество, принадлежавшем, если я не ошибаюсь, госпоже Озанчевской, должна быть со временем прикреплена мраморная доска с выражением глубокой благодарности всем, кто бескорыстно в нем трудился на пользу России.

В 1908-м году к двенадцати комиссиям Общества по инициативе графини В. Н. Бобринской прибавилась тринадцатая по организации образовательных экскурсий. Так началось паломничество неимущей русской интеллигенции и прежде всего учительства за границу. Уверен, что если бы кому-нибудь из ничего не видевших, кроме Советской России, советских учителей попался бы в руки отчетный сборник тринадцатой комиссии, у него глаза полезли бы на лоб от удивления пред той свободой, которая допускалась в царской России. Из учительских отчетов видно, что провинциальные путешественники не только коллективно осматривали музеи и памятники Западной Европы, но и вполне самостоятельно знакомились с постановкою школьного вопроса в передовых странах Европы.

Просматривая случайно попавшийся мне под руку сборник, я был удивлен количеством объявлений о педагогических журналах. К таким заслуженным изданиям, как «Русская школа» и «Вестник воспитания», после 1905-го года сразу же присоединился специальный

«Журнал для народного учителя», ставивший своею целью «обновление школы на началах, диктуемых современной научной педагогикой и новыми задачами русской жизни». Одновременно была открыта подписка на пятнадцатитомное издание «Педагогической академии».

Еще десять-двадцать лет дружной, упорной работы и Россия бесспорно вышла бы на дорогу окончательного преодоления того разрыва между «необразованностью народа и ненародностью образования», в котором славянофилы правильно видели основной грех русской жизни. К величайшему, лишь в десятилетиях поправимому несчастью России, этот оздоровительный процесс был сорван большевистскою революцией, что в своем заносчивом стремлении создать подлинно народную, рабоче-крестьянскую культуру, напялила на хмельную голову умницы Есенина ту марксистскую шляпу, которой ему уже в 1924-м году было некому поклониться в родной деревне:

Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу привет.

Широкая просветительно-педагогическая деятельность Москвы была, как оно всегда бывает, лишь одним из проявлений господствовавшего в столицах горячего, творческого подъема. Вспоминая те времена, удивляешься, с какою легкостью писатели и ученые находили и публику, и деньги, и рынки для своих разнообразных начинаний. Одно за другим возникали в Москве все новые и новые издательства и журналы. Одним из первых органов новой, аполитичной мысли, возникли «Весы», издаваемые и редактируемые выбившимися из колеи отпрысками серокупеческих, московских родов – Поляковым и Брюсовым. Богатейший меценат Поляков был по внешности типичным, неряшливо одетым

интеллигентом, с лицом, живо напоминавшим Достоевского. Брюсов же иногда выглядел форменным лабазником. Люди его внешности часто встречались за кассами охотнорядских лавок. В барашковой шапке и с фартуком поверх шубы, они с молниеносною быстротою подсчитывали на счетах огромные суммы за забранные московскими хозяйками товары.

В пику «Весам», находившимся под односторонним влиянием французских символистов, зародился на Пречистенском бульваре, против памятника Гоголя, определенно германофильский «Мусагет»; тут царствовали тени Гете, Вагнера и немецких мистиков. Главный редактор «Мусагета» Эмилий Карлович Медтнер, брат знаменитого композитора, подписывал руководимый им отдел «Вагнериана» псевдонимом Вольфинг.

В противовес обоим европейским, но отнюдь не западническим, в старом смысле этого слова, издательствам, сразу же выдвинулся на старые, но заново укрепленные славянофильски-православные позиции морозовский «Путь» с Булгаковым, Бердяевым и Трубецким в качестве редакторов и главных сотрудников. Позднее, уже, кажется, перед самой войной, появились в витринах книжных магазинов необычно большие желтые обложки «Софии», богато иллюстрированного роскошного журнала, ставившего своею задачею ознакомление русской публики с Россией 14-го и 15-го веков, «более рыцарственной, светлой, легкой, более овеянной ветром западного моря и более сохранившей таинственную преемственность античного и первохристианского юга». Наряду с этими, во всех отношениях высококачественными, идейными издательствами и журналами, начали появляться и более конъюнктурные органы – купечески-модернистическое «Золотое руно», формалистически выхолощенный петербургский «Апполон»

и, наконец, «На перевале», орган первой встречи старого натуралистического искусства с новым, модернистским.

Все эти издательства и журналы, не исключая даже и последних, не были, подобно издательствам Запада, коммерческими предприятиями, обслуживающими запросы книжного рынка. Все они осуществлялись творческим союзом разного толка интеллигентских направлений с широким размахом молодого, меценатствующего капитала. Поэтому во всех них царствовала живая атмосфера зачинающегося культурного возрождения. Редакции «Весов» и «Мусагета», «Пути» и «Софии» представляли собою странную смесь литературных салонов и университетских семинарий. Вокруг выдающихся мыслителей и выдвинувшихся писателей здесь собирался писательский молодняк, наиболее культурные студенты и просто интересующаяся московская публика для заслушивания докладов, горячих прений по ним и ознакомления с новыми беллетристическими произведениями и стихами.

В годы этой дружной работы облик русской культуры начинал видимо меняться. Провинциальная психология старотипного русского интеллигента, воспитанного на Чернышевском и Михайловском, начала постепенно перерождаться. Не только в столицах, но и в провинции начали появляться группы людей нового, углубленного и расширенного сознания. Параллельно с обновлением литературы шло обновление и русской живописи. Грязноватые по колориту, иллюстративно-тенденциозные картины «Передвижников» уже без боя уступали место воздушно-красочным, эстетически самодовлеющим полотнам «Мира искусства» и «Голубой розы». Крепли музыкальные дарования Скрябина, Рахманинова, Медтнера, Ребикова, Гречанинова, Лядова и других. На еще невиданные высоты поднимался театр.

Имена Станиславского, Дягилева и Шаляпина гремели на всю Европу. Могли бы греметь, если бы их сумели соответственно показать, и имена Ермоловой и Комиссаржевской.

С гордостью показывая в Европе свои достижения, Россия с радостью и свойственным ей радушием принимала у себя иностранных гостей. Еще недавно мой дрезденский коллега, сын знаменитого Артура Никиша, рассказывал мне, до чего его отец любил дирижировать в Москве. Он находил, что более чуткой, восторженной, но и требовательной публики нет во всем мире. Очевидно, мнение Никиша разделялось многими артистами Запада. Кто только не приезжал к нам? Не буду перечислять имен пианистов и скрипачей – имя им легион. Из актеров я видел в Москве: Дузе, Сарру Бернар, Сальвини, Тину де Лоренцо, Грассо, Моисси, Поссарта, Дюмон и др. Перед войной в Москву стали наезжать не только артисты, но также и писатели, художники и философы. Маринетти, Верхарн, Вернер Зомбарт, Герман Коген и др. читали научные доклады и художественные произведения.

Свидетельствуя о духовном здоровье России, в этом подъеме отчетливо намечались две линии интересов и симпатий: национальная и общеевропейская. С одной стороны, по-новому входили в жизнь тщательно изучаемые специалистами произведения Пушкина, Боратынского, Гоголя, Тютчева, Достоевского, Соловьева, музыка Мусоргского (на сцене Шаляпин, на эстраде Оленина Д'Альгейм), апокрифы в переработке Ремизова для «Старинного театра» и впервые по-настоящему оцененная русская иконопись. С другой стороны, переводились, комментировались и издавались германские мистики (Яков Беме, Эккехардт, Рейсбурх, Сведенборг), Эннеады Плотина, гимны Орфея, фрагменты Гераклита,

драмы Эсхила и Софокла, провансальские лирики 12-го века и французские символисты 19-го. Всего не перечислить.

В театрах и прежде всего на сцене Художественного театра в замечательных постановках шли Гамсун, Ибсен, Стриндберг, Метерлинк, Гауптман, Гольдони и другие; классики: Шекспир, Шиллер и Мольер никогда не сходили с русской сцены.

Что говорить, не все обстояло благополучно в этом подъеме русской культуры. В московском воздухе стояло не только благоухание ландышей, украшавших широкую лестницу морозовского особняка, в котором под иконами Рублева и панно Врубеля бесконечно обсуждались идеи «Пути» и «Мусагета», но и попахивало тлением и разложением. Несчастье канунной России заключалось в том, что в общественности и культуре цвела весна, в то время, как в политике стояла злая осень. Власть лихорадило: она то нерешительно отпускала поводья, то в страхе бессмысленно затягивала их. Не только революционерам, но и умеренным либеральным деятелям приходилось туго: всякого народного учителя поинтеллигентнее, всякого священника, не водившего дружбы с урядником, норовили перевести в город без железной дороги. Ясно, что трупный запах заживо разлагавшейся власти, отнюдь не столь злой и жестокой, как в те времена казалось, но уж очень беспомощной в делах государственного управления и окончательно безвольной, не мог не отравлять самых светлых начинаний предвоенных лет.

ВАГОНЫ РОССИИ

Вспоминая свои разъезды по России, вспоминаю прежде всего русские вагоны, совсем иные, чем в Западной Европе, как по выстукиванию колесного ритма, так и по господствовавшему в них настроению.

Кем-то из современных религиозных философов была высказана мысль, что русская душа не ценит крепкого домостроительства, так как всякий дом в этой жизни ощущает как станцию на пути в нездешний мир. Этой, правда, лишь отчасти верной мысли вовсе не противоречит тот факт, что во всяком русском поезде «дальнего следования» сразу же заводилась по-домашнему уютная жизнь: если всякий дом есть всего только станция, то почему бы и вагону не быть настоящим домом? Душою железнодорожной домашности был, как известно, чай. Боже, сколько выпивалось его между Москвой и Екатеринбургом, Москвой и Кисловодском – подумать страшно. Семейные ездили со своими чайниками, интеллигентам же одиночкам приносил чай истопник, у которого самовар у вагонной топки кипел круглые сутки. В свое время этот самовар никого не удивлял. А как – да простится мне эта эмигрантская сентиментальность – умилился я в 1928-м году, по пути в Двинск, увидав в латвийском по подданству, но русском по настроению поезде российский самовар. Право, он показался мне не самоваром, а добрым духом родного очага. Родным показался мне и истопник, принесший нам с женою по стакану крепкого, горячего чаю, какого в Европе нигде не дают. Никелевый подносик в черной, как ухват, руке и ломтик лимона на блюдечке – все это издавна заведенное и не отмененное новою властью – чуть не до слез растрогало нас с женою.

Вагонное чаепитие с обильными закусками и бесконечными разговорами длилось часами. Закуски и беседы бывали весьма разные. В первом классе не те, что во втором, в курьерском поезде иные, чем в пассажирском; менялись они также в зависимости от того, куда направлялся поезд: в Варшаву и дальше за границу, на кавказские воды или в Поволжье.

Самые изящные, самые «интересные» люди встречались, конечно, в поездах, несшихся к границе. Здесь,

в международных вагонах первого класса с клубным радушием быстро знакомились друг с другом; «звезды» свободных профессий, главным образом знаменитые либеральные адвокаты, переодетые в штатское и не умеющие носить его высшие военные чины, дородные актеры императорских театров, англизированные представители меценатствующего купечества и милые московские барыни, бредившие тургеневским Баден-Баденом, Парижем и Ниццею. В какой час дня ни тронулся бы поезд, через час-другой после его отхода во всех купе уже слышна оживленная беседа. На столиках у окон аппетитно разостланы салфетки, на них все сборное и все общее: золотистые цыплята, тончайшие куски белоснежной телятины, белые глиняные банки паюсной икры, слоеные пирожки в плетенках, темные, крутоплечие бутылки мадеры, чай, конфекты, фрукты – всего не перечислить…

Разговоры все те же: о преимуществе просвещенной Европы и о нашей темноте и отсталости. Талантливо витийствуют русские люди. Словно на суде развивают знаменитые защитники свои передовые взгляды. Как на сцене, отстаивают непочатую целину русского нутра необъятные телесами актеры. Летучими искрами отражается игра точек зрения в задорно-веселых женских глазах.

Как хорошо ехать в Европу: отдохнуть, полечиться, похудеть, повеселиться и погрешить.

В пассажирских поездах, шедших в провинцию, бывало совершенно иное настроение: люди казались здесь обыденнее и озабоченнее. По дороге в Пензу, Казань, Нижний, Саратов знаменитые адвокаты наскоро просматривали дела и подготовляли речи, фабриканты проглядывали доклады своих директоров, а актеры доучивали роли. Столичные же барыни, если не считать путешественниц по Волге, в провинцию вообще не ездили. Вагоны первого класса катились тут часто почти

пустыми. Во втором же, в последние годы мирной жизни, ездило уже много и серой публики: сапоги, картузы, поддевки, рубашки фантазии, суровые наволочки на подушках, зачастую корзинки и парусиновые мешки вместо чемоданов.

Помню, ехал я читать в Астрахань. Вагон попался старый, грязноватый и тускло освещенный свечами. В купе нас было четверо: плотный, осанистый батюшка, странный блондин, с бритым актерским, обиженным лицом и грузный, сивый человек в поддевке, насквозь пропахший рыбой, очевидно рыботорговец. С вечера никакого общего разговора не вышло. Поужинав селедкой и огурцом с черным хлебом – дело было постом – и выпив на сон грядущий стаканчик водки, рыботорговец сразу же полез на верхнее место спать. Мне не оставалось ничего, как последовать его примеру, так как и батюшка уже начал позевывать. Все мои спутники быстро заснули, мне же долго не спалось – кусали блохи и мутило от тяжелого рыбного духа.

Проснувшись позднее других, я застал компанию за чаем и водкой. Уловив несколько слов, я сразу же понял, что дело идет обо мне – кто, мол, такой? Блондин считал меня, очевидно, артистом, едущим в провинцию на гастроли, купец же – революционером-агитатором: «в портфеле все книги, бумаги». Я нарочно всхрапнул и тут же услышал соображения батюшки, что у революционеров «брюченки трепанные, а этот одет барином». «Эта шантрапа для отводу глаз новую моду выдумала, – отстаивал свое мнение купец, – ох, доиграются приятели», – прибавил он с ненавистью и, слышно было, громко чокнулся с блондином.

Я весело спрыгнул вниз, наскоро сбегал умыться, достал свои припасы, выложил их на столик и попросил налить мне стаканчик чаю. Несмотря на высказанное по моему адресу подозрение, купец радушно налил

мне стакан крепкого чаю и с нежностью вынул из моей корзинки пирожок с рисом и лососиной:

– А мы вот, – начал без промедления актеристый блондин, – интересовались тут, по какому поводу изволите разъезжать по провинции; я думаю, скорее всего музыкант, потому что длинные волосы актеру под парики неудобно, а вот они – подмигнул он в сторону купца – предполагают, что не иначе как по просветительной части.

– Так и есть – отвечал я как ни в чем не бывало – еду читать лекции.

– Значит моя правда – самодовольно ухмыльнулся рыботорговец, – явно обрадованный тем, что сразу узнал птицу по полету.

– А на какую тему читаете? – провокационно полюбопытствовал батюшка – скорее всего по земельному вопросу, или насчет кооперации?

– Напрасно подозреваете, батюшка – отвечал я иронически, – я еду читать две лекции: одну о славянофилах, а другую о божественном Платоне, которого во всех духовных академиях изучают.

– Ну, благо, благо, коли подлинно так, – произнес священник, очевидно не поверивший правдивости моих слов и честности моих лекторских намерений, – спору нет, ученье – свет, а неученье – тьма.

– А по-моему, батюшка, – решительно заявил купец, – никакого света в ученьи нет, а одно, простите меня, поджигательство. Я вот и без просвещенья в люди вышел, даже в большие – на промыслах сотнями тысяч ворочаю, а сына моего в университете до того просветили, что, как приехал на побывку, так одно только и твердит: «Ваши корабли сожжены, папаша». Ей-Богу, прямо поджигателем по дому ходит.

– Поджигателем, – с невероятною живостью и даже с каким-то восторгом отозвался вдруг всё время выпивавший блондин – это интересно, это очень даже весело.

– Да что ты, белены объелся – рявкнул на него торговец, – али сам ихнего жидовского, социалистического толку, чего ж тебе весело, что сын отца под палить собирается?

– Простите, – заторопился блондин, – я ведь не всерьез, так, к слову пришлось, потому что больше всего в жизни люблю пожары, особенно ночью…

Под вечер купец и батюшка вышли на какой-то большой станции. Оставшись наедине со мною, актер Солнцев, как на прощанье отрекомендовался мне любитель пожаров, разоткровенничался и с воодушевлением и страстью рассказал свою историю:

Сын сельского дьякона, он после поездки в Москву, где побывал в опере, бежал из духовной семинарии с мечтою учиться пению и попасть на сцену. «Голос у меня был – хвастался он с типичною провинциально-актерскою ухваткою – единственный, силищи непомерной, труба судная, и от природы поставленный, как у соловья. Одно меня сгубило – робость, боязнь публики. Я, поверите ли, у самого Шаляпина был, спрашивал, как бы это мне от своей проклятой робости избавиться. Он, спасибо ему, ободрил: голос, говорит, у тебя мой, шаляпинский, а чтобы не бояться публики, не смотри никому в глаза, бери глазом поверх голов. Как глаз выше публики поставишь, так ее себе под ноги и бросишь. У меня у самого это первое правило – всегда с поднятой головой пою. Пробовал я по его, по-шаляпинскому рецепту действовать, долго пробовал, да нет, не помогло. Пока тяну ноту вверх – выходит, а как вытянул – обязательно глазом в публику – хорошо ли, мол, спел – вижу у всех морды сонные, скучные. Верите ли, досада душит, голос сдает и чувствую, что вру, хоть со сцены беги. Так вот и прекратились ангажементы. Выпьемте, чокнемся. Хоть вы и по просвещению ездите, а я чувствую, что душа у вас наша, актерская.

– Ну, а теперь вы чем занимаетесь? – спросил я своего собеседника, не улавливая связи между его неудавшейся сценической карьерой и любовью к пожарам.

– Теперь-то? – откинулся он назад и грустно посмотрел на меня, – как вам сказать, занимаюсь пожарами.

– То есть как пожарами? – переспросил я – служите страховым агентом?

– Это тоже, только это не главное. Я, если уже говорить всю правду, как на духу, по трем линиям работаю: страхую, главным образом крестьян от огня, организую по деревням пожарные команды и, страсть моя – изредка, поджигаю.

– Как поджигаете?

– А вы обождите, не торопитесь, – заговорил он вдруг с какою-то новою серьезностью, как человек, глубоко продумавший свою мысль и твердо уверенный в своей правде – от моего поджигательства никому вреда нету. Поджигаю я только в крайнем случае, когда уж очень долго нигде не горело, так что душе невтерпеж становится. Поджигаю всегда двор, который сам же застраховал и которому, знаю, гореть выгодно. Но и против своего Общества у меня совесть опять-таки чиста: не будь моих команд, все сплошь бы горело. Сами видите – вреда никому нету, а мне не только удовольствие, а вся жизнь в этом. Набат – лечу впереди всех с факелом, командую, кричу; иной раз такую ноту возьму, что и Шаляпину не взять. Дерево, сено, солома – все как в аду полыхает; скотина как на бойне ревет; бабы, ребятишки пуще скотины отчаиваются, огненные языки небо лижут. Команда моя работает – любо-дорого смотреть. Знают ребята, что я после каждого выезда ведро водки выставляю. Да, – закончил Солнцев свою хмельную исповедь, – артист не может жить без восторга, я же говорю по совести, большего восторга

не знаю, как тушить пожары. Слышал, в старину были огнепоклонники – так вот я скорее всего ихнего толка.

Вспоминая поездки по России, не могу не рассказать о веселом возвращении из-за границы в 1912-м году. Разорившись на подарки, мы с женой ехали и по России в третьем классе. Вагон попался новый, почти пустой – кроме нас, в нашем отделении никого не было. На какой-то станции к окну подошла молодая баба с решетом грибов. Она так упрашивала купить грибы и отдавала их за такие гроши, что мы, в конце концов, пересыпали белые грибы, один другого мельче в, блаженной памяти, «Русские ведомости». Таких прекрасных грибов и таких честных газет уже давно нету во всем мире.

Масло было с собою, сковорода и спиртовка, на которой жена в Оренбурге готовила ужин – тоже. Конечно, зажигать в поезде спиртовку не дело, но в сущности ничего случиться не могло. Подумали, посомневались и решили немедленно позавтракать. И вот как раз перед тем, как снимать с огня вкусно пахнущую сковородку, осторожно открылась дверь и показалась плешивая, седая голова: на висках – старинные зачесы, на морщинистых щеках – бачки.

– Грибы жарите? – потянула большим ноздрястым носом странная голова – богатая идея. Если разрешите присоединиться, могу предложить вино и закуски. Да вы насчет кондуктора не извольте беспокоиться, обратился незнакомец к жене, выгонявшей полотенцем грибной чад в окно, я его знаю – за рюмочку, другую он вам не то, что грибы, а целого поросенка разрешит изжарить.

Заинтересованные незнакомцем (я лично и против закуски ничего не имел), мы охотно приняли его предложение. Не прошло и двух минут, как он снова появился в купе с большою корзиною в руках и тут же

начал деловито и ловко вынимать из нее удивительные вещи: ценные граненые чарки, тяжелые золоченые ножи и вилки с орлами, тарелки с короною и всякую изысканную снедь: жареных цыплят, паштеты, прекрасное бордо, дюшесы и сыры…

В чем дело? Что за человек? Вещи явно не его, но ощущает он их своими. И слишком тонкой и дорогой для всего его облика (полуформенные брюки с кантом и люстриновый пиджак) едой угощает с тороватым радушием барина-хлебосола.

Ларчик открылся неожиданно просто. Наш незнакомец оказался дворцовым лакеем. Человек от природы умный, наблюдательный, перевидавший по своей должности множество людей и потерявший к ним всякое уважение, он был весьма тверд в отстаивании своего глубоко-скептического миросозерцания.

– Не красть, – доказывал он мне с отеческою назидательностью, – при дворе, по крайней мере, никак невозможно, потому бессмысленно и даже неправильно. Если я задумаю не брать, меня свои же за несочувствие и предательство выживут. Семья моя окажется в бедности, миру же от моего самоуправства прибыли никакой не будет. Чего же, разрешите вас спросить, в том хорошего, что брать будет не честный человек для жены и детей, а какой-нибудь подлец-пьяница ради бессмысленного кутежа в угоду любовнице-потаскухе. А таких стрекулистов, да будет вам известно, за последнее время среди нашего брата много развелось.

На мои неуверенные за отсутствием всякой осведомленности в дворцовом обиходе, беспомощно-принципиальные возражения, придворный старичок словоохотливо отвечал все новыми и новыми рассказами о хищениях в дворцовом ведомстве. Он помнил еще последние годы царствования Александра II-го.

– Великой души был государь, но и его обманывали почем зря. Пожаловали их величество – может быть,

слышали, госпоже Уваровой имение в Крыму – а получила она пустырь да кустики. Тоже самое с драгоценными подарками: уж на что строг был Александр III-й, а и он не справлялся со своими чиновниками. Вместо жалованного на бумаге перстня с изумрудом, обсыпанного бриллиантами, получали обласканные им лица иной раз колечко с малюсеньким камешком в розочках. И тут, благородный молодой человек, вовсе не простое хищение, как вы может быть, полагаете, а вроде как свой закон, которого не переступишь. Во дворце все заведено спокон веку, даже конфеты на приемах со времен матушки Екатерины, все те же подаются и никакие революции тут ничего переставить не могут. Да-с. И цари под законом живут, даром что самодержцы.

В памяти еще много встреч, еще много странных, неожиданных бесед. Ехал я как-то в Царицын. Не успев дома как следует подготовиться, я за несколько часов до Царицына достал конспекты, книги и так углубился в свои мысли, что не заметил, как ко мне в купе подсел молодой человек. Как только я, кончив работу, вынул портсигар, молодой человек быстро чиркнул спичкой и поднеся ее к моей папиросе, нервно пересел поближе ко мне с явным желанием поговорить. Одет он был в ладно сшитое добротное купеческое платье, обут в мягкие офицерские сапоги.

– Вы, если не ошибаюсь, в наши Палестины – начал он без промедления свою атаку, указывая пальцем на мои книги, и на папку с моим именем – ждем с большим нетерпением. Афиши уже давно расклеены. Мне лично сейчас особенно важно послушать философа. В последнее время душа, знаете ли, в большом смущении. Карасев – представился он внезапно, вскинув на меня свои небольшие, тускло-темные и слегка раскосые глаза. – Может быть, слышали? В последнее время наше имя по всем газетам треплют, не исключая и столичных. Да, вот что родной братец наделал,

продолжал он, не дожидаясь моего ответа. Любил он ее, как я понимаю, до безумия, самый омут ее души любил, а убил, почем зря и при том в полной памяти. Что с ним приключилось – ума не приложу. Неужели такое с каждым стрястись может? Вот хотя бы завтра и со мною?

Дома у нас мрак, родители убиты, боятся на улицу выйти. Может быть, вы зашли бы к нам отобедать, утешить стариков, обелить их своим посещением в глазах нашего темного народа.

Последняя неожиданная просьба была произнесена с искреннею глубокою мукою, но одновременно с каким-то наигранным вывертом и даже форсом. Хоть и не хотелось мне идти обедать к Карасевым, я все же решил пойти; если бы я не пошел, мой странный знакомец жестоко разочаровался бы не только во мне, но и в философии, о которой имел весьма смутное представление, но которую страстно любил, как высшую точку просвещения.

На обеде, по-купечески тяжелом и обильном крепкими напитками, кроме несчастных и весьма смущенных стариков, явно не понимавших по какому собственно случаю сынок затеял пир, присутствовало еще несколько безмолвных существ, скорее всего близких родственников семьи.

Поначалу разговор совсем не клеился, но постепенно им завладел «брат убийцы», находившийся не только в подъеме, но даже в восторге. Не хватало только того, чтобы, подняв бокал, он произнес бы по случаю убийства братом своей любовницы сумбурную речь на Андреевскую тему: «стыдно быть хорошим».

Со мною он чем дальше, тем больше держался единомышленником-заговорщиком.

– Мы с вами, – шептал он мне на ухо, – всю глубину понимаем, а о них, что говорить, народ темный,

им человеческой жизни не надо, довольно и тараканьей, в кухне за печкой.

Не знаю, как сложилась судьба этого странного ценителя настоящей жизни, скорее всего революция и его, как таракана, растоптала своим сапогом. Но, может быть, она и вознесла его. Впоследствии, когда будет тщательно изучен личный состав большевистской партии, несомненно выяснится, что большое количество людей не пролетарского происхождения вошло в нее от той же тоски по углубленной жизни, хотя бы и на преступных путях, которая с малолетства мучила молодых Карасевых, как самого убийцу, так и его брата.

Есть в русских душах какая-то особая черта, своеобразная жажда больших событий – все равно, добрых ли, злых ли, лишь бы выводящих за пределы будничной скуки. Западные европейцы среднего калибра легко и безболезненно отказываются от омутов и поднебесий жизни ради внешнего преуспевания в ней. В русских же душах, даже в сереньких, почти всегда живет искушение послать все к чёрту, уйти на дно, а там, быть может, и выплеснуться неизвестно как на светлый берег. Эта смутная тоска по запредельности редко удовлетворяется на путях добра, но очень легко на путях зла. Такая тоска сыграла, как мне кажется, громадную роль в нашей страшной революции. Быть может, ради нее русскому народу и простится многое из того, что он натворил над самим собою и надо всем миром.

Роман Анны с Вронским начинается в поезде и кончается им. Под стук поездных колес рассказывает Позднышев в «Крейцеровой сонате» совершенно чужим ему людям об убийстве жены и мы чувствуем, что нигде, кроме как в поезде, он не смог бы исповедоваться с такою искренностью. Замерзшею рукою стучит Катюша Маслова в ярко освещенное окно вагона первого класса и, не сводя глаз с Нехлюдова, чуть не падая

бежит по платформе. «Дым, дым, дым» – развертываются в поезде скорбные раздумья Литвинова-Тургенева. Провожая жену своего приятеля и прощаясь с нею в вагоне, скромный герой одного из самых нежных рассказов Чехова, вдруг понимает, что он всю жизнь любил только ее и что с ее отъездом для него все кончается. В «Лике» Бунина тема блаженно-несчастной любви и творческих скитаний духа еще глубже и еще таинственнее сливается с темой той железнодорожной тоски, о которой пел Александр Блок:

Так мчалась юность бесполезная
В пустых мечтах изнемогая,
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая…

Да, было что-то в русских поездах, что, изымая души из обыденной жизни, бросало их «в пустынные просторы, в тоску и даль неизжитой мечты».

В таком отлетно-романтическом настроении, которого уже давно не знает Запад со своими короткими межстанционными перегонами, с непрерывностью человеческого жилья и труда за окнами, мешающими природе думать свою вековечную думу, и с несмолкаемыми коммерческими разговорами вездесущих коммивояжеров, несся я однажды лютою стужею вглубь России.

Я совсем было собрался уже спать, как, посмотрев на часы, вспомнил, что скоро будет та станция, верстах в десяти от которой два года тому назад снимал у обедневшего помещика небольшой флигель мой приятель, талантливый начинающий поэт. Вернувшись осенью в Москву из своей «добровольной ссылки», где собирался серьезно работать, он сразу же пришел ко мне и мы с ним всю ночь проговорили о его летнем романе, вернее о том, стоит ли ему в старомодных ямбах описывать встречу современного поэта («Быть может,

все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов») с прелестною провинциальною девушкой, уже обещавшей, по настоянию родителей, руку и сердце другому. К утру мы твердо решили, что писать второго Онегина не стоит и, выпивши крепкого кофе, пошли вверх по туманным, прохладным, еще не разметенным бульварам к розовеющему Страстному монастырю поклониться бессмертному Пушкину.

Как только поезд остановился, я вышел в коридор, почувствовал резкий удар холода по ногам и тут же увидел входящую, всю запорошенную снегом молодую женщину в темно-синей с серым барашком шубке-поддевке. Отпустив кучера, внесшего за ней два светлых кожаных чемодана, она сняла шапку, расстегнулась и медленно опустилась против меня на диван: купе сразу же наполнилось милым, домашним, женским теплом. «Она – Леля Остафьева», решил я с полною уверенностью и тут же с радостным волнением сообщил ей, что я уже давно с нею знаком.

Через час Елена Александровна, то и дело поднося платок к заплаканному лицу, не таясь, рассказывала мне о своей несчастной любви к поэту и о своем еще более несчастном, ненужном замужестве. Умолкая, она недоуменно вздергивала вверх свои тонкие брови и, словно прося помощи, с тоскою останавливала на мне по-детски доверчивый взор своих горячих, кротких глаз.

Волнуясь близостью открывающей мне свою душу женщины (душа и тело так тесно связаны друг с другом, что, говоря о любви, ни одна женщина не может не приоткрыть и своей женской тайны), я невольно делал все, чтобы вызвать в своей собеседнице ответное волнение. Сливая себя с «нашим» поэтом, ее неверным рыцарем и моим старым другом, я, как умел, утешал ее, рисуя драму сложных мужских душ, подвластных вдохновению и творчеству. Женщинам, даже и искренне любимым, такие люди, ораторствовал я, могут дарить

лишь мгновения, но мгновения, исполненные вечности. Будьте же счастливы тем, что в лёте летних дней и над вами пролетела вечная любовь. Умершая для жизни, она воскреснет в творчестве. Миг, вечность и полет таинственно связаны друг с другом. Разве бы вы, ничего не знающая обо мне, доверили бы мне свою тайну, раскрыли бы передо мною свое сердце, если бы не чувствовали, что за окном куда-то несутся бесконечные дали, если бы не знали, что к десяти часам утра мы уже навсегда расстанемся друг с другом.

Елена Александровна благодарно жмет мои руки. В ее глазах все еще слезы, но уже не те, беспросветные, что стояли в них два часа тому назад. Я взволнованно чувствую растроганность, открытость и встречность всего ее пленительного существа. Я горячо целую ее руки. Она не сопротивляется, быть может, ей грезится лето и ее милый, неверный, внезапно куда-то сгинувший друг…

Светает. Мы молча стоим у полузамерзшего окна. В мутном небе одиноко стынет медленно двигающийся сквозь легкие облака мертволикий месяц. По горизонту печально тянется мглистая прочернь нескончаемых лесов.

Да, поезда, России… Где-то сейчас милая Елена Александровна? Погибла ли на своей земле или, быть может, ждет на чужбине скорого возврата на родину? Вспоминает ли, слыша в сердце русский стук поезда, несшиеся перед нами почти тридцать лет тому назад сумрачные снежные дали? Вряд ли. Если же и вспоминает, то, конечно, не с тою тоскою, как я. Лицо России глубже сливается с женским лицом, чем с мужским. Наша же эмигрантская тоска вся о России…

ПРОВИНЦИЯ

В Нижний я приезжал обыкновенно очень рано, если не ошибаюсь, около шести утра. Зимними месяцами в этот час на предвокзальной площади бывало

еще совсем темно. Лошадиные морды, дуги, извозчичьи шапки лишь смутно чернели в туманной мгле. Даже широкая лента Оки, по которой ветреной стужей неслись легкие новгородские саночки с передками, в виде лебединой шеи, еле белела перед глазами. Над низовьем Канавина призрачно дрожало зеленовато-желтое марево далеких фабричных огней. На высоком берегу, по которому санки медленно подымались к кремлю, кое-где за занавешенными окнами светились огни. Здесь, в душно натопленных комнатах, просыпалось, вставало, крестилось и садилось за чай торговое население Нижнего. Кремль с его древними стенами, башнями, соборами, присутственными местами еще спал праведным сном. Только вороны тяжело перелетали с места на место по его чистым, белоснежным площадям. Спали еще и главные улицы торгового центра, по которым я резво подкатывал к Ермолаевским номерам, где останавливались все знатоки Нижнего Новгорода, несмотря на то, что недалеко от этих неказистых номеров красовалось большое, желтое здание гостиницы «Россия». Предпочитались Ермолаевские номера, в которых было всего только 14–16 комнат, из-за тишины и замечательной кухни.

Впервые приехав в Нижний, я остановился, как сейчас помню, в номере первом, в небольшой комнате с громадной печкой-лежанкой. Велев разбудить себя ровно в 10 часов, я быстро разделся и лег досыпать короткую вагонную ночь. Ровно в десять в дверь постучались. Я весело вскочил и отдернул шторы. За окном сиял синий, солнечный день. Под окном у подъезда, в ожидании тороватых седоков, попыхивали папиросами веселые, мордастые лихачи, дядя и племянник Шныревы, с которыми я впоследствии крепко сдружился. По другой стороне улицы проходили какие-то удивительные фигуры: купец ли, интеллигент ли, барыня ли

с попугаем на барашковой шапочке, малый ли из погребка – все здесь не то на самом деле было, не то мне казалось каким-то особенным, по-провинциальному милым и занятным.

Когда пожилой, опрятный «человек», приветливо внесший громадный самовар, французскую булку, масло и свежий номер «Нижегородского листка» с объявлением о моих лекциях, поговорив сколько полагается, почтительно удалился утиною походкой многих половых, я налил себе стакан крепкого чаю, достал свои расчерченные цветными карандашами конспекты и в радостном чувстве полноты и подъема жизни сел их просматривать.

К двум часам меня ждал к себе председатель нижегородской Секции гигиены, воспитания и образования доктор Грацианов. Поднявшись по чисто вымытой и устланной пестрою дорожкою, но все же слегка попахивающей отсутствием канализации, небольшой, отлогой лестнице, я оказался в памятной мне интеллигентски-поповской квартире доктора: фикусы, ломберные столы между окнами, по крашеному полу половички, обитый коричневой клеенкой «гигиенический» диван, обеденный стол в углу, вокруг него простые венские стулья, но зато на нем – разгул хлебосолья. В противоположность Германии, которая нарядно живет, но скромно питается, в России и в убогой обстановке ели талантливо. Волга с ее рыбными богатствами особенно способствовала развитию этого таланта.

Длинноруко вымахавший себя мне навстречу Грацианов оказался типичным земцем, либералом, неугомонным деятелем «с идеей и направлением». Представив меня своей жене, преподавательнице женской гимназии, круглолицей, мягкотелой Мелании Павловне, и ее коллеге, выдающемуся математику Мурашову, мясистому, кудрявому паучку с очками-лупами на почти совсем

слепых глазах, Грацианов шумно и весело подвел нас к столу. Потрясывая чуть седеющею, козлиною бородкою над неустанно катающимся кадыком, Грацианов с плутоватым видом рассказывал мне, что раздул секцию чуть ли не в народный университет на основании «малюсенькой запятой».

– Как врач, – посмеивался он, – я получил разрешение на устройство лекций по вопросам гигиены воспитания и образования, только и всего. Но согласитесь, что гигиеной, хотя бы и гигиеной воспитания, нашей русской жажды образования не утолить. Вот я и рискнул потихонечку вставить после гигиены малюсенькую запятую. Так оно и получилось: секция по вопросам гигиены – раз, по вопросам воспитания – два, по вопросам образования – три. По таким трем рубрикам все, что угодно, провести можно и кого угодно выписать. Препятствий со стороны местных властей, слава Богу, пока не встречаю, смотрят сквозь пальцы. Рад, очень рад вас послушать, в «бюро» очень хвалят, говорят «из молодых да ранний»…

Похвала, что греха таить, была мне в те времена весьма приятна. Хотелось не ударить лицом в грязь.

Подготовлен я был тщательно, но меня беспокоила невозможность, хотя бы приблизительно, представить себе, какая вечером соберется публика. Я никак не мог решить, надо ли читать так, как я читал в Москве, в открытом заседании Религиозно-философского общества, или скорее на уровне Пречистенских рабочих курсов.

За послеобеденным чаем я попросил Грацианова рассказать мне, что за народ ходит на лекции. Его рассказ не облегчил моего положения, скорее наоборот – усилил мое волнение. Оказалось, что на всякого нового лектора поначалу из любопытства собираются все, со временем же у каждого создается своя аудитория, у одних – большая, у других – малая.

Вернувшись в номер, я еще раз просмотрел свой конспект, отложил его в сторону и, повернувшись лицом к стульям, окружавшим овальный стол, начал громко и внятно свою лекцию. Я решил читать как можно более просто, но по существу ничего не упрощать.

В Нижнем я пришелся ко двору. У меня быстро создалась большая и верная аудитория. Ее отличительною чертою была как социологическая, так и психологическая пестрота. Сразу же утратив некоторых слушателей разных лагерей из-за трудности моих лекций, я не утратил ни одного лагеря. На все мои лекции до конца ходили как народники, так и марксисты, как представители свободных профессий, так и сормовские рабочие, как весьма пожилые люди, так и учащаяся молодежь.

Часто читая в Нижнем, я мало-помалу перезнакомился со всеми более или менее интересными людьми среди своих слушателей. Как всюду, так и в Нижнем, русская интеллигенция жила тесными идеологическими кланами. Отношение между кланами носило своеобразно-мистический характер нераздельности, но и неслиянности. Основною формою этого общения был нескончаемый идейный спор. Большой веры в возможность переубедить друг друга ни у кого не замечалось, тем не менее никому не приходила в голову мысль о прекращении бесцельных словопрений. Вспоминая («Мои университеты») о П. Н. Скворцове, гордившемся тем, что он не читал никаких книг, кроме «Капитала» Маркса, Горький не в шутку, а вполне серьезно называет Скворцова одним из лучших знатоков марксизма, не понимая того, что ученый, не читавший ничего, кроме Маркса, не может быть хорошим знатоком марксизма, а в лучшем случае лишь узким марксистским начетчиком. Не зная ничего о Скворцове, я не могу сказать, мог ли этот глава марксистского кружка, в котором

в 89–90-х годах вращался Алексей Максимович, еще жить в Нижнем во время моих наездов туда. Дух его был во всяком случае жив. Помню, что меня не раз возили на какие-то чаи, где уже исчезнувшие из моей памяти люди, гордые тем, что они никогда не читали романтиков, мистиков, церковников и других «обскурантов» с сектантской страстностью и начетнической эрудицией хором доказывали мне вредность моих эклектически-беспринципных лекций. Представительницей марксизма в легальной нижегородской прессе была женщина-врач Бродская, иронически называвшая меня в своих рецензиях «сладкоголосою сиреною» и всячески старавшаяся скомпрометировать мое «левизною приправленное, реакционно – славянофильское миросозерцание» в глазах передового нижегородского общества. Совсем иначе отнеслись ко мне в народнических кругах, где еще жили воспоминаниями об эпохе Короленко и недолюбливали Горького. С особою благодарностью и даже нежностью вспоминаю Настасью Петровну Ульянову, у которой был дважды в гостях: бедно обставленная комната, чайный стол со скромною закуской, за столом хозяйка, уже седеющая женщина с очень умным и очень русским лицом толстовского склада и еще несколько тихих, симпатичных гостей. От всей дружной «идейной» семьи веяло теплотой и грустью: один из сыновей Ульяновой только что ушел в ссылку. Не думаю, чтобы Настасья Петровна разделяла все те религиозно-философские взгляды, которые я тогда проповедывал. Не думаю также, чтобы ее очень интересовал мой курс об основных проблемах эстетики Возрождения, концепцию которого я вывез из своей поездки в Италию. И все же Настасья Петровна меня не только как-то оценила, но даже и полюбила. До сих пор у меня хранятся подаренные ею «Исторические

письма» Лаврова, с трогательною подписью: «Да хранит Господь Бог вашу светлую голову от тины житейской». Как у всякого писателя, на моих книжных полках стоит много книг с автографами, но ни одна из них меня почему-то так не радует, как потрепанная серенькая книжечка с этими умилительно старомодными словами, начертанными четким, мелким почерком.

Кроме широкого слоя лево-партийной интеллигенции, в Нижнем существовала и небольшая группа так называемых «неоправославных». Из них наиболее интересным был А. С. Волжский-Глинка, к которому я как-то зашел знойным летним днем, чтобы поговорить о его статье «Около чуда», только что появившейся в посвященном Толстому сборнике «Пути», который я рецензировал в «Логосе». Жил Волжский, как мне помнится, в деревянном сереньком домике, стоявшем в негустом саду. Не застав его дома, я решил подождать, пока он вернется с купания. Вернулся он в таком виде, что хоть опять в воду: красный, обливающийся потом, с расстегнутым воротом парусиновой толстовки. Подали квас, Волжский пил стакан за стаканом, все время утирая свое потное, бородатое, обрамленное поповскими волосами лицо большим купальным полотенцем.

Настоящего философского разговора не вышло, помешала жара. Всё, что осталось в душе от посещения Волжского, как-то слилось с тем благодатным ощущением жизни, о котором главным образом и шла речь в его статье о Толстом:

«Глубоко, глубоко, – писал Волжский, – врос этот огромный гений корнями своими в родную почву, в самое сердце земли. Он весь почвенный, землистый, душистый, корневой, красочный, зеленый и развесистый. Влажный чернозем на ласково пригревающем солнышке. В вышине лазурные дали, в глубине, в пахучей божьей земле божьи семена и для божьих же человеков».

Таким же жарким летним днем был я на даче у молодого учителя Мишенькина. Мишенькина я заметил на первой лекции и сразу же прилепился к нему.

Люди публичных выступлений, артисты, ораторы, лектора, хорошо знают, до чего важно иметь среди слушателей надежные опорные пункты. Как бы выступающий ни был уверен в себе, в минуты утомления им неизбежно овладевает ощущение, что аудитория начинает скучать и уходить от него. В такие минуты ему и необходимо почувствовать живую связь с аудиторией, хотя бы в лице двух, трех внимательных слушателей. Таким офицером связи я и прикомандировал к себе на первой же лекции Мишенькина. Очень красивый брюнет с внешностью Спасителя со страдальческой складкой на лбу, бессменно одетый в черный двубортный пиджак, он, положа ногу на ногу, скромно и неподвижно сидел с краю, неподалеку от кафедры и, не смотря на меня, не сводил взора с предмета моей лекции.

Приехал я к Мишенькиным к раннему обеду. Приняли они меня так просто и радушно, как мало знакомых людей принимают, кажется, только в славянских странах. Накормили чудесною, янтарною ухой и крупною душистою клубникой. После обеда мы пили чай с вкуснейшим сладким пирогом. Спасибо Мишенькиным за привет и старание. За чаем душевно разговаривали о том, о сем. Потом гуляли над Волгою, дышали необъятными земными и небесными далями, под вечер сидели на крылечке, любовались закатом, жгли костры от комаров и уже по-настоящему, вплотную беседовали о христианстве и просвещенстве, о России и революции, о Москве и провинции, об учительском призвании и о трудностях провинциального учительствования.

Уехал я очень поздно, с последним пароходом, в радостном ощущении, что познакомился с настоящими людьми, интеллигентами новой формации, которые

и Бога не отрицают, и культуру любят, и социальной справедливости жаждут. Смущало только некоторое уныние Мишенькина, какая-то грустная сумрачность его образа. Думаю, что он был очень одинок и что ему было непосильно пробивать себе дорогу среди ведущих сил России – клерикального черносотенства и атеистически-революционной интеллигентщины.

Одним из видных православных реакционеров был в Нижнем доктор Н., который меня долго мучил своими письмами. Репутация у моего корреспондента была не важная: ханжа, черносотенец, карьерист. Мишенькины с ним не были знакомы и удивлялись тому, что я вожусь с ним.

Ханжой и черносотенцем доктор Н., человек, судя по письмам, тяжелый, одинокий и очень самолюбивый, из породы русских самоистязателей, думается, не был, но казаться таковым он мог. Трагедия доктора заключалась в том, что, не нуждаясь в молодости в Боге, чтобы любить людей и помогать им, он, придя к своим пятидесяти годам к Богу и церкви, потерял всякий интерес к людям: «Объясните, – писал он мне, – почему я, некогда народник-идеалист, горевший жаждою помощи ближнему, теперь свидетельство о смерти ловчусь не выдать, пока не зажму трешницы в кулаке, а в церковь хожу и даже практики не могу начать не перекрестившись». Что я отвечал доктору – не помню, помню только мучение, которое я испытывал, отвечая ему. Для настоящего ответа у меня в 27 лет еще не было ни жизненного опыта, ни духовной зрелости. В живом разговоре я, быть может, и нашел бы какое-нибудь нужное доктору слово, но разговора угрюмый, бледный, рыжий доктор очевидно боялся. После лекции он каждый раз быстро здоровался со мною и уходил, не позвав к себе.

Описывая своих нижегородских слушателей, я невольно спрашиваю себя, для кого пишу, кому могут

быть интересны быстрые зарисовки почти мимолетных встреч, кроме меня самого? Но потом утешаю себя мыслью, что господствующий не только в математике, но и в жизни закон бесконечно большого значения бесконечно малых величин, быть может, поможет моим читателям выяснить себе духовный облик дореволюционной провинции и то, чего она ждала и даже требовала от лектора.

Мое отношение к философии заставило профессора Виндельбанда, как я рассказывал выше, указать на то, что его личные убеждения не являются предметом университетских занятий. Россия, в особенности провинциальная, такого разграничения личной и общественной философии не признавала. От философа, как, впрочем, и от всякого общественного деятеля, она требовала личных убеждений, почему и завязывала с ним личные отношения. Глубоко личные вопросы ставил мне не только очерствевший в Боге доктор, ставили их и приходившие в Ермолаевские номера поговорить со мною о воспитании детей матери и жены, запутавшиеся в брачной жизни, и молодые люди, ищущие смысла жизни.

Смешно подумать, но даже на каком-то гимназическом балу, куда меня затащили мои слушатели, какая-то весьма энергичная ученица старшего класса, «убежденная индивидуалистка», взволнованно доказывала мне, что я, защищающий начала личности и свободы, обязан пойти к ее отцу и убедить его, что он не смеет препятствовать ей строить свою жизнь по собственному разумению. Требование было предъявлено с такой страстностью и нравственною серьезностью, что мне пришлось познакомиться с родителями моей клиентки и сделать все возможное, чтобы добиться от отца разрешения отпустить дочь в Москву на Высшие курсы.

Как ни много давали мне лекции, устраиваемые Грациановской запятой, большее нравственное

удовлетворение я получал от своего преподавания на губернских и уездных учительских курсах. Слушателями были почти исключительно учителя и учительницы, большинство которых съезжалось в Нижний из разных медвежьих углов. Настроение (у молодых, в большей степени, чем у старых, и у женщин в большей степени, чем у мужчин) было праздничное: в «храм науки» трудовая интеллигенция верила с такою же страстностью, с какой отрицала церковь. Татьянин день, день основания Московского университета, был ее престольным праздником. Читал я на учительских курсах в радостном ощущении того, что воля и вера моих слов действительно доходят до внимательной и восприимчивой аудитории, чувствующей мою любовь к ней. По окончании лекций «благодарные слушатели» поднесли мне адрес, составленный в очень теплых выражениях, и серебряный бокал с изображением оленьей головы и выгравированною под нею трогательною надписью.

Идейные нижегородцы, вроде Настасьи Петровны и Мишенькиных, не раз давали мне деликатно понять, что я напрасно отдаю часть своего времени недостойным меня, по их мнению, людям: всяким разбогатевшим на купеческих хлебах юрисконсультам, околачивающимся около нервных барынек врачам, снобистическим купчикам с артистическою жилкою, актерам, служившим у Медведева, одним словом тому буржуазному гнезду, главными представителями которого считались дружившие друг с другом дома присяжного поверенного Лунина и эффектнейшего по внешности женского врача Струнского, сводившего с ума всех своих пациенток. В этих благожелательных намеках бесспорно была некоторая доля правды. Не обедай я у Луниных, не ужинай я у Струнских, не езди я вместе с Вовкой Блюменталь-Тамариным, талантливейшим актером и талантливейшим кутилой, за город, я, конечно, сделал бы

для дела просвещения гораздо больше того, что сделал. Но, во-первых, я был молод и жаден до всех впечатлений жизни, а во-вторых, я отнюдь не был «идейным русским интеллигентом». Органически чуждый как всякому фанатизму, так и всякому фарисейству, я с большим удовольствием проводил вечера после лекций то у одних, то у других знакомых; рассказывал о загранице, спорил о постановках Художественного театра, слушал цыганские романсы, читал стихи и наслаждался тем оживлением, которое вносил в общество. Как-то на войне, во время веселой пирушки один из товарищей по бригаде, в мирной жизни ученый-экономист, до слез смеясь над каким-то моим рассказом и утирая глаза, сказал мне: «Ах, Федор, Федор, какой бы из тебя вышел ученый, если бы ты родился заикой!»

Помню свой последний отъезд из Нижнего. Приехав задолго до отхода поезда на вокзал, я стоял у открытого окна своего вагона и разговаривал с провожавшими меня слушателями, среди которых был и доктор Грацианов с женой и Мурашовым. Вдруг в дверях буфета первого и второго классов появилась веселая компания Луниных, Впереди, откинув назад свою красивую голову, не без торжественности выступал доктор Струнский, с большим покрытым салфеткой подносом в руках; на подносе пенились бокалы с шампанским. Около доктора суетились два лакея с запасными бутылками подмышкой. Шествие направлялось к моему вагону. Я вопросительно и смущенно взглянул на Грацианова: такой «Паратовский», волжский, апофеоз моей просветительной деятельности был бы все же почти неприличен. Грацианов спросил кого-то, в чем дело, и, приподнявшись на цыпочках к моему окну, успокоительно произнес: «В этом же вагоне едет Плевицкая; пела она вчера, говорят, замечательно: стулья ломали. Вот наши жеребцы и пришли провожать».

Раздались бурные аплодисменты. Голова Плевицкой появилась, к моему удивлению, в окне соседнего купе. Струнский, уже издали заметивший меня, поднес первый бокал Плевицкой, второй мне и, представив меня Надежде Васильевне, попросил у нее разрешение перейти «философу» в ее купе. «В одной раме удобнее чествовать наших знаменитостей». Вставив меня с Плевицкой «в одну раму», Струнский, слава Богу, забыл обо мне.

К веселой компании за те четверть часа, которые оставались до отхода поезда, вероятно, пристало довольно много никому неизвестных, случайно находившихся на вокзале людей. Во всяком случае, количество поднятых после третьего звонка бокалов показалось мне что-то уж очень большим.

Свисток. Поезд трогается, раздаются возгласы: «Спасибо, спасибо, никогда не забудем, приезжайте скорее опять».

Когда платформа исчезла из глаз, я, откланявшись, собрался было вернуться в свое купе, но Плевицкая, познакомив меня со своим мужем, маленьким невзрачным человеком, и со своим восточного вида аккомпаниатором Зарембой, предложила посидеть вместе. Я охотно согласился на предложение знаменитой песельницы, о сказочной карьере которой (деревенская нищета, монастырь, выступление на Нижегородской ярмарке, случайная встреча с Собиновым – и в результате всероссийская известность чуть ли не в три месяца) я уже много слышал от своего приятеля, артиста Малого театра Ленина.

Посидев с нами с полчаса, муж Надежды Васильевны выдал ей, что меня очень поразило, три рубля на ужин и завалился на верхнюю полку спать. Поначалу я больше говорил с Зарембой. Плевицкая, думая о чем-то своем, как будто рассеянно прислушивалась к нашим

голосам. Но вдруг она с живостью, свойственной всему ее существу, спросила меня, какую я науку читаю. Я ответил, что философию.

– Философию, – повторила она и помолчав прибавила. – Что такое философия я, по правде сказать, не очень знаю, но только философа я себе не таким представляла, как вы. Думала, почему-то, что все они старые, бородатые, очкастые и пальцем перед носом грозят. – И она забавно приставила палец к своему носу. – Так что же это такое ваша философия, расскажите, авось, пойму.

Я начал рассказывать просто, но серьезно. Она слушала очень внимательно, повороты и переходы моей мысли ясно отражались в ее умных глазах под слегка наморщенным лбом.

– Очень вы хорошо рассказываете, чаще такое бы слушать, оно и петь можно было бы лучше; ведь я в темноте выросла… и хорошо вы со мной говорите. Сейчас мужчины за мной, как слепни, увиваются, всем я нужна, а никому до меня дела нету. А вы до души внимательны и легко с вами. Может, зашли бы как-нибудь ко мне, очень буду рада еще поговорить с вами.

Таких близких отношений с аудиторией, как в Нижнем, у меня в других городах не создалось, да по редкости моих выступлений в них и не могло создаться. По два раза я выезжал только в Астрахань и Царицын, читая каждый раз по 2-3 лекции. В остальных же городах я читал по одному разу.

Народ на лекции всегда собирался охотно, слушали во всех городах внимательно, читалось легко. Наиболее живо во мне впечатление от Астрахани. Поначалу ужасное, к концу приятное.

Приехал я в Астрахань под вечер. Снял номер в мрачноватой гостинице. Поужинав, я только что сел за просмотр своего конспекта, как ко мне постучался

жирный, грязный швейцар и, нагло подмигнув, спросил, не привести ли мне «гимназисточку», есть «охочие». Получив отказ и не получив на чай за усердие, он вышел явно разочарованный и недовольный.

Встав на следующее утро довольно рано, я решил пойти осмотреть город и первым делом направился к гавани: грязь, толчея, крик, запах рыбы, керосина и всякой тухлятины; оборванные русские крючники, плосколицые, скуластые монголы (калмыки, киргизы, татары), шустрые черные евреи, потные нечесаные вихры, заломленные картузы, тюбетейки на бритых головах, китайские косы, ушастые шапки и котелки в муке, живописные восточные халаты, рубахи, пиджаки – во всем дикий, пестрый перевал из Европы в Азию, размашистая торговля и ужасающая нищета.

«Что мне делать и как тут читать?» – думал я, стоя перед громадною афишей, оповещавшей астраханцев о моей лекции.

За день мои сомнения, однако, рассеялись. По дороге к присяжному поверенному Сацу, брату известного композитора Московского Художественного театра, к которому был приглашен обедать, я убедился, что не все кварталы Астрахани этнографически столь пестры и живописны, как гавань. Так как Сац жил недалеко от музея, в котором я должен был читать (центральное место было в нем отведено экспонатам по рыбоводчеству и рыболовству и городской библиотеке), я решил зайти и туда и сюда и хорошо сделал, так как меня там уже поджидали. Здесь Астрахань повернулась ко мне своею другою стороною. Музейный зал оказался весьма приличным помещением, библиотека – хорошо составленным идейным учреждением. Выходя из библиотеки, я уже знал, что в городе есть живая, интеллигентная публика и что лекции охотно посещаются не только служащими, но и передовыми рабочими Нобелевских котельных заводов.

Милая, радушная, многими нитями тесно связанная с Москвой семья Сацов подтвердила мне полученные в музее сведения. После славного обеда, начавшегося с пресной, крупной седой икры, которую здесь ели не чайными ложками, а десертными, я ушел в гостиницу и обласканным и обнадеженным.

Собравшаяся вечером в большом количестве публика вполне оправдала вызванные во мне надежды. В ней не было той социально-политической напряженности, того интеллигентского нерва, которые, в связи с борьбою короленковцев и горьковцев, определяли собою психологию нижегородской аудитории, но все же в ней чувствовалась живая тяга полуазиатской провинции к далекой Москве с ее концертами, театрами и лекциями.

Кто, собственно, устраивал астраханские лекции, я не знаю; помню только, что я все время был окружен семьею Сац, двумя рыбопромышленниками, из которых один был весьма православным, старозаветным русаком, а другой весьма светским, щегольски одетым красавцем-армянином и еще «пресным моряком», т. е. начальником водной дистанции, веселым человеком, типично русско-офицерской выправки, но балтийско-немецкого происхождения. Думаю, что эти весьма разнотипные люди и были членами астраханского лекционного комитета. Если это предположение верно, то роли ясно распределялись следующим образом. Сац был идейным руководителем всего дела, рыбопромышленники – довольно прижимистыми финансистами, а начальник водной дистанции – прекрасным администратором, способности которого я оценил на веселом вечере, устроенном им после лекции.

Как всё в довоенной России, так и провинциально-лекционные организации были всюду разными, мало похожими друг на друга. Всё зависело от случайного

подбора общественных работников, от характера местной полицейской власти, от наличия подходящего помещения и от целого ряда других, неуловимых причин.

В Царицыне могла бы развернуться настоящая работа, но что-то этому мешало. Уже почти достроенный Народный дом осиротело замер в лесах. Кто-то, помнится, мне его показывал, что-то мне о нем рассказывал, но так безучастно, что у меня в памяти ничего не осталось.

В Казани я читал в университетской аудитории; в, первом ряду сидели профессора: отец и сын Васильевы и молодой историк, фамилию которого я забыл. Было много студентов и курсисток – уровень аудитории был выше, чем в Нижнем, не говоря уже о других городах. Читая, я жалел, что не учел того, что Казань университетский город, в котором можно было бы читать глубже и строже, чем в других городах Поволжья. После лекции в Казани во мне снова усилилась мечта об университетской карьере. Философ Васильев, представитель «логистики» в философии, вскоре после моей лекции посетил меня в Москве и начал сотрудничать в «Логосе».

Прощаясь с Волгой, не могу, грешный человек, не вспомнить моих частых обедов на пристани: белые пароходы, белые чайки, перламутровые стерляди с зеленой петрушкой во рту, желтые ломтики лимона, золотистый «Haut-Sauternes» в стакане, солнечные полуденные блики по всей шири реки – ах, как хорошо было! И не потому только, что у меня вся жизнь была впереди, а потому, что в жизни было меньше зла и безумия, чем теперь.

Очень отрадное впечатление осталось у меня от Пензы. На вокзале меня и мою мать, которая иногда ездила со мной, встретил весьма франтоватый гимназист восьмого класса. В легком крене фуражки, в белых

замшевых перчатках в левой руке, в офицерском растопыре пальцев у козырька «головного убора» было нечто подчеркнуто военное. «Откуда это?» – подумал я, здороваясь со щеголем. Проводив нас в гостиницу, Николай Димитриевич Волков, впоследствии дельный театральный критик, автор интересной монографии о Мейерхольде и сценария «Анны Карениной», показ которой Московским Художественным театром на Всемирной Парижской выставке в 1937 году произвел на меня, несмотря на некоторые недостатки спектакля, громадное впечатление, – учтивейше пригласил нас отобедать у его родителей. Идя к Волковым, я думал, что попаду в какой-нибудь реакционно-чиновничий дом. Предположение это оказалось, однако, ошибочным. Недалекий путь от гостиницы к Волковым привел нас в типично интеллигентский дом зажиточного присяжного поверенного, где, кроме хозяев, нас уже ждали административно высланный экономист Громанн, занявший впоследствии крупный пост в Советской России, и философ Богданов, близкий немецким эмпириокритицистам, социал-демократ. Наружность Волкова-сына оказалась таким образом не наследственною, а скорее полемическою: протестом четкого юноши 20-го века против внешней и внутренней ватности людей 19-го века.

Уже первая лекций прошла с большим успехом. Отец Волков говорил, что на вторую придет больше народу и прием будет еще теплее. Он не ошибся. Аудитория психологически была ближе к нижегородской, чем к астраханской. Думаю, что если бы не война, у меня с пензяками сложились бы такие же сердечные отношения, как с нижегородцами.

В Пензу я приехал с моей матерью; страстно привязанная ко мне, она делала все, что могла, чтобы не только издали следить за моей жизнью, но, несмотря

на то, что я был уже вторично женат, как можно интенсивнее участвовать в ней. Мысль, что я в качестве ученого и лектора все глубже врастаю в совершенно незнакомый ей мир и знакомлюсь с большим количеством людей, остающихся ей неизвестными, была для нее непереносима. По ее мнению, она, родившая и вскормившая меня, главное же, взявшая против желания отца на свою личную ответственность отправку меня заграницу для изучения философии, имела неотъемлемое право стяжать вместе со мной «мои лавры».

Думая о Пензе, я с удовольствием вспоминаю свои беседы с горячим, остроумным и пленительным Громанном и мое утреннее посещение Богданова: его благородную, красивую голову и его мягкую и толерантную манеру спорить. Вспоминаю я, наконец, и чистенькую, кругленькую старушку в деревянном домике дикого цвета, у которой мы с матерью покупали знаменитые пензенские платки. Боже, каким миром веяло от ее маленькой комнатки со множеством темных, старых икон в углу и большим шкафом, доверху набитым белоснежными, пушистыми платками, – от ее живых глаз в добрых морщинках и быстрых пухлых рук, которыми она любовно развертывала перед нами свои изделия, цену которым она очень хорошо знала и цепко отстаивала.

Поездка в Николаев-Херсонский была моею первою поездкой на юг России. До поездки этот юг был для меня лишь отвлеченным географическим понятием. Живого представления об Украине, как об особом лице России, я не имел. Гоголь был для меня таким же русским писателем, как и Тургенев. Ничего существенного в том, что один родился в Сорочинцах, а другой в Орле, я не видел. Ясно, что у каждого писателя своя родина – над чем же тут задумываться.

Особую украинскую атмосферу я впервые почувствовал в Харькове, куда заезжал, чтобы переговорить

с Лезиным, предлагавшим мне сотрудничество в его журнале «Вопросы психологии и философии».

Когда же я, после многочасовой езды в затхлом, прокуренном вагоне, с грязными, сбитыми парусиновыми чехлами, вышел в Полтаве на тишайшую вечернюю прохладу и глубоко затянулся густым и благоуханным, как липовый мед, воздухом, я вдруг почувствовал, что въехал в мир гоголевской «Диканьки», в тот

Край, где нивы золотые
Испещрены лазурью васильков,
Среди степей – курган времен Батыя,
Вдали стада пасущихся волов,
Обозов скрип, ковры цветущей гречи
И вы, чубы, остатки славной Сечи.

В третьем томе своей «Истории моего современника» Короленко рассказывает об одной «определяющей минуте жизни», пережитой им в северной России: «Когда он, студент, ушел, меня вдруг охватило какое-то особое ощущение глубокой нежности… ко всей деревне с растрепанными под снегом крышами, ко всей этой северной, бедной природе с ее белыми полями и темными лесами, с сумрачным холодом зимы, с живою весеннею капелью, с замаенною душой ее необъятных просторов… Судьба моя сложилась так, что это захватывающее чувство мне пришлось пережить на севере. Случись такая же минута на моей родине, Волыни, или на Украине, может быть, я почувствовал бы себя более украинцем».

Какое было бы счастье, если бы украинцы чаще переживали «определяющие минуты жизни» на севере России, а великороссы – на Украине. Без такого переселения душ, населяющим Россию народам никогда не устроиться на своей великой и обильной земле: ненависти всюду тесно.

Возможно такое «переселение душ» и без путешествий. Достаточно путешествий по далям русской литературы, не оставившей не воспетым ни одного медвежьего угла России.

В Воронеже я познакомился с замечательным стариком, который, годами сидя в своем стареньком, кожаном кресле, исколесил за книгой все «дали и веси» шестой части света. Проживал он в здании кадетского корпуса, но был не учителем, а чиновником военного ведомства. О том, что для этого одинокого человека значила книга, современный человек вряд ли может себе даже и представить. Для воронежского книголюба было ясно, что глубина и полнота жизни целиком заключается в литературе. Реальная же жизнь представляет собою только сырой материал и бледный отсвет творчества. Жить – значило для него читать и разговаривать о прочтенном. Боже, до чего же он был счастлив, когда мы сидели с ним в его казенной комнате и разговаривали о современных писателях и поэтах, из которых он особенно чтил Сологуба. В выпущенном впоследствии Сологубом томе «Письма современников» помещено и письмо этого словолюба.

Ясно, что такие читатели, а их было немало в довоенной России, в некоторой степени порождались убогостью нашей общественной и политической жизни, как ею же порождался и изумительный театр. Но совсем еще неясно, какая жизнь более убога: та ли, что, будучи бедной большими политическими событиями, богата творчеством, или та, что громоздя политические события, убивает искусство. Тезис Шпенглера, что главенство политики является типичным признаком вырождения культуры, как будто бы подтверждается происходящими на наших глазах событиями.

Думаю, что я был единственным московским лектором, который читал в Туркестане. Объясняется это тем,

что мой отец одно время жил в Коканде: вводил там столовое хлопковое масло, которое вырабатывалось на принадлежавшей его родственнику фабрике на Кавказе.

Гордый моими лекторскими успехами и очень скучавший по своим, он решил устроить мне ряд лекций в Туркестане. Оплату дороги он брал на себя, так что культурно-просветительным ячейкам Кокана и Ташкента осталось только заплатить мне небольшой гонорар. Читал я «О драмах Леонида Андреева» и «О смысле жизни». Публики было немного; охрипший в дороге, я читал с трудом, отец был несколько разочарован. В Ташкенте лекция не состоялась.

Как все колониальные города, Коканд распадался на старый, сартский, и на новый, европейский, город. В европейском даже и менее состоятельные дельцы жили на широкую ногу; в азиатском и богатеи, на европейский взгляд, без больших удобств.

Отец жил в небольшой, очень светлой, застланной коврами квартире в лучшей части европейского города. При нем в качестве повара и лакея состоял татарин Махмед, соединявший в себе все лучшие качества старорежимного денщика: он ухаживал за своим барином с трогательною преданностью, пронюхивая и добывая в городе все лучшее, что только можно было добыть. В саду, под развесистым деревом, он соорудил деревянную площадку с шатром, где очень страдавший от жары отец спал в особо жаркие ночи. Впоследствии, когда отец открыл новое дело в Москве, он привез с собою и своего верного Махмеда, который, однако, с матерью не ужился и, к величайшему прискорбию отца, решил вернуться на родину.

Старый Коканд представлял собою сплошной базар, прорезанный прикрытою от солнца брезентами и устланною перед некоторыми лавками прекрасными восточными коврами, темноватой улицей. Жизнь

и торговля этого базара совершались у всех на глазах, так как, в отличие от Станиславского, боровшегося за «четвертую стену» в театре, сартские купцы и ремесленники прекрасно обходились без нее даже и в жизни. Лавочки и мастерские лепились одна рядом с другой, как открытые сцены, на которых в пестрых халатах и тюбетейках, не обращая ни малейшего внимания на уличную жизнь, занимались своими делами живописные сарты. Поначалу мне было очень странно проезжать старым городом. Казалось, что едешь не по улице, а по какому-то большому квартирному коридору.

Однажды я зашел побриться к сартскому парикмахеру. Натерев мне щеки каким-то едким порошком и побрив их с быстротою молнии, он, в завершение операции, внезапно схватил мою правую руку и с такою силою завел ее за спину, что я невольно подумал, как бы он мне ее не вывихнул; проделав то же самое с левой рукой, он дружески потрепал меня по плечам, что очевидно означало, что все кончилось, как нельзя лучше, и что я должен быть им весьма доволен. Что означал этот неожиданный массаж, я до сих пор не знаю.

Хуже парикмахерской операции был обед у старого сарта, с которым отец вел какие-то дела. На этом обильном и чинном обеде мне пришлось впервые руками есть невероятно жирный, приторно-слащавый плов с большими кусками вонючего, курдючного сала. Впрочем, не могу жаловаться, так как за перенесенные за обедом муки я был вознагражден подаренным мне шелковым халатом и тюбетейкою, которые впоследствии имели большой успех на маскараде в доме Маргариты Кирилловны Морозовой.

Уже по дороге в Коканд, стоя у открытого окна спального вагона и с удивлением смотря на молящихся восходящему солнцу сартов в белых халатах, с воздетыми к небу руками, на нагруженные пестрою кладью

арбы, на очаровательных серых осликов у белой станционной стены, на вытянувшихся в караванную цепь верблюдов, мерно колыхавших вдали свои трудовые горбы, я чувствовал, до чего необъятна Россия, до чего разнообразна и живописна она и до чего мы ее в сущности мало знаем. За время почти что месячного пребывания в Туркестане моя зачарованность отнюдь не колониально-чужеродной, а какой-то своей, почвенной экзотикой России еще усилилась во мне.

Хотя я на Кавказе и не читал лекций, но, рассказывая о своих разъездах по России, никак не могу умолчать о нем, так как он произвел на меня очень сильное впечатление, гораздо большее, чем Швейцария. В Швейцарии, трудолюбиво возделанной умными человеческими руками, прорезанной по всем направлениям железными и шоссейными дорогами, пронизанной туннелями и тесно застроенной городами, деревнями, отдельными крестьянскими дворами, главным же образом, назойливыми гигантскими отелями, в которых «роскошные виды на вечные снега» расценивают как «comfort moderne» и повышают цены на комнаты, давно уже не чувствуется того Божьего Слова, о котором говорится в книге Бытия. Кавказ же в дикости своей природы, в первобытности своего населения еще таит живые следы Его созидающей мощи. Эта первозданность чувствуется и в его аулах – не то гнездах, не то норах – и в исполненных гордости и дикости орлиных взорах горцев, медленно пробирающихся на своих сухих, горячих скакунах по каменистым тропам родных ущелий.

Поселились мы с женой в местечке Цеми (между Боржомом, и Бакурьянами) в маленьком домике, который сдавал на лето станционный сторож, похожий на Риголетто, сам с женой и детьми перебиравшийся в сарай. Всё лето стояла царственно прекрасная погода:

бархатные синие ночи, густо рассыпанные по небу крупные, лучистые звезды, немолчный шум водопадов в покрытых дремучим лесом горах – все это было до того величественно, что было жалко идти спать. Утром же солнце заливало мир такою веселою, бодрящею радостью, что мы уже в шесть, семь часов покидали нашу, лишь слегка затемненную кисейными занавесками комнату.

Восход солнца на Цхра-Цхаро остался в памяти самым значительным изо всех когда-либо виденных мною явлений природы. Стоя в то незабвенное утро на лысой вершине горы и наблюдая, как ощупью пробивающееся из предмирной ночи солнце окрашивало серо-мглистые ползущие и клубящиеся туманы и облака в радужные цвета, а затем торжественно, возлагая свои пламена на снежные вершины горной цепи, пробуждало от сна мир, наполняя его все новыми и новыми формами, я испытывал непередаваемое словами чувство присутствия при сотворении мира.

Увидя у себя под ногами живописно расположенный у сине-стального озера аул, мы решили спуститься к нему; нам казалось, что до него будет не более пяти-шести верст. Идти пришлось, однако, около восьми часов. По пути нас чуть не разорвали громадные овчарки: спасибо пастуху, который послал подпаска проводить нас до аула. В ауле мальчонок свел нас к каким-то добрым людям. Разговаривать мы с ними не могли, но все же нам удалось объяснить им, что мы голодны и должны к вечеру вернуться в Цеми, или хотя бы в Бакурьяны. Нас радушно напоили молоком, накормили хлебом и брынзой. После завтрака совсем еще не старая женщина, очевидно мать юной красавицы, прислуживавшей за столом, подвела нас к большим сундукам, в которых были аккуратно сложены женские наряды. Улыбаясь, кивая на дочь и вынимая одно платье за другим,

все расшитые шелками и бусами, она очевидно хотела нас поразить богатым приданым дочери. Мы хвалили, как умели, улыбались, кланялись, словом всячески выражали свое удивление и восторг. Дочь смотрела на нас смущенным ласковым взглядом и, не участвуя в показе, медленно расчесывала свои прекрасные черные волосы.

Что это была за деревня, какого племени были обе женщины и почему они показывали нам свои богатства, я не знаю. Помню только, что деревня находилась на такой высоте, что в ней, как нам рассказал возница, который нас поздно вечером привез в Бакурьяны, не все знали, что представляет собою дерево.

Сказочность кавказской жизни проявлялась во всем: по утрам наша хозяйка с доисторическим глиняным кувшином круто спускалась к шумевшей неподалеку от нас горной речке, чтобы на весь день запастись водой, мы же шли за покупками.

Деревенский пекарь без рубахи, в одних шароварах, быстро скинув чувяки, ловко опускался головою вниз в своеобразную печку-цистерну, чтобы отодрать с ее раскаленных круглых стенок плоские чуреки, на вкус почти что московские калачи. Нагруженные теплым, душистым хлебом, густыми сливками, янтарным маслом, почти приторно ароматными дынями, нежнейшими, словно покрытыми лиловым лаком баклажанами и крупными яйцами, мы возвращались домой и садились пить чай на террасе.

Много гуляя, мы иной раз забирались в какие-то доисторические дебри, где поросший мохом вековой бурелом громоздился иной раз выше неохватных деревьев, придавая лесной глуши таинственный мифический характер. На закате мы часто любовались нашей соседкой, красавицей-грузинкой, которая, стоя, подобно античной богине в запряженной двумя волами ладье, медленно скользила по кругом разложенным золотым

снопам пшеницы. По вечерам, когда живший по соседству скрипач, похожий на Шопена, играл на скрипке, к его балкону задумчиво подходил усталый от ярма громадный черный буйвол и, подняв кверху голову, внимательно слушал музыку своего поработителя – человека.

Так медленно и благостно катились наши кавказские дни. И вдруг все переменилось. Сидя как-то утром у себя на террасе, мы увидели двух направляющихся к нам молодых людей типично артистической наружности. Подойдя ближе, они с грацией сняли свои загнутые спереди a la Napoleon панамы, вынули изо рта американские трубки и, назвав свои фамилии, по очереди склонили свои головы над «ручкой» Наталии Николаевны, с тою особою, небрежно-требовательною почтительностью, что свойственна, кажется, только русским актерам.

Молодые люди оказались учениками петербургской театральной студии Озаровской. Приехав на Кавказ «без лишних денег в кармане», они решили подобрать «небольшую, но чистенькую труппу» и провести ряд спектаклей на кооперативных началах. Всю организационную работу они брали на себя, обещая в случае материальной неудачи, представлявшейся им абсолютно невозможной, покрытие дефицита без моего участия.

Встретив меня несколько дней тому назад на прогулке, они сразу же решили, что я или актер или «первоклассный любитель»: «человек с таким лицом не может быть чужд сцене». Ставили они вещь, по их словам, «вполне серьезную», переводную драму Свэн Ланге «Самсон и Далила». Мне предлагалась главная роль писателя Крумбаха, сильная и сложная, требующая тонкого психологического анализа и «нерва».

Сцена меня с юности волновала, свободного времени у меня было много, выучить роль в несколько дней

мне тогда ничего не стоило; просмотрев интересную пьесу, я, недолго думая, согласился на предложение. Наташа ехала, конечно, с нами в качестве гримерши и суфлера.

Назначенная через несколько дней репетиция прошла удачно. Ученики Озаровской были вполне на высоте. Не бездарной оказалась и моя партнерша, бросившая сцену ради быстро бросившего ее мужа, молодая, преждевременно увядшая женщина с ласковыми, ланьими глазами в прочерненных туберкулезом орбитах. В гриме она молодела и становилась красавицей.

Ввиду того, что первый спектакль в Цагверах и второй в Бакурьянах прошли с аншлагом, мы решили показаться в «столичном» Боржоме, где был маленький, но довольно приличный театрик. Имя известной «сказительницы» Озаровской делало свое дело.

Спектакль и в Боржоме прошел весьма удачно. Зал был почти полон изысканной курортной публики. Нас вызывали много и дружно. Премьерше были преподнесены цветы.

Окрыленные успехом, мы решили сыграть еще и в Сураме. Приехав туда на рассвете, мы сразу же отправились в городской сад посмотреть театр и решить, можно ли будет в нем отдохнуть с дороги, или надо направляться в гостиницу.

Театр оказался запертым. Но на площадке перед ресторанной террасой сидела за столом, заставленным бутылками и стаканами, компания военных; среди них особенно запомнился мне моложавый, седоусый генерал, затянутый в щегольскую черкеску. Перед кутившей, очевидно уже с вечера, компанией, стояло несколько пластунов танцоров: лихие папахи, широкие груди в патронах, перетянутые серебряными поясами осиные талии. Дробью рассыпалась зурна; монотонно и все же лихо неслись ритмы лезгинки. Танцоры, сильно накренившись вперед, с отброшенными назад, параллельно

земле руками, с такою быстротою перебирали по земле ногами, что, казалось, они плавно несутся над ней. Круг, другой, потом прыжок легкий, мягкий, хищнически пружинный, и снова плавное скольжение: победа над тяжестью тела и притяжением земли.

Не помню, чтобы я когда-нибудь так наслаждался танцем, как в Сураме.

Конечно, мы тут же познакомились с офицерами и, по приглашению генерала, подсели к их столику. Его превосходительство был, очевидно, очень доволен: еще бы, молодые, интересные женщины, актеры, люди искусства, кто бы лучше нас мог понять его артистический восторг.

Когда пляска была окончена, генерал подозвал пластунов к столу, угостил вином и, вручив каждому по серебряному рублю, отпустил с миром.

Прощаясь с нами до вечера и с особою нежностью склоняясь седыми усами к руке нашей премьерши, генерал весело говорил:

– Посмотрим, чем-то вы нас обрадуете, уверен, что будет прекрасно и что сурамцы не посрамят Кавказа: покажут себя тонкими ценителями искусства.

Цветов на спектакле было много, господа офицеры постарались, но публики, принимавшей нас очень тепло, было меньше, чем на предыдущих спектаклях. Нас это не очень огорчало, так как все расходы были с избытком покрыты.

Выше, в связи с рассказом о Туркестане, я уже говорил о том новом ощущении России, которое он породил во мне; наше трехмесячное пребывание на Кавказе окончательно закрепило это ощущение. Лишь набравшись воздуха наших экзотических окраин, я реально восчувствовал имперскую великодержавность России, которая до тех пор была для меня пустым звуком в громком титуле государя императора. Как это важно воочию увидеть:

все не виданное своими глазами неизбежно остается и недопознанным для нашего ума. Недаром «теория» в исконном греческом смысле этого слова значит – созерцание.

Сейчас, когда явно колеблется, а многие думают, что уже и рушится великая Британская Империя, становится невольно страшно и за Россию. Сумеет ли она после падения большевистской власти столь мудро сочетать твердость государственной воли с вдумчивым отношением к духовным и бытовым особенностям ведомых ею народов, чтобы оказаться достойной владеть просторами, в которых не заходит солнце? Представить себе только: на севере – несутся запряженные оленями или лайками легкие саночки, на востоке – медлительно, но споро несут тяжелые клади переваливающиеся верблюды; на юге, в ярме работают черные буйволы. И все это не в колониях и доминионах, а лишь в разных частях единого материкового океана.

Какое счастье дышать такими далями. – «Мы русские – какой восторг» (Суворов) – но и какой соблазн!

Глава VII
РОССИЯ НАКАНУНЕ 1914 ГОДА

По-настоящему описать «канунную» Москву, значит написать историю русской культуры. Зная, что всякая память субъективна, я все же верю в относительную объективность своих воспоминаний.

У Бориса Зайцева довоенная Москва – иконостас за синью ладана, у Андрея Белого – зверинец, «преподнесенный» в методе марксистского социологизма. Беловской, во всех отношениях несправедливой переоценки всех ценностей, нам, эмигрантам, опасаться не приходится, опаснее впасть в лирическую умиленность.

Ближе познакомился я с философскою и литературною Москвою на заседаниях Религиозно-философского общества имени Владимира Соловьева в доме Маргариты Кирилловны Морозовой. Председательствовал обыкновенно по-гимназически остриженный бобриком, пунцоволицый, одутловатый, Григорий Алексеевич Рачинский, милый, талантливый барин-говорун, широко, но по-дилетантски начитанный «знаток» богословских и философских вопросов. Боязнь друзей, что «Рачинский будет бесконечно говорить», создала Григорию Алексеевичу славу незаменимого председателя: по заведенному обычаю, председателю полагалось лишь заключительное слово. Свое принципиально примирительное резюме Григорий Алексеевич всегда произносил с одинаковым подъемом, но не всегда с одинаковым талантом. Нередко он бывал по-настоящему блестящ, но иногда весьма неясен. Зависело это от состояния его нервной системы, которую он временами уезжал подкреплять в деревню. По обе стороны Рачинского, за длинным, покрытым зеленым сукном столом рассаживались члены президиума. До чего памятны их облики!

Вот крупный, громоздкий, простонародно-барственный князь Евгений Николаевич Трубецкой, уютный, медленный, с детскими глазами и мукой честной мысли на не слишком выразительном квадратном лице. Рядом с князем, незаметный на первый взгляд, Сергей Николаевич Булгаков, похожий, пока не засветилась в глазах мысль и не прорезалась скорбная складка на лбу, на земского врача или сельского учителя; несмотря на такую скромную внешность, выступления Булгакова отличаются самостоятельностью и глубиной ума. Думаю, что вклад этого мыслителя, принявшего впоследствии священнический сан, в сокровищницу русской культуры окажется, в конце концов, более значительным, чем многое написанное его современниками. Но говорить о Булгакове-богослове, об отце Сергии Булгакове – мимоходом нельзя. К тому же эта тема выходит за пределы моего повествования. Значение Булгакова предвоенной эпохи заключалось, главным образом, в его эволюции от марксизма к идеализму и в попытке христианского пересмотра основ политической экономии. В 1910-м году вышли его «Философия хозяйства» и его перевод известного политико-экономического труда Зейпеля. Одновременно он писал и по вопросам искусства. В его вышедшем в 1914-м году сборнике «Тихие думы» очень интересны две связанные друг с другом статьи: одна о «Бесах» Достоевского, другая о Пикассо. Связь между статьями – в мысли, что Пикассо изображает плоть природы так, как ее, вероятно, видел Ставрогин.

Особенно видною фигурою за зеленым столом являлся философский спутник Булгакова, Бердяев. Оба начали с марксизма, оба эволюционировали к идеализму и вот оба горячо защищают славянофильскую идею христианской культуры, – строят, каждый посвоему, на Хомякове, Достоевском и Соловьеве русскую

христианскую философию. По внешности, темпераменту и стилю Бердяев – полная противоположность Булгакову. Он не только красив, но и на редкость декоративен. Минутами, когда его благородная голова перестает подергиваться (Бердяев страдает нервным тиком), и успокоенное лицо отходит в тишину и даль духовного созерцания, он невольно напоминает колористически страстные и всё же духовно утонченные портреты Тициана. В горячих глазах Николая Александровича с золотою иронической искрой, в его темных, волнистых почти что до плеч волосах, во всей природе его нарядности есть нечто романское. По внешности он скорее европейский аристократ, чем русский барин. Его предков легче представить себе рыцарями, гордо выезжающими из ворот средневекового замка, чем боярами, согбенно переступающими порог низких палат. У Бердяева прекрасные руки, он любит перчатки – быть может в память того бранного значения, которое брошенная перчатка имела в феодальные времена.

Темперамент у Бердяева боевой. Все статьи его и даже книги – атаки. Он и с Богом разговаривает так, как будто атакует Его в небесной крепости.

Подобно Чаадаеву, писавшему, что он почел бы себя безумным, если бы у него в голове оказалось больше одной мысли, – Бердяев определенный однодум. Единая мысль, которою он мучился уже в довоенной Москве и которою будет мучиться и на смертном одре, это мысль о свободе[16]. Многократно меняя свои теоретические точки зрения и свои оценки, Бердяев никогда не изменял ни своей теме, ни своему пафосу: как марксист, он защищал экономическое и социальное раскрепощение масс, как идеалист – свободу духовного творчества от экономических баз и идеологических

---

[16] Книга писалась еще до войны. Бердяев умер в 1948 году.

тенденций, как христианин он с каждым годом все страстнее защищает свободное сотрудничество человека с Богом и с недопустимою подчас запальчивостью борется против авторитарных посягательств духовенства на свободу профетически-философского духа в христианстве. На исходе средневековья Н. А. Бердяев, несмотря на свое христианство, мог бы кончить свою жизнь и на костре.

В президиум Религиозно-философского общества входил и рано умерший Владимир Францевич Эрн. Непримиримый враг немецкого идеализма и в частности неокантианства, Эрн сразу же после выхода в свет первого номера «Логоса» гневно обрушился на нас объемистою книгою под названием «Борьба за Логос». В этой книге, как и в своих постоянных устных и печатных полемически-критических выступлениях против нас, логосовцев, Эрн упорно проводил мысль, что апологеты научной философии, оторванные от антично-христианской традиции, мы не имеем права тревожить освященный евангелием термин, еще не потерявший своего смысла для православного человека.

Думаю, что в своей полемике Эрн был во многих отношениях прав, хотя и несколько легковесен. В его живом, горячем и искреннем уме была какая-то досадная приблизительность.

В кресле, вблизи зеленого стола, а иногда и в первом ряду среди публики, обыкновенно сидела хозяйка дома и издательница «Пути», княгиня Елагина 20-го века; Маргарита Кирилловна Морозова. Не могу сказать, чтобы я очень близко знал Маргариту Кирилловну, и все же память о ней с годами все крепнет в душе. Может быть, потому, что, вспоминая свое последнее перед высылкой из России посещение этой замечательной женщины, не пожелавшей эмигрировать, я невольно чувствую, что в советской Москве пока еще жива и моя Москва.

Несколько лет тому назад я, не подозревая, что младшая дочь Маргариты Кирилловны живет с мужем в Берлине, заметил ее в числе своих слушателей на докладе о театрах Москвы. На следующий же день я зашел к ней. На стене просторной комнаты – портрет работы Тропинина. На концертном рояле – Пастернаковский набросок дирижирующего Никиша, за спиной дирижера колонны и антресоли Благородного собрания, нынешнего Дома советов. Рядом с ним фотография Скрябина (хорошо знакомое по эстраде тонкое, нервное лицо) и еще несколько своих московских вещей, – сиротствующих в Берлине мигов прошлого.

Пьем чай, разговариваем обо всем сразу: Мария Михайловна, лицом и манерами очень напоминающая мать, говорит больше вздохами, восклицаниями, отрывочными вопросительными фразами, радостными кивками головы: «ну, конечно… мы с вами знаем…» Вспоминаем нашу Москву. В Марии Михайловне, слава Богу, нет и тени злостной эмигрантщины. Она и в советской Москве чувствует хоть и грешную, но все же вечную Россию. После чая она садится за рояль и долго играет Скрябина, Медтнера, Калинникова. В моей душе поднимается мучительная тоска. Странно, тоска – голод, а все же она насыщает душу.

В Москве шли споры о серьезности духовных исканий Маргариты Кирилловны, о ее уме и о том, понимает ли она сложные прения за своим зеленым столом. Допускаю, что она не все понимала (без специальной философской подготовки и умнейшему человеку нельзя было понять доклада Яковенко «Об имманентном трансцендентизме, трансцендентном имманентизме и дуализме вообще»), но уверен, что она понимала всех.

Издательница славянофильски – православного «Пути», она с сочувственным вниманием относилась и к нам, логосовцам. Помню, как мне удалось вызвать

в ней симпатию к нашим замыслам указанием на то, что мы отнюдь не отрицаем ни Бога, ни Христа, ни православия, ни русской традиции в философии, а требуем только того, чтобы философы перестали философствовать одним «нутром», чтобы они поняли, что нутряной «style russe», отмененный Станиславским на сцене, должен исчезнуть и в философии, так как философствовать без знания современной техники мышления – нельзя.

Связав, так думается мне, мои мысли с не раз слышанными ею аналогичными мнениями Белого, которого она очень ценила, и других новаторов символистов, она вполне примирилась и с нами. Между «путейцами» и «логосовцами» вскоре установились прекрасные отношения. Не знаю в точности, но думаю, что Маргарита Кирилловна, многое объединяя в себе, не раз мирила друг с другом и личных и идейных врагов.

Одно время большую роль в Соловьевском обществе, открытые заседания которого происходили не у Маргариты Кирилловны, а в больших городских аудиториях, играл вдохновенный оратор, ныне всеми забытый Валентин Свентицкий.

Речи Свентицкого носили не только проповеднический, но и пророчески-обличительный характер. В них было и исповедническое биение себя в перси и волевой, почти гипнотический нажим на слушателей. Женщины, причем не только фетишистки дискуссионной эстрады, которых в Москве было не мало, но и вполне серьезные девушки, сходили по Свентицкому с ума. Они его и погубили. Со слов Рачинского знаю, что до президиума Соловьевского общества дошли слухи, будто бы на дому у Свентицкого происходят какие-то, чуть ли не хлыстовские исповеди-радения. Было назначено расследование и было постановлено исключить Свентицкого из членов общества.

Был ли он на самом деле предшественником Распутина, или нет, занимался ли он соборным духоблудием, или вокруг него лишь сплелась темная легенда, которая сделала невозможным его членство в обществе, я в точности не знаю. После исключения Свентицкого из Религиозно-философского общества я потерял его из виду. Прочтенная мною впоследствии его повесть «Антихрист» произвела на меня впечатление не только очень интересной, но и очень искренней вещи. Драма «Пастор Реллинг», написанная позднее, показалась мне вещью гораздо более слабой и искусственной, но все же отмеченной своеобразным талантом.

Одним из самых блестящих дискуссионных ораторов среди московских философов был Борис Петрович Вышеславцев, приват-доцент Московского университета, живший в Париже и работавший в секретариате женевской Экуменической лиги.

Юрист и философ по образованию, артист-эпикуреец по утонченному чувству жизни и один из тех широких европейцев, что рождались и вырастали только в России, Борис Петрович развивал свою философскую мысль с тем радостным ощущением ее самодовлеющей жизни, с тем смакованием логических деталей, которые свойственны скорее латинскому, чем русскому уму. Говоря, он держал свою мысль, словно некий диалектический цветок, в высоко поднятой руке и, сбрасывая лепесток за лепестком, тезис за антитезисом, то и дело в восторге восклицал: «поймите… оцените…»

Широкая московская публика недостаточно ценила Вышеславцева. Горячая и жадная до истины, отзывчивая на проповедь и обличение, она была мало чутка к диалектическому искусству Платона, на котором был воспитан Вышеславцев. Среди большой публики у нас были весьма серьезные знатоки и ценители самых

разнообразных явлений культуры от Апокалипсиса до балета, но серьезных знатоков философии было немного даже среди профессиональных философов; вероятно, это объясняется сравнительно невысоким уровнем русской научной философии. Ни Пушкина, ни Толстого, ни Тютчева, ни Мусоргского среди русских философов нет.

Не помню ни одного заседания в Москве, на котором не выступал бы Андрей Белый. Все выступления этого злосчастного почти гения, о котором речь еще впереди, раскрывали перед слушателями древнебиблейский ландшафт: «земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою», и тем неизбежно хаотизировали всякую дискуссию.

Морозовский особняк в Мертвом переулке, строгий и простой, перестроенный талантливым Желтовским, считавшим последним великим архитектором Палладио, был по своему внутреннему убранству редким образцом хорошего вкуса. Мягкие тона мебельной обивки, карельская береза гостиной, продолговатая столовая, по-музейному завешанная старинными иконами, несколько полотен Врубеля и ряд других картин известных русских и иностранных мастеров, прекрасная бронза «empire», изобилие цветов – все это сообщало вечерам, на которые собиралось иной раз до ста человек, совершенно особую атмосферу красоты, духовности, тишины и того благополучия, которое невольно заставляло забывать революционную угрозу 1905-го года.

Вспоминая и не без волнения описывая предвоенную Москву, Религиозно-философское общество, морозовские вечера, лекции и прения в редакциях и издательствах, я невольно спрашиваю себя: не преувеличиваю ли я значение нашей канунной культуры.

Германия до 1933-го года была полна всевозможных религиозных, философских, художественных и политических кружков. В каждом, более или менее значительном городе были общества имени Канта, Шопенгауэра, Фихте, Гёте, Шиллера, Клейста, Моцарта, Вагнера и т. д., и т. д. За годы эмиграции я прочел в этих обществах более трехсот докладов. Некоторые из этих обществ, как например: «Пан Европа» графа Куденгоф-Калерги, или «Культурбунд» принца Рогана, имели свои отделения почти во всех европейских странах. Читал я много и в венских и берлинских литературных салонах, где собирались образованнейшие и умнейшие люди. Конечно, можно усомниться, не являет ли описанная мною московская жизнь на фоне европейской культуры скорее образ духовной скудости, чем богатства? Мой ответ, да простят мне его мои европейские, главным образом, мои немецкие друзья, вполне определенен: отнюдь нет. Конечно, русская культурная жизнь была менее разветвленной, чем европейская, но мне кажется, что она в некотором смысле была духовно более напряженной.

Идя по стопам очень своеобразного и глубокого датского богослова Киркегаарда, немецкая философия 20-века создала весьма существенное и распространенное ныне понятие «экзистенциальной» философии, наиболее значительными, представителями которой являются Гейдеггер и Ясперс.

Сущность положительной экзистенциальной философии заключается, говоря по необходимости весьма упрощенно, в обновлении старого убеждения, что полнота истины открывается человеку не как отвлеченно мыслящему субъекту, а как целостно, т. е. религиозно живущему существу. Ясперс так и формулирует: «То, что мы в мифических терминах называем душою и Богом, именуется на философском языке экзистенциальностью и трансцендентностью».

Сравнительно позднее окрепшая на западе в борьбе с идеалистическою метафизикой, экзистенциальная философия была в России искони единственною формою серьезного философствования. Если отвлечься от некоторых, в общем мало оригинальных явлений университетского философствования, то можно будет сказать, что для русского мыслителя, как и для русского человека вообще, философствовать всегда значило по правде и справедливости устраивать жизнь, нудиться Царствием Небесным, что и придавало всем философским прениям тот серьезный, существенный и духовно напряженный характер, которого мне часто не хватало в умственной жизни Западной Европы.

Была и еще одна, не менее важная причина серьезности и напряженности русской духовной жизни. Она заключалась в том общем уважении, которым наука, искусство и даже театр пользовались в русском образованном обществе, в особенности в кругах молодежи. Упорство, с которым дочери московской и петербургской знати (смотри «Записки революционера» Кропоткина), а впоследствии и «кухаркины дети» пробивали себе путь к высшему образованию, носило характер подлинного героизма. В своих воспоминаниях («Из моей жизни за 40 лет») Тейтлин сообщает, что, согласно Талмуду, неуч, «ам-гоо-рец», не может попасть в Царствие Небесное. Наша молодежь рвалась к свету знания с такою силою, как будто ей было известно это учение.

Правда, попав в университет, в долгожданное царствие небесное, левые русские студенты зачастую уже на втором курсе переселялись в тюрьмы. Измены избранному пути в этом переселении, однако, не было, так как они понимали науку не профессионально, не как методику и технику обособленных сфер знания,

а экзистенциально, сущностно, как высшую духовную жизнь, как разрешение «роковых вопросов», – как практику истины.

О теневых сторонах интеллигентской и студенческой революционности я уже говорил, и буду говорить еще много. Не надо, однако, забывать и о светлых: об одержимости всей русской интеллигенции платоновской верою, что политику должны делать философы. Низвержение монархии, которым заключилась Великая война, было не чем иным, как победою революционного университета над реакционными министерствами. Тем, что плоды этой победы, несмотря на участие в Февральской революции всех слоев общества, в конце концов достались вождям лево-интеллигентской кружковщины, объясняется как грандиозный размах русской революции, так и все несчастье русского народа. Окажись в победителях армия и земство, мы имели бы совершенно другую картину; быть может, менее значительную, но зато и бесконечно более отрадную.

Превратившись в последние годы своей жизни, если и не в большевика-коммуниста, то все же в интеллигента-коммуноида, А. Белый весьма односторонне изобразил начало века, как эпоху разложения феодально-буржуазного общества. Конечно, не все было благополучно в нашей старой жизни, но все же нет сомнения, что наряду с разложением в ней шли и очень существенные, созидательные процессы. Впоследствии, когда предвоенная эпоха будет тщательно изучена, с ясностью вскроется, что среди цветущих в январе ландышей морозовского особняка, а также и в редакциях «Мусагета», «Весов», «Пути» и «Софии» совершалась большая культурная работа. Основными темами этой духовной эволюции были:

1) возвращение русской интеллигенции в церковь,

2) протест возвращающихся против реакционно-синодального клерикализма,

3) восстание нового символического искусства против тенденциозности и примитивного натурализма в литературе и живописи,

4) борьба студенчества и университетской доцентуры против кумовства и обывательщины опускающейся профессуры. (Тема, особенно тщательно разработанная Белым в первом томе его воспоминаний).

Многомотивный рисунок этой духовной революции осложнялся тем, что два первых течения, будучи в религиозно-философской плоскости возрождением славянофильства, по-западнически призывали христиан к активному участию в политической жизни, доходя в лице Мережковского до требования христианизации революции; писатели же, поэты и художники новой западноевропейской формации, именовавшиеся в просторечии «декадентами», со страстью защищали автономию искусства и требовали деполитизации духовной культуры. Эта разнонаправленность религиозно-философского и научно-художественного сознаний отнюдь не нарушала, однако, единства нового культурного фронта, начавшего слагаться после 1905-го года. Их единство держалось борьбой за свободу личности и свободу творчества, за новую, если и не подлинно христианскую, то все же, так сказать, духоверческую культуру. В религиозно-философском обществе видные философы боролись против свободоненавистничества победоносцевской традиции, в молодых же редакциях представители символизма свергали властную диктатуру натуралистически-публицистического творчества, от которого и в 20-м веке попахивало писаревским «разрушением эстетики».

Трудность борьбы с косными московскими традициями я лично впервые почувствовал в разговоре с Лопатиным о магистерском экзамене. Тем же духом, вернее бытовым укладом, повеяло на меня и на первом же

заседании Психологического общества в знаменитой круглой аудитории Московского университета. Доклады читались здесь все больше людьми испытанной академической традиции. В прениях обычно первым выступал сам Лев Михайлович Лопатин. Тряся желтою от табака бородой, он давал всегда умный, всегда интересный, но далеко не всегда внимательный к чужому мнению разбор доклада. Несчастьем были иные выступления популярного Челпанова, дельного профессора, но мало талантливого мыслителя. Относительно хорошо владея своими старыми мыслями, он решительно не понимал чужих и новых. Враждебен всяким заграничным новшествам был и профессор права Вениамин Михайлович Хвостов, о котором поэт и юморист Эллис (Лев Львович Кобылинский) вполне серьезно рассказывал, будто бы он исчислял прочитанную им научную литературу по аршинам. Возвращаясь с дачи, он торжественно объявлял: «А я, знаете ли, за дождливое лето три с половиною аршина прочел, славно поработал».

Когда в прениях выступала философская молодежь, старики смотрели на нее весьма снисходительно, когда же взрывался Белый, они переглядывались с явным сожалением: «Каким гениальным ученым был его отец, а вот что из сына вышло». Белый, как обо всем, так и о духе Московского университета писал, конечно, весьма гиперболически, тем не менее в его описании много верного. В политическом отношении Московский университет был много левее, чем в чисто научном. До некоторой степени и он платил дань общеинтеллигентскому стилю русской культуры, в которой политическая прогрессивность часто сочеталась с культурной отсталостью. Всем сказанным в значительной мере объясняется и тот факт, почему наш строго-научный философский журнал ««Логос» был радушно встречен

лишь группою московских символистов, объединенных Эмилием Карловичем Медтнером вокруг организованного им издательства «Мусагет».

Затевая издательство, Эмилий Карлович думал не столько о себе, сколько о своем «гениальном» друге, Андрее Белом, революционному дарованию которого было трудно развертываться в рамках старотипных издательств. Одновременно Медтнера увлекала, конечно, и мысль о сближении русской и немецкой культур. Поклонник символического искусства Гёте и Вагнера и сам теоретик символизма, Медтнер в глубине своей души вероятно верил, что ему удастся направить гениального, но сумбурного Белого по этому пути. Некоторое основание для такой надежды у него было: под влиянием своего старшего друга, Белый уже в 1918-м году писал, что «символизм германской расы приносит в мир новое зрение и новый слух». Цитируя эти строки в 1930-м году, Медтнер подчеркивает, что близкое ему «русское символическое движение не надо смешивать с французским символизмом, так как, выросшее из русской поэтической традиции (Тютчев), оно осознает себя в поэтической символике Гёте».

Лишь учитывая все эти обстоятельства, можно понять, какой страшный удар нанес Белый Медтнеру своим внешне как будто бы логическим, но внутренне несправедливым и запальчивым ответом на его, Медтнера, размышления о Гёте. (Андрей Белый: «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности». Ответ Эмилию Медтнеру на его первый том размышлений о Гёте).

Разбирать сложный спор между Медтнером и Белым здесь так же неуместно, как не место вскрывать его частично личные причины. По существу вопроса еще много будут писать антропософы; о его психологических предпосылках – будущие биографы Белого и Медтнера.

Думаю, что эти биографы, если они будут беспристрастны, выяснят, что в трагическом расхождении друзей, о котором Метнер накануне своей смерти в Дрездене не мог говорить без непереносимой муки, был главным образом виноват Белый. Но вопрос вины не подлежит рассмотрению. В связи с основной темой моих воспоминаний ссора Медтнера и Белого интересует меня исключительно с точки зрения разноструктурности их сознаний и их бессознательностей. Медтнер и думал и жил в категории исторической преемственности, был, если не в политическом, то в культурном смысле, человеком «алтаря и трона». Белый же витал над историей. Его пророческое сознание жило космическими взрывами и вихрями. Медтнер, как теоретик искусства и культуры, всю жизнь страстно защищал музыкальный традиционализм своего брата, не приемля Скрябина последней эпохи. Творчество Белого – сплошной экстаз прометеевского посягательства на догматы и каноны культурно-исторического сознания. Ясно, что при столь противоположных ощущениях и убеждениях Медтнер мог быть лишь временным руководителем начинающего Белого, но не его творческим собратом и попутчиком. Вера в возможность общего пути и совместной работы была потому лишь заблуждением их субъективных сознаний. В плане объективного духа они были рождены для борьбы и даже для вражды. Вдумываясь в конфликт Медтнера с Белым и стараясь выяснить себе, почему Медтнер, насмерть раненный изменой друга, не осилил ответа на нападение и замолчал, невольно приходишь к мысли о глубоком символическом значении горькой Медтнеровской растерянности: ведь и консервативная Европа до сих пор не нашла ответа на большевистскую революцию.

Редакция «Мусагета», обставленная просто, но со вкусом, помещалась во втором этаже небольшого,

кирпичного флигелька, как раз против памятника Гоголя. В особо памятную мне зиму 1911–12-го года Эмилий Карлович жил на даче и приезжал в Москву раза два в неделю. Быстро сбросив в передней свою нарядную шубу с громадным скунсовым воротником и обшлагами, он, овеянный бодрым деревенским воздухом и исполненный своих уединенных дум о Гёте, Вагнере и Ницше, стремительно влетал в небольшой оливкового цвета кабинет и, потирая красные от мороза руки, деловито опускался в свое редакторское кресло под большим портретом Гёте.

В ту же минуту в соседней комнате из-за своего новенького письменного стола вставал заведующий издательством Александр Мелентьевич Кожебаткин и с портфелем, туго набитым рукописями, корректурами и образцами бумаг, сутуло и хмуро направлялся к редактору. Начиналось горячее, но не очень профессиональное обсуждение дел, во время которого Кожебаткин, талантливый делец «себе на уме», успешно притворявшийся тонким ценителем современной поэзии и старинной мебели, ловко втирал очки великолепному Медтнеру.

Я не знаю, какую сумму истратил «Мусагет» за три или четыре года своего существования, но уверен, что по сравнению с тем, что он сделал, – огромную. И это не мудрено, так как дело велось, в конце концов, не Медтнером и даже не Кожебаткиным, а совсем уже неопытным в издательских делах кружком молодых поэтов, писателей и философов, который из вечера в вечер чаевничал в «Салоне» редакции за большим круглым столом, под портретами Пушкина и Тютчева.

На этих вечерах и разрабатывалась программа издательства, исключительная по своему культурному уровню, но и исключительная по своей бюджетной нежизнеспособности.

Студент Нилендер, восторженный юноша, со священным трепетом трудился над переводом гимнов

Орфея и фрагментов Гераклита Эфесского. Маститый Вячеслав Иванов готовил большую книгу об «Эллинской религии страдающего бога» и попутно перелагал на русский язык «Гимны ночи» Новалиса. Застенчивый, как девушка, очаровательно заикающийся Алексей Сергеевич Петровский, служивший в библиотеке Румянцевского музея, самоотверженно переводил «Аврору» Якова Бёме; медленный долговязый Сизов, студент-филолог с красивыми пристальными глазами, – «Одеяние духовного брака» Рейсбрука; Маргарита Васильевна Волошина-Сабашникова – Мейстера Экхардта; Николай Петрович Киселев, ученый книголюб, «любитель фабул, знаток, быть может, инкунабул», кропотливо трудился над переводом и комментариями провансальских лириков XII и XIII веков.

Наряду с этой ученой переводческой работой в «Мусагете» сразу же началась теоретическая разработка эстетических и историософских вопросов. Как бы в качестве манифеста нового искусства вышел «Символизм» Андрея Белого – книга вулканическая, в некоторых отношениях гениальная, богатая идеями и прозрениями, но, за исключением статей о ритме, невнятная и в деталях неточная. Вскоре после «Символизма» появились «Арабески» и «Луг зеленый» того же Белого, сборники импрессионистических статей и литературных портретов.

Вопросы музыкальной эстетики разрабатывал, как я уже отмечал, Медтнер. Седой «юноша» Рачинский, чаще других забегавший в «Мусагет» поболтать и попить чайку, редактировал перевод известной книги скульптора Гильдебранда «Проблема формы в изобразительном искусстве». Бодлерианец Эллис, чистопородный «bohemien» и благороднейший скандалист, носивший по бедности под своим изящным сюртуком одну только манишку, раскрывал «credo» своего символизма в книге, посвященной характеристике его главных вождей – Бальмонта,

Брюсова и Белого, и в сборнике стихов «Stigmata». И статьи и стихи Эллиса были, конечно, талантливы, но не первозданны. Настоящий талант этого странного человека, с красивым мефистофельским лицом, в котором тонкие, иронические губы «духа зла» были весьма негармонично заменены полными красными губами вампира, заключался в ином. Лев Львович был совершенно гениальным актером-имитатором. Его живые портреты не были скучно натуралистическими подражаниями. Остроумнейшие шаржи в большинстве случаев не только разоблачали, но и казнили имитируемых людей. Эллис мусагетского периода был прозорливейшим тайновидцем и исступленнейшим ненавистником духа благообразно-буржуазной пошлости. Крепче всего доставалось от Эллиса наиболее известным представителям академического и либерально-политического Олимпа. Верхом остроумия были те речи, которые Эллис вкладывал в уста своих жертв, заставляя их зло издеваться над самими собою. Печатался в «Мусагете» и Сергей Михайлович Соловьев, племянник знаменитого философа, принявший впоследствии сан священника.

Кроме почти ежедневных сборищ основного ядра сотрудников, в «Мусагете» устраивались и открытые вечера, на которые собиралось человек до пятидесяти, а может быть и больше. «Сквозною темою» всех этих вечеров был «кризис культуры».

В таких торжественных случаях редакционный слуга Дмитрий, человек душевный, но суровый, напоминавший сверхсрочного фельдфебеля, встречал гостей с особой важностью и, разнося стаканы с крепким чаем и бисквитами, надевал даже белые нитяные перчатки.

Не только описать, но даже перечислить всех людей, с которыми приходилось встречаться на вечерах в «Мусагете», невозможно. Кроме уже упомянутых вождей и ближайших сотрудников молодого издательства,

на вечерах его постоянно бывали: Михаил Осипович Гершензон, маленький, коренастый, скромно одетый человек клокочущего темперамента, но ровного, светлого, на Пушкине окрепшего духа; смолоду «мудрый как змий» Ходасевич, человек без песни в душе и все же поэт Божьей милостью, которому за его святую преданность русской литературе простятся многие прегрешения; Борис Садовской (не дай Бог было назвать его Садовским – ценил свое дворянство), талантливый автор стихов о самоваре и сборника тщательно сделанных литературных статей «Камена», очень изящный, лет на 80 запоздавший рождением человек, – с бритым лицом, безволосым черепом и старомодно-торжественным сюртуком, живо напоминавший Чаадаева; два страстных русских италофила Муратов и Грифцов; армянская поэтесса Мариэтта Шагинян, дебютировавшая сборником стихов под заглавием «Orientalia».

Вспоминая писателей, посещавших мусагетские собрания, не могу не остановиться подробнее на Марине Цветаевой, выпустившей в 1912-м году, при содействии Кожебаткина, вторую книжечку своих стихов под названием «Волшебный фонарь».

Познакомился я с Цветаевой ближе, т. е. впервые по-настоящему разговорился с нею, в подмосковном имении Ильинском, где она проводила лето. Как сейчас вижу идущую рядом со мной пыльным проселком почти еще девочку с землисто-бледным лицом под желтоватою чёлкою и тусклыми, слюдяными глазами, в которых временами вспыхивают зеленые огни. Одета Марина кокетливо, но неряшливо: на всех пальцах перстни с цветными камнями, но руки не холены. Кольца не женское украшение, а скорее талисманы, или так просто – красота, которую приятно иметь перед глазами. Говорим о романтической поэзии, о Гёте, мадам де Сталь, Гёльдерлине, Новалисе и Беттине

фон Арним. Я слушаю и не знаю, чему больше дивиться: той ли чисто женской интимности, с которой Цветаева, как среди современников, живет среди этих близких ей по духу теней, или ее совершенно исключительному уму: его афористической крылатости, его стальной, мужской мускулистости.

Было, впрочем, в Марининой манере чувствовать, думать и говорить и нечто не вполне приятное; некий неуничтожимый эгоцентризм ее душевных движений. И не рассказывая ничего о своей жизни, она всегда говорила о себе. Получалось как-то так, что она еще девочкой, сидя на коленях у Пушкина, наматывала на свои пальчики его непослушные кудри, что и ей, как Пушкину, Жуковский привез из Веймара гусиное перо Гёте, что она еще вчера на закате гуляла с Новалисом по парку, которого в мире, быть может, и нет, но в котором она знает и любит каждое дерево. Не будем за это слишком строго осуждать Цветаеву. Настоящие природные поэты, которых становится все меньше, живут по своим собственным, нам не всегда понятным, а иной раз и малоприятным законам.

Осенью 1921-го года мы шли с Цветаевой вниз по Тверскому бульвару. На ней было легкое затрепанное платье, в котором она вероятно и спала. Мужественно шагая по песку босыми ногами, она просто и точно рассказывала об ужасе своей нищей, неустроенной жизни, о трудностях как-нибудь прокормить своих двух дочерей. Мне было страшно слушать ее, но ей было не странно рассказывать: она верила, что в Москве царствует не только Ленин в Кремле, но и Пушкин у Страстного монастыря. «О, с Пушкиным ничто не страшно». Идя со мною к Никитским воротам, она благодарно чувствовала за собою его печально опущенные, благословляющие взоры.

Даже и зимой, несмотря на голод и холод, она ночи напролет читала и писала стихи. О тех условиях, в которых Цветаева писала, я знал от ее belle soeur. В мансарде 5 градусов Реомюра (маленькая печурка, так называемая «буржуйка», топится не дровами, а всяким мусором, иной раз и старыми рукописями). Марина, накинув рваную леопардовую шубенку, сидит с ногами на диване; в черной от сажи руке какая-нибудь заветная книжка, страницы которой еле освещены дрожащим светом ночника:

O, Begeisterung, so tinden
Wir in dir, ein selig Grab.
Tief in deine Wogen schwinden
Still frohlockend wir hinab[17]

Ныне во всем мире и в особенности в Советском Союзе выше всего превозносят «героев труда». К счастью для России, в ней никогда, даже и в самый страшный период большевизма, не переставали трудиться герои творчества. Среди них одно из первых мест принадлежит Марине Цветаевой, вывезшей из Советской России свой сборник «Ремесло». Путь, пройденный Цветаевой, как поэтом, еще никем не измерен и никем по достоинству не оценен. В будущем по ее творческому пути будут изучать не только эволюцию русской поэтики и поэзию русской революции, но так же и социологию парижской эмиграции. Боже, до чего горьки, горды, до чего глубоки, как по своему метрическому, так и по своему метафизическому дыханию последние стихи Цветаевой, напечатанные в «Современных записках»:

---

[17] О, вдохновение
В тебе мы находим блаженство могилы;
В волнах твоих утопаем глубоко,
Тихо ликуя.

Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне все равны, мне все равно
И, может быть, всего равнее
Годнее бывшее всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты – как рукой сняло.
Душа, родившаяся – где-то.
Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей – поперек,
Родимого пятна не сыщет.
Всяк храм мне пуст,
Всяк дом мне чужд,
И все – равно, и все – едино.
Но если по дороге куст
Встает, особенно рябина…

Да, рябина… Возвращаясь сегодня утром к себе домой рябиновой аллеей (к счастью, есть и в Дрездене такая близкая душе, горькая своей осенней красотою аллея), я с нежностью вспомнил дореволюционную Россию: до чего же она была богата по особому заказу скроенными и сшитыми людьми. Что ни человек – то модель. Ни намека на стандартизованного человека западноевропейской цивилизации. И это в стране монархического деспотизма, подавлявшего свободу личности и сотнями бросавшего молодежь в тюрьмы и ссылки.

Какая в этом отношении громадная разница между царизмом и большевизмом, этой первою в новейшей истории фабрикой единообразных человеков. Очевидно государственный деспотизм не так страшен своими политическими запретами, как своими культурно-педагогическими заданиями, своими замыслами о новом человеке и о новом человечестве. При всем своем деспотизме, царская Россия духовно никого

не воспитывала и в духовно-культурной сфере никому ничего не приказывала. Эта роль была ей и не под силу. Отдельные анекдоты не в счет. В качестве такого, ныне уже милого анекдота, вспоминается мне лекция Андрея Белого об Египте. Как только Белый, говоря о пирамидах и фараонах, назвал Рамзеса Второго, присутствовавший представитель власти встал и внушительно попросил имени фараона не называть. Фараон все-таки царь, это он, вероятно, помнил из курса Закона Божия, а Рамзес Второй, быть может, только псевдоним Николая Второго: кто его знает – лектора говорят темно и увертливо.

Самой яркой фигурою в редакции «Мусагета» был, бесспорно, Андрей Белый. Особенно озлобленные недоброжелатели Бориса Николаевича часто называли его паяцем: «все-де в нем нарочито, руки попросту не подает, на кафедре дергается, как Петрушка». Простоты в Белом, правда, не было, но не было в нем и нарочитости: он был скорее юродивым, чем позером.

В описываемые годы московской жизни Белый с одинаковой страстностью бурлил и пенился на гребнях всех ее волн. Помню его не только на заседаниях Религиозно-философского или Психологического обществ, не только у Морозовой и в «Мусагете», но также на уютных вечерних беседах у Гершензона, в редакции «Скорпиона», на концертах Олениной д'Альгейм, в гостиной Астрова, где, сильно забирая влево, он страстно спорил с «Кадетами» и земцами, на антропософских вечерах у Харитоновой и, наконец в каком то домишке в глубоких подмосковных снегах на полулегальных собраниях толстовцев, штундистов, реформаторов православия и православных революционеров, где он все с тою же исступленностью вытанцовывал, выкрикивал и выпевал свои идеи и видения.

Перечислять темы, на которые говорил в те годы Белый, и невозможно и ненужно. Достаточно сказать,

что его сознание подслушивало и подмечало все, что творилось в те канунные годы, как в России, так и в Европе: недаром он сам себя охотно называл сейсмографом. Чего бы, однако, ни касался Белый, он по существу всегда волновался одним и тем же: всеохватывающим кризисом европейской культуры и жизни, грядущей революцией европейского сознания, «циркулирующим» по России революционным субъектом, горящими всюду лесами, расползающимися оврагами; в его сознании все мелочи и случайности жизни естественно и закономерно превращались в симптомы, символы и сигналы.

Талантливее всего бывал Белый в прениях. Он, конечно, не был оратором в духе Родичева или Маклакова. Как в Думе, так и в суде он был бы невозможен: никто ничего бы не понял. Но говорил он все же изумительно. Необъятный горизонт его сознания непрерывно полыхал зарницами неожиданнейших мыслей. Своею ширококрылою ассоциацией он в вихревом полете речи молниеносно связывал во все новые парадоксы, казалось бы никак не связуемые друг с другом мысли. Чем вдохновеннее он говорил, тем чаще логика его речи форсировалась фонетикой слов: ум превращался в заумь, философская терминология – в символическую сигнализацию. Минутами прямой смысл почти совсем исчезал из его речи, но, несясь сквозь невнятицы, Белый ни на минуту не терял своего поразительного словотворческого дара.

Надо отдать справедливость Белому, в самые мертвые доклады его «слово» вносило жизнь, самые сухие понятия прорастали в его устах, подобно жезлу Ааронову. Одного только никогда не чувствовалось в выступлениях поэта – постоянства и библейской «тверди». Более изменчивого и неустойчивого сознания мне в жизни не встречалось. Чего только Белый за свою, слишком рано угасшую жизнь, не утверждал как истину,

чему только он не изменял. В молодости он утверждал марксизм и даже ездил в Ясную Поляну защищать диалектический материализм против Толстого. От Маркса он перебросился к Канту, но его кантианство очень скоро окончилось запальчивою полемикой против неокантианцев. Вырвавшись из тисков неокантианской методологии, Белый на короткое время с головою ушел в мистику, но, испугавшись мистической распутицы, стал тут же твердить, что лишь христианское «отвердение» мистики может спасти душу от космической хляби и душевной расхлябанности: в это время он писал статьи против музыки, размагничивающей волю и убивающей героический порыв. Христианству Белый изменил однако еще быстрее, чем мистике: его религией оказалось штейнерианство, т. е. своеобразная смесь наукообразного рационализма с вольноотпущенной бесцерковной мистикой. В последнем произведении Белого, в его автобиографии, штейнерианства однако уже не чувствуется: всеми своими утверждениями Белый твердит, что его исконною и пожизненною твердью была марксистская революционность.

В идеологическом плане это утверждение – отчасти самообман, отчасти вынужденное приспособленчество; но в чисто психологическом плане последнему автопортрету Белого нельзя отказать в некоторой убедительности. Если центральным смыслом всякой революции является взрыв всех тех смыслов, которыми жила предшествовавшая ей эпоха, то Белого, жившего постоянными взрывами своих только что провозглашенных убеждений, нельзя не признать типичным духовным революционером.

Таким я его впервые ощутил в вечер чтения им в «Мусагете» первых глав «Петербурга». Читал Белый свой роман, в котором зловещим кошмаром надвигаются на Россию все существенные темы и образы

будущего («период изжитого гуманизма заключен»… «наступает период здорового варварства»… «пробуждается сказание о всадниках Чингис Хана»… «распоясывается семито-монгол»… «масса превращается в исполнительный аппарат спортсменов революции»… «великое волнение будет»… «прыжок над историей будет»…) совершенно замечательно. Магия его чтения была так сильна и принудительна, что все мы буквально вдыхали в себя те гнилостно-лихорадочные туманы Петербурга, под прикрытием которых в романе «циркулирует революционный субъект», разжигая мечты, разнося темные слухи, взводя курки и начиняя бомбы…

Сблизился я со всем мусагетским кругом прежде всего, как редактор задуманного нами еще во Фрейбурге философского журнала «Логос», который после многих трудов и при весьма недоброжелательном к нам отношении со стороны маститых московских философов, удалось в конце концов устроить в «революционном» «Мусагете».

Выученики немецких университетов, мы вернулись в Россию с горячей мечтою послужить делу русской философии. Понимая философию как верховную науку, в последнем счете существенно единую во всех ее эпохальных и национальных разновидностях, мы естественно должны были с самого начала попасть в оппозицию к тому доминировавшему в Москве течению мысли, которое, недолюбливая сложные отвлеченно-методологические исследования, рассматривало философию, как некое сверхнаучное, главным образом религиозное исповедничество. Правильно ощущая убыль религиозной мысли на западе, но и явно преувеличивая религиозность русской народной души, представители этого течения не могли не рассматривать наших замыслов, как попытки отравить религиозную целостность русской мысли критическим ядом западнического рационализма.

Живо помню, как вскоре после выхода в свет первого номера «Логоса», который я принял из рук Кожебаткина с таким же незабвенным трепетом, с каким в 16 лет услыхал первое признание в любви, а в 28 – первый раскат австрийской артиллерии, я спорил на эту тему с Н. А. Бердяевым в уютной квартире сестер Герцык, пригласивших нас к себе после какого-то доклада.

Сестры Герцык принадлежали к тем замечательным русским женщинам, для которых жить значило духовно гореть. Зная меня с фрейбургских времен, они, очевидно, хотели сблизить меня со своим старым другом. Мне было 26 лет – Николаю Александровичу 36. Он был уже известным писателем, мною была опубликована только еще одна статья в «Русской мысли»: «Немецкий романтизм и русское славянофильство». Силы были неравные, но спорили мы одинаково горячо: с преклонением перед истиной, но без снисхождения друг к другу, не дебатировали, а воевали. Мастер радикальных формулировок, Бердяев в тот вечер впервые вскрыл мне исходную сущность всех расхождений между «Логосом» и «Путем».

– Для вас, – нападал он на меня, – религия и церковь проблемы культуры, для нас же культура во всех ее проявлениях внутрицерковная проблема. Вы хотите на философских путях придти к Богу, я же утверждаю, что к Богу придти нельзя, из Него можно только исходить: и лишь исходя из Бога можно придти к правильной, т. е. христианской философии.

Прекрасно помня Бердяевскую атаку, я не помню своей защиты. Помню только, что защищаться было трудно. Бердяев увлекал меня силой своей интуитивно-профетической мысли, но и возмущал той несправедливостью и тою неточностью, с которыми он говорил о моих тогдашних кумирах и учителях, о Канте, Гегеле, Риккерте и Гуссерле.

Охваченный пафосом свободы (он только что выпустил свою «Философию свободы»), он с непонятным для меня самоуправством превращал кантианство в «полицейскую философию», риккертианство – в проявление «индусского отношения к бытию», (тема впоследствии развитая Андреем Белым в «Петербурге»), Гегеля, которого мы считали мистиком – в «чистого рационалиста».

С годами я глубже сжился со стилем бердяевского философствования, но в свое время он не только захватывал меня вдохновенностью своей проповеди, но и оскорблял своею сознательной антинаучностью.

Философствуя «от младых ногтей», мы были твердо намерены постричь волосы и ногти московским неославянофилам. Не скажу, чтобы мы были во всем неправы, но уж очень самоуверенно принялись мы за реформирование стиля русской философии.

Войдя в «Мусагет», мы почувствовали себя дома и с радостью принялись за работу. С «Мусагетом» нас объединяло стремление духовно срастить русскую культуру с западной и подвести под интуицию и откровение русского творчества солидный, профессионально-технический фундамент.

Основной вопрос «Пути» был – «како веруеши», основной вопрос «Мусагета» – «владеешь ли своим мастерством?» В противоположность Бердяеву, презиравшему технику современного философствования и не желавшему ставить «ремесло в подножие искусства», Белый, несмотря на свой интуитивизм, со страстью занимался техническими вопросами метрики, ритмики, поэтики и эстетики. Это естественно сближало его с нами – гносеологами, методологами и критицистами. К тому же Белый и сам ко времени нашего сближения с «Мусагетом» увлекался неокантианством, окапывался в нем, как в недоступной философскому дилетантизму

траншее, кичился им, как признаком своего серьезного отношения к науке, чувствуя в этой серьезности связь с отцом, настоящим ученым, философом-математиком.

Поначалу наша работа в «Мусагете» пошла было очень дружно. Когда «студийная» молодежь «Мусагета» разбилась на группы для изучения вопросов культуры, я взял на себя руководство секцией по вопросам эстетики. Принимали мы с Яковенко (С. О. Гессен жил в Петербурге) деятельное участие и в создании небольшого мусагетского журнала «Труды и дни». Журнал был задуман, как интимный художественно-философский дневник издательства, но придать ему живой, артистический характер не удалось. Книжечки выходили довольно случайными, а подчас и бледноватыми.

Мир и любовь между «Мусагетом» и редакцией «Логоса» длились, однако, недолго. В третьем томе своих воспоминаний Белый сам рассказал о том, как, охладев к Канту и неокантианству, он при поддержке Блока настоял на том, чтобы Медтнер не возобновлял с нами контракта. К счастью, нам удалось сразу же устроить журнал в известном петербургском издательстве М. О. Вольфа. То, что нас приютила столь солидная издательская фирма, заинтересованная в первую очередь в доходах и вполне чуждая всяких меценатских амбиций, было для нас большим удовлетворением, доказательством того, что за два года работы мы сумели встать на ноги и завоевать себе определенное положение не только в культурной России, но и на книжном рынке.

Как ни печален был для нас разрыв с «Мусагетом», я все же защищал Белого и Медтнера от нападок моих соредакторов. Наши громоздкие кирпичи, наполовину заполненные хотя и тщательно переведенными, но все же ужасными по языку статьями, перегруженные обширным библиографическим отделом и, как бахромою,

обвешанные подстрочными примечаниями, не только по содержанию, но и стилистически действительно мало гармонировали с устремлениями «Мусагета».

Тему сближения русской и западноевропейской мысли, а также и тему профессионально-научного углубления русской философии можно было разрабатывать и в иной, более близкой «Мусагету» форме, примерно так, как Вячеслав Иванов разрабатывал в своих статьях о символизме поэтику Гёте; но мы, по составу нашей редакции и в особенности по кругу наших знаменитых заграничных сотрудников, делать этого не могли. Но если бы и могли, это вряд ли предупредило бы наш разрыв. Не играй Белый в «Мусагете» первой скрипки, мы, может быть, и прижились бы в медтнеровском издательстве, но с Белым ужиться было нельзя. Несмотря на свою полуатавистическую (профессорский сын) любовь к культуре, методологии и ремесленному профессионализму, Белый ненавидел всякое культуртрегерство и часто издевался над ним. «Культура – трухлявая голова, в ней все умерло, ничего не осталось; будет взрыв: все сметется». Эта тема своеобразного культурного иконоборчества была нам, логосовцам, не только чужда, но и враждебна, как, впрочем, и многим мусагетчикам. Созвучна она была, если верен мой слух, больше всего Бердяеву.

В глазах широкой читательской публики, отчасти даже и критики, такой же «православный неославянофил», как и остальные путейцы, Бердяев представлял собою явление совершенно особого порядка. Конечно, о Бердяеве нельзя сказать, как о Белом, что он всю жизнь носился по бескрайным далям своего одинокого я. Во всем, что писал и проповедывал Николай Александрович, всегда чувствовалась укорененность в своеобразном мистически-реальном опыте и устремленность к его христианскому осознанию. Общим у Бердяева и Белого

было, пожалуй, лишь их пророческое ощущение начавшейся смены эпох. «Что-то в мире происходит… кто-то хочет появиться… кто-то бродит». Затаенная тревога этих Блоковских слов мне всегда слышалась в писаниях и выступлениях как Белого, так и Бердяева.

Оба «хотящему появиться» не противились, так как оба не были людьми органически укрепленными в прошлом. Сказанное мною в статье-некрологе о Белом: «Он был существом, обменявшим корни на крылья» – в известном смысле можно отнести и к Бердяеву. Славянофилам, почвенникам и традиционалистам Бердяев по своему психологическому типу был так же чужд, как Белый по стилю своего творчества Толстому или Лескову. Лишь раз в «Серебряном голубе» Белый попытался было изобразить старую помещичью Россию, но дал не живую, хотя бы и стилизованную бытовую картину, а лишь причудливую орнаментальную фреску с умелым использованием декоративных мотивов усадьбы, церкви и села. Предметно дана в «Серебряном голубе» только революция.

Как в искусстве Белого, так и в философии Бердяева нет ни плоти, ни истории. И все же Бердяев часто вернее наших почвенников и фактопоклонников предсказывал повороты истории. Объясняется это тем, что, начиная с 1789-го года, в Европе неустанно крепла лишь одна традиция – традиция революции, почему почвенники 19-го столетия и оказались к началу 20-го в воздухе, а революционеры с почвою под ногами.

Одним из первых «добрых европейцев» покинул Бердяев задолго до войны 1914-го года духовную родину нашего поколения, либерально-гуманитарную культуру 19-го века; одним из первых почувствовал он, что та жизнь, которою жили наши отцы и деды, которою жили и мы, приходит к концу, что наступает новая эпоха: безбожная, духоненавистническая, но в то же

время творческая и жертвенная, во всем радикальная, ни в чем не признающая постепенности, умеренности и серединности, та эпоха, о которой Маяковский впоследствии скажет в своем акафисте чёрту:

Провалились все середины,
Нету больше никаких середин.

Морализирующее отношение к истории, конечно, неправильно, так как не только все великое, но даже и святое неизменно вырастало из таинственного сотрудничества добра и зла: исторически ведь и Христос неотделим от Иуды. Но все же меня всегда мучила та страстность, с которою Бердяев «профетически» торопил гибель испытанного прошлого и выкликал из тьмы неизвестно еще чем чреватое будущее. Философия Бердяева была всегда максималистична. В противоположность во многом близкому ему по духу Соловьеву, он недооценивал относительных ценностей: право было для него в некотором смысле «могилою правды», законность – фарисейством, гносеология – болезнью бытия.

Для Бердяева характерно, что рано отрекшись от теории экономического материализма, он навсегда удержал в своем философском хозяйстве понятие буржуазности. Борьба против духовной буржуазности одна из центральных тем Бердяевского творчества. Эта борьба роднит его с Ницше, к которому он искони влекся, как к пророку назревающего кризиса буржуазной культуры и которому временами слишком легко прощал его ненависть к христианству.

Вспоминая довоенную Москву, в свете современных событий, я не в силах подавить в себе ощущения, что философия Бердяева и искусство Белого были своеобразным «небесным прологом» столь же великой, как и страшной русской революции.

То же самое можно было бы пожалуй сказать и о Блоке, если бы и он был провозвестником и вождем, а не только открытою, кровоточащею раною своей эпохи.

В зиму 1910–1911 года я был приглашен, скорее всего по предложению Вячеслава Иванова, в Петербург для прочтения в Религиозно-философском обществе публичной лекции. Ни темы своей лекции, ни прений по ней, ни облика собравшейся публики я, странным образом, не помню. Читал я, скорее всего, о «Трагедии творчества». По окончании моего заключительного слова ко мне медленно подошел, одетый в черный сюртук статный юноша с продолговатым, усталым, бледным лицом. С тех пор прошло много страшных лет, а я все еще жалею о том, что в заговорившем со мною о моем докладе юноше не узнал Блока.

Думаю, что если бы я приехал в Петербург не как редактор «Логоса», к которому у Блока не могло быть особых симпатий, и не по приглашению Вячеслава Иванова, с которым у Блока были свои сложные счеты («если хочешь сохранить Вячеслава Иванова, будь окончательно подальше от него»), то мы сразу же чем-нибудь своим да перекликнулись бы друг с другом. Как много Блок, с которым мне вторично непонятным образом так и не довелось встретиться, значил для меня, я понял только после его смерти.

Вскоре после возвращения из Петербурга я как-то под вечер шел с Белым по Плющихе. Вокруг только что зажженных фонарей мглисто кружился «блоковский» снег. В мою душу, захваченную в те годы стихией Блоковской поэзии, загадочно смотрели «крылатые глаза высокой женщины в черном, влюбленной в огни и мглу снежного города».

Белый, в котором привезенная в Москву постановка «Балаганчика» с новой силой всколыхнула боль его тяжелой размолвки с «поэтом-братом», «иероглифически»

жестикулируя, торопливо шел рядом со мною и гневно меча в «пургу» свои зеленые исподлобные взоры, взволнованно говорил об измене Блока «теургической» теме символизма: о кощунственном превращении «прекрасной дамы» в «картонную невесту», священной крови – в «клюквенный сок», мистерии действа – в «балаганное паясничество». Недостаточно посвященный в замыслы раннего символизма и во все сложности личных взаимоотношений между поэтами, я слушал Белого не без смущения.

Возражать было невозможно. Весь тон речи был настолько страстен, в нем слышалась такая уязвленность души, что становилось невольно страшно, как бы каким-нибудь неосторожным словом не коснуться тех личных отношений между поэтами, что явно стояли за критическими нападками Белого.

Не находя нужных слов для своего возражения, я все же чувствовал, что правда была на стороне Блока. В ту смутную межреволюционную пору, готовую в любой загадочно-неудовлетворенной женщине и во всякой жаждущей «мистериозного служения» актрисе «прозревать» образ «вечной женственности» – такой честный с самим собою поэт, каким всегда был Блок, не мог не снизить видения «Прекрасной дамы» до явления ресторанной «Незнакомки». Несчастье Блока было лишь в том, что при всей своей честности он до конца оставался духовно-беззащитным романтиком-мечтателем. Даже и лучшему, что он написал, его стихам о России, не хватает трезвости религиозного созерцания. Образ родины видится ему в том же тумане, как и образ «Незнакомки». При изумительной пластичности художественного письма, Россия религиозно все же остается как бы не в фокусе: ее застилает дым и даже чад любовнически-мечтательного пламени.

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви!
Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу…
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет,
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты…

Не это ли романтическое увлечение разбойною красою заставило Блока увидеть в большевизме русского чародея? Не оно ли помешало ему, единственному по музыкальности уха поэту, отличить рев разбушевавшейся революции от космической музыки; не оно ли внушило ему более чем соблазнительный образ красноармейцев-апостолов, невидимо предводительствуемых Христом? Своеобразный свет на все эти романтические ошибки зрения и слуха проливает дневник Блока. 5-го апреля 1912-го года он записывает кощунственные слова: «Гибель “Титаника” вчера обрадовала меня несказанно – есть еще океан». Но я ни в чем не хочу обвинять Блока, своими предсмертными страданиями так страшно искупившего духосместительные грехи своей жизни и своего творчества.

Не сразу дошедшее до нас известие о кончине Блока произвело на меня даже и среди всех ужасов тогдашней жизни потрясающее впечатление. Помню, как я прибежал с этим известием в ригу, в которой шла молотьба овса. (В годы большевистской революции мы с женой работали в «семейной трудовой коммуне» в бывшем имении ее родителей). Брат жены, подававший снопы в барабан, сразу же остановил молотилку. Наташа и ее сестры, с запыленными мякинною пылью

лицами и с граблями в руках, подбежали к нам. Я прочел только что полученное письмо. Наступила растерянная тишина. Наш бывший работник и его жена, вечно недовольные своими бывшими господами, видя что машина стоит, а мы опять «промеж себя разговариваем», проворчали себе что-то под нос и ушли в свою избу пить чай.

Мы отстегнули лошадей и последовали примеру наших «товарищей». За чаем было невыносимо грустно. Чувствовалось, что кольцо захваченных, а частично и разгромленных большевиками имений все тревожнее и теснее смыкается вокруг нашей богохранимой Ивановки, последнего форта помещичьей крепости в нашем уезде.

Ночью, на сторожбе в старом яблонном саду было, несмотря на заряженное ружье и верного пса, как-то особенно жутко. Душу волновала мысль: не означает ли безвременный уход упорно молчавшего перед смертью поэта его покаянного отречения от красноармейского Христа? Не знаменует ли это отречение окончательного отлета светлых интеллигентских чаяний и утопий от развертывающихся событий, не пророчит ли оно предельного ожесточения революции?

Подобные мысли, конечно, и раньше приходили в голову, но смерть Блока как-то по-новому закрепляла их своею печатью.

Раздумья о прошлом живут по своим собственным законам. Мертвый хронологический порядок им чужд, даже враждебен. Воспоминания о Блоке увели меня далеко от Петербурга и от дома с башней на Таврической улице, где жил Вячеслав Иванов, с которым я до тех пор был лишь весьма поверхностно знаком.

Звоню. Большая низковатая передняя, уходящий куда-то вглубь коридор. Вхожу в кабинет маститого ученого, блестящего эссеиста, изощреннейшего искусника

в поэзии. Книги, книги, книги: фолианты в старинных пергаментах, маленькие томики ранних изданий немецких, французских и итальянских классиков, ученые труды на всех европейских языках, полки растрепанных русских книг и книжечек без переплетов. Над полками и между ними гравюры, все больше Рим, в котором Вячеслав Иванов прожил свои лучшие годы.

Но вот в двери, около которой висит портрет покойной жены поэта, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал – кисти М. В. Сабашниковой, появляется сам Иванов: розовое, лоснящееся, безбровое лицо, летучие золотые волосы, пронзительно-внимательные, светлые глаза и изумительно красивые руки, белизна которых подчеркнута черным кольцом. Во всем германско-профессорском облике поэта, в особенности же в почти манерном наклоне головы и мелодическом жесте – нечто старинно-романтическое, но и современно-декадентское, причем, несмотря на 45-летний возраст Иванова, определенно юношеское. Смотрю и удивляюсь – и откуда это у людей «нового религиозного сознания», как в прессе иной раз называют вольных религиозных философов и поэтов-символистов, такие облики? В академической среде, как и среди писателей-реалистов, группирующихся вокруг горьковского «Знания», ничего подобного нет: все люди, как люди. Если же посадить за один стол Бердяева, Вячеслава Иванова, Белого, Эллиса, Волошина, Ремизова и Кузьмина, то получается нечто среднее между Олимпом и кунсткамерой.

Вячеслав Иванов ласково приветствует меня высоким певучим голосом, легко и просто говорит что-то весьма лестное и смущающее меня, и, глубоко заглядывая в глаза клюющим, острым зрачком, усаживает в кресло у своего письменного стола. Без труда завязывается одна из тех пленительно-витиеватых бесед о древней Элладе, о Ницше и Дионисе, о новом христианстве,

о теургическом искусстве, преображающем мир «выкликанием» и высветлением таящегося в нем Божьего замысла, о символе и аллегории, о манере и стиле, на которые старший мэтр символизма такой несравненный мастер. Вспоминая на путях своих пиршественных раздумий то Платона и Эсхила, то Данте и Шекспира, то Гёте и Новалиса, Вячеслав Иванов вполне естественно, как бы по закону учтивой любезности, приветствует своих «вечных спутников» особыми архаизирующими интонациями, то эллинизирующими, то германизирующими жестами языка, тяготеющего в своей русской сущности к древнеславянской тяжеловесности.

Приехав в Петербург дня на два, я прогостил в доме Вячеслава Иванова целую неделю. До чего широко, радушно, праздно и одновременно полно жили мы в старой России! За это время я познакомился в знаменитой башне с целым рядом значительных людей – с Юрием Верховским, с поэтом-помещиком Бородоевским, с безобидным глашатаем мистического анархизма Георгием Чулковым, идеологии которого Вячеслав Иванов покровительствовал по мало понятной мне причине, с единственным по совершенству своего поэтического дара и по неестественности своей наружности – Кузьминым: небольшая изящная фигура тореадора или балетмейстера; узкая голова со старомодными зачесами на висках в стиле александровской эпохи; лиловато-розовые, тяжелые, словно фарфоровые веки и в них громадные, печально-светящиеся глаза: «Два солнца, два жерла, нет, два алмаза».

На одном из вечеров был в гостях начинавший входить в большую моду Алексей Николаевич Толстой с его тогдашней женой Софьей Исаковной. Первою в столовую, где уже сидело много гостей, вошла графиня – красивая черноволосая женщина, причесанная в стиле Клео-де-Мерод, в строгом, черном платье, перехваченном

по бедрам расписанным красными розами шарфом. За графиней появился граф – плотный, крутоплечий, породистый, выхоленный и расчесанный, как премированный экземпляр животноводческой выставки. В спадающей на уши парикообразной прическе, в модном в те годы цветном жилете и в каких-то особенного фасона больших воротничках – сознательное сочетание старинного портрета и модного дендизма.

Веселые карие глаза «с наглинкой» жадно шныряют по всему миру: им, как молодым псам, – все интересно. Но вот они делают стойку: Толстой внимательно прислушивается к вспорхнувшей перед ним в разговоре мысли. Из нижней, розово-вислой части его крупного красивого лица мгновенно исчезает полудетская губошлепость. Уже не слышно его громкого «бетрищевского» – ха-ха-ха. На лбу Алексея Николаевича появляются складки – он думает: медленно, упорно, туго. Нет, он не глуп, как меня уверяли в Москве, хотя и не мастер на отвлеченные размышления. Думает он, правда, не умом, но думает крепко всей своей утробой, страстями и инстинктами. В нем, как в каждом художнике, сильна память, но не платоновская «о вечном», а биологическая – о прошлом. Когда Толстой разогревается в разговоре, в нем чувствуется и первобытный человек и древняя Россия.

Переехав вскоре после нашего знакомства у Вячеслава Иванова в Москву, Толстые широко и просторно поселились в только что отстроенном, эффектном доме князя Щербатова на Новинском бульваре. В их светлой, обставленной старинной мебелью красного дерева квартире, в особенности в кабинете Алексея Николаевича, где на низком круглом столике, рядом с пахнущими винной ягодой и мадерой крепкими английскими табаками, лежало бесконечное количество трубок, особенности которых Толстой знал так же хорошо, как художники знают особенности своих карандашей и кистей, скоро закипела шумная, литературно-богемская

жизнь. В одну из последних довоенных зим в Москве много говорили о костюмированном вечере у Толстых, на котором соединение дворянско-заволжского темперамента хозяина с его хмельными воспоминаниями о Монмартрских маскарадах создало такую атмосферу, что даже привыкшие ко всему москвичи ахнули.

В России я видел Толстого в последний раз в тревожный день Московского Государственного совещания. Во время перерыва заседания он почти насильно умыкнул меня к себе завтракать. Ему, очевидно, хотелось поговорить о происходившем и еще предстоящем. Разговор начался уже в пролетке. В этом разговоре Алексей Николаевич поразил меня своим глубоким проникновением в стихию революции, которой его социальное сознание, конечно, страшилось, но к которой он утробно влекся, как к родной ему стихии озорства и буйства. Не вспоминая деталей, я хорошо помню то значение, которое этот разговор имел для меня. Толстой первый по-настоящему открыл мне глаза на ту пугачевскую, разинскую стихию революции, в недооценке которой заключалась коренная слабость нашей либерал-демократии.

Я не склонен идеализировать мотивы возвращения Толстого в 1923-м году в Советскую Россию. Очень возможно, что большую роль в решении вернуться сыграл идеологический нигилизм этого от природы весьма талантливого, но падкого на славу и деньги писателя. Все же одним аморализмом толстовской «смены вех» не объяснить. Если бы дело обстояло так просто, мы с женою, только что высланные из России, вряд ли могли бы себя чувствовать с Толстыми (к этому времени Алексей Николаевич был женат вторым браком на Наташе Крандиевской) так просто и легко, как мы себя с ними чувствовали накануне их возвращения из Берлина в СССР.

Помню два перегруженных чемоданами автомобиля, в которых Толстой с женой и детьми отъезжал с Мартин-Лютерштрассе на вокзал. Несмотря на разницу наших убеждений и судеб, мы провожали Толстых скорее с пониманием, чем с осуждением.

Мне лично в «предательском», как писала эмигрантская пресса, отъезде Толстого чувствовалась не только своеобразная логика, но и некая сверхсубъективная правда, весьма конечно загрязненная, но все же не отмененная теми делячески-политическими договорами, которые, вероятно, были заключены между Толстым и полпредством. Как-никак Алексей Николаевич ехал не на спокойную жизнь, его возврат был большим риском, даже если бы он и решил безоговорочно исполнять все предначертания власти. Мне, по крайней мере, кажется, что сговор Толстого с большевиками был в значительной степени продиктован ему живой тоской по России, правильным чувством, что в отрыве от ее стихии, природы и языка он, как писатель, выдохнется и пропадет. Человек, совершенно лишенный духовной жажды, но наделенный ненасытною жадностью души и тела, глазастый чувственник, лишенный всяких теоретических взглядов, Толстой не только по расчету возвращался в Россию, но и бежал в нее, как зверь в свою берлогу. Может быть, я идеализирую Толстого, но мне и поныне верится, что его возвращение было не только браком по расчету с большевиками, но и браком по любви с Россией.

В последний раз я видел автора «Петра 1-го» (несмотря на правильные возражения академика Платонова, все же замечательная вещь, которую Толстой никогда не написал бы в Берлине) в Париже в 1937-м году на представлении «Анны Карениной». Самоуверенной осанистости в нем было много меньше, чем раньше; волосы заметно поредели; но главное изменение было

в глазах, в которых мелькал неожиданный для меня в Толстом страх перед жизнью. На нем был костюм табачного цвета, живо напоминавший гороховое пальто царских охранников. Несмотря на эту ассоциацию, мы встретились по-приятельски.

То, что я пожал руку Толстому, вызвало не только сильный, но даже бурный протест у одного из наиболее идейных и твердых парижских эсеров. «Если оправдывать Толстого, – говорил он мне через несколько дней в редакции «Современных записок», – выступающего в России с требованием смертной казни, а в Англии с требованием свободы печати, то кого же в мире можно еще обвинять?»

Как я ни пытался объяснить моему строгому судье, что отказ от предъявления человеку каких-либо нравственных обвинений решительно не имеет ничего общего с его оправданием (скорее уже наоборот), он этого понять не мог и не без труда протянул мне на прощание свою честную демократическую руку.

Вскоре после моей лекции в Петербурге у меня создалась с этим городом прочная литературная связь, благодаря наладившемуся сотрудничеству в новом толстом журнале, начавшем выходить в 1910-м или 1911-м году. С работою в «Северных записках» у меня связаны самые светлые воспоминания. Их редактора – Яков Львович Сакер, курчавый, сутулый публицист-философ и Софья Исаковна Чацкина, нервная изящная женщина, – были типичными русскими интеллигентами-общественниками, но одновременно и людьми «нового культурного сознания». Целью своего журнала они ставили сращение умеренного эволюционного социализма с подлинною духовною культурою. Над письменным столом Сакера висел портрет Канта. Душе Софии Исаковны символическое искусство было ближе народнически-направленческой беллетристики «Русского богатства».

Для осуществления своего издательского плана оба редактора искали новых молодых сотрудников, одинаково далеких как от снобистического эстетизма «Апполона», так и от культурного варварства идейной интеллигентщины. К моменту появления Якова Львовича в нашей московской квартире, в небольшом под вековым тополем домике, принадлежавшем М. М. Новикову, последнему ректору Московского императорского университета, мною было напечатано еще очень немного: тем не менее Яков Львович звал меня в постоянные сотрудники, прося давать из номера в номер небольшие статьи на общекультурные и литературные темы. Считая себя в то время научным философом, я согласился на предложение Сакера лишь после долгих колебаний и, должен признаться, с не совсем чистою совестью: мне казалось, что регулярная журнально-публицистическая работа помешает быстрой сдаче магистерского экзамена, да и вообще уведет меня в сторону. Ныне я о своем решении не жалею. В той жизни, в которую нас всех ввергла война и революция, мне в типичного университетского профессора все равно бы не выработаться. Даже и по получении в 1926-м году кафедры по социологии в Германии, я отдавал немало сил русской публицистике. Такова уже судьба нашего поколения: когда тебя непрерывно бьют, можно или молиться, или отбиваться, хотя бы и журнальными статьями, но трудно спокойно исследовать или бесстрастно размышлять.

Желая объединить своих сотрудников, редакция «Северных записок» устраивала время от времени большие редакционные вечера. Молодое дело велось настолько широко, что приглашались и москвичи: Цветаева, я и другие. Всем нам оплачивалась дорога и пребывание в столице.

Как сейчас стоит перед глазами обставленная с артистической небрежностью небольшая одухотворенная

квартира редакции. Недалеко от камина – широкая, покрытая персидским ковром тахта, на которой, щурясь от папиросного дыма и становясь от этого похожей на японку, сидит с виду тишайшая, но внутренне горячая Софья Исаковна Чацкина. В 1919-м году я с трудом разыскал ее в Москве в подвале дома писателей на Поварской. Когда я неожиданно вошел к ней, она варила себе какую-то кашицу в выщербленной ночной посуде. Что можно было, мы с женой для нее сделали, но многого сделать было нельзя. Она была душевно уже окончательно надломлена и вскоре умерла.

На собрании сотрудников и друзей «Северных записок» я познакомился с большим количеством петербуржцев. Больше всех ценимая Софьей Исаковной и ее кругом Анна Ахматова мне при первой и единственной встрече не понравилась. Того большого, глубокого человека, которого в ней сразу разгадал Вячеслав Иванов, я поначалу в поэтессе не почувствовал. Быть может, оттого, что она как-то уж слишком эффектно сидела перед камином на белой медвежьей шкуре, окруженная какими-то, на петербургский лад изящными, перепудренными и продушенными визитками.

Среди этих выхоленных юношей чужаком мелькал Сергей Есенин, похожий на игрушечного паренька из кустарного музея: пеньковые волосы, васильковые глаза, любопытствующий носик. В манере откидывать назад голову – «задор разлуки и свободы». Он только еще начинал входить в моду. «Северные записки» весьма покровительствовали ему.

Познакомился я и с Алексеем Михайловичем Ремизовым и свое первое посещение его помню во всех подробностях. Случилось так, что, подымаясь к нему на лифте, я застрял между этажами и, не зная, что делать, начал громко кричать: «Застрял, Алексей Михайлович, спасите».

Тому, кто никогда не видел Ремизова, описать его внешность, да еще в момент его перепуганного появления у коварного лифта, почти невозможно. Я уже отмечал богатую лепку человеческих обликов на переходе 19-го века к 20-му. Ремизов и среди этого богатства поражал какой-то особой примечательностью. Небольшое сутуловатое туловище на длинных слабых ногах, лицо как будто простое, а не оторвешься. Глаза – гляделки в морщинках, но если заглянуть в них поглубже, испугаешься, до того в них много муки и страсти. Странная внешность: если приклеить к ремизовскому лицу жидкую бородку – выйдет приказный дьяк; если накинуть на плечи шинелишку – получится чинуша николаевской эпохи; если изорвать его поношенный пиджачишко в рубище – Ремизов превратится в юродивого под монастырской стеной…

Кабинет, в который ввел меня Алексей Михайлович, был единственной в своем роде писательской кельей. Впоследствии, уже в эмиграции, я сиживал в такой же ремизовской келье сначала в Берлине, а потом и в Париже.

Вместо обычных книжных полок, по стенам стояли прилаженные один над другим и обклеенные золотою, серебряною и голубою бумагою случайные ящики, до отказу набитые старинными изданиями и истрепанными книжонками. Под потолком из угла в угол тянулись бечевки, целая сеть, наподобие паутины. На бечевках – совершенно невероятные вещи: сучки, веточки, лоскутики, палочки, косточки, рыбьи скелетики, не то игрушки, не то фетиши, разные ремизовские коловертыши, кикиморы, пауки, скрыпники…

Кроме «Пруда» и «Крестовых сестер», я из ремизовских произведений тогда еще ничего не читал, со сказочною мифологией писателя знаком не был и потому смотрел на все его подпотолочные диковины с разинутым

ртом. Алексей Михайлович стоял рядом со мною все еще в том огромном женином платке, в котором он выскочил на лестницу и со странными на мой тогдашний взгляд ужимками, подмигами и подхихикиваниями тихонечко рассказывал о своей сновидчески-творческой жизни. Я слушал, внимательно всматривался в мучительно наморщенный лоб Ремизова, но сердцем и фантазией его мира не воспринимал. Окончив свои пояснения, Алексей Михайлович засуетился, застеснялся: «Уж и не знаю, чем вас поподчевать. Поставил бы самоварчик, да жены, Серафимы Павловны, нет, а без нее мне не осилить. Могу сон разгадать, пасьянс разложить и, если расстегнете душку, русскими духами надушить».

Раскладывания пасьянса не помню, но разгадывание сна, который мне пришлось наскоро выдумать, и процедуру натирания груди какими-то крепкими, пахнувшими спиртовым лаком духами, которые Алексей Михайлович, если не ошибаюсь, называл ядовито-змеиным именем «сколопендры», на всю жизнь остались в памяти. До сих пор не знаю, с чего это Ремизову пришло в голову угощать меня своим душистым массажем. Все хотел спросить его, да как-то не спросилось, а теперь боюсь, что и поздно. Война, конечно, когда-нибудь кончится, может быть через год, может быть через пять лет, когда – этого сейчас никто не знает. Но восстановится ли для нас, эмигрантов, с ее окончанием свобода передвижения по Европе – еще не известно. Может быть, возьмут да и запрут нас, нищих и никому не нужных, по разным странам, как по железным клеткам. Так запрут, что уже никогда больше не увидишь Парижа, не посидишь перед отправкой в последний путь в кругу своих людей, помнящих то же, что помнишь и ты, и на то же, что и ты уповающих. Стареем мы, редеют наши ряды. Минутами даже самым сильным

и благополучным среди нас становится страшно жить. Каково же должно быть бедному Ремизову? Так и вижу его затравленною, голодною мышью, сидящим в своей комнате вместе со своими «коловертышами» и «ауками». А, может быть, его там и нету, где мы с женою были у него во время Всемирной выставки в 1937-м году? Как знать, что сейчас делается в Париже, который через несколько дней, вероятно, займут нацисты?

Сегодня весь день перечитывал «Взвихренную Русь». До чего же замечательно сделана эта книга, до чего сложно инструментован в ней плач по России, до чего разительно сплетены ее многообразные темы, до чего смело противопоставлены в ней явь и сон, трагические и комические стороны жизни; и, главное, каким она написана своеобразно-изысканным языком! Каждая фраза – искуснейше выкованный орнамент, не расплавляемый даже и адским огнем ее самых страшных страниц.

Подобно князю Мышкину, Ремизов большой каллиграф, тонкий знаток и любитель старинного, витиеватого росчерка. Живо представляю себе, как он, изловчившись, сидит у своего простого (не письменного) стола и со вкусом выводит: «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». Проблема внутреннего почерка представляется мне одною из основных проблем ремизовского искусства. Он не «нутряной» талант в духе Куприна или Алексея Толстого – он словесных дел мастер, искусник, стилизатор-орнаменталист, малодоступный широкой читательской публике. В его изысканном стилизаторстве древние мотивы, апокрифы, жития, легенды и сказания причудливо переплетаются с ухищреннейшими литературными приемами современного умного упадочничества.

Хотя, быть может, и обидится на меня Алексей Михайлович, а все же скажу, что его искусство лишь отчасти

на древнем корню цветет, иной же раз лишь к своему древнему корню тянется. Много в этом искусстве чудесного, но немало также и чудного, чудачествующего, как бы на сцене перед самим собою со смаком разыгрываемого (Алексей Михайлович большой актер и прекраснейший чтец). За многими страницами Ремизова во мне не раз подымалось желание, чтобы он всю свою великую боль о человеке, свой испуг перед жизнью, свою пламенную горькую страсть взял да и ринул бы прямо мне в душу безо всякого стилизаторства.

Но не хочу критиковать, каждому свое; и Ремизову, тонкому знатоку и сознательному обогатителю «великого, могучего, правдивого и свободного русского языка», за все его древние словеса и затейливые словечки не только спасибо, но слава и честь. Настоящих, природных писателей, огненных душ, горячих словолюбов становится с каждым годом все меньше и меньше…

«Северные записки» были, как все толстые русские журналы, журналом не только литературным, но и общественно-политическим. На редакционных раутах бывали поэтому и политики. Близким другом редакции был Григорий Адольфович Ландау. Природа наделила Григория Адольфовича блестящими дарованиями, но жизнь жестоко насмеялась над его даровитостью: то немногое, что он написал, мало до кого дошло и мало на кого произвело должное впечатление. Помню, с каким захватывающим волнением читал я в галицийском окопе только-что появившуюся в «Северных записках» статью Ландау «Сумерки Европы». В этой замечательной статье было уже в 1914-м году высказано многое, что впоследствии создало мировую славу Освальду Шпенглеру. Появившаяся в берлинском издательстве «Слово» в 1923-м году под тем же заглавием большая книга Григория Адольфовича, полная интереснейших анализов и предсказаний, также прошла незамеченной

в эмиграции. Мои хлопоты о ее переводе на немецкий язык ни к чему не привели – и это в годы, когда на немецкий язык переводилось всё, что попадалось под руку.

Причину этой литературной неудачи Григория Адольфовича надо прежде всего искать в том, что он был чужаком решительно во всех лагерях.

Русская лево-прогрессивная общественность не принимала его потому, что, по ее мнению, русскому еврею надлежало быть если и не социалистом, то по крайней мере левым демократом. Ландау же был человеком консервативного духа. Чужой в лево-интеллигентских кругах он, как германофил, не был своим человеком и среди либерал-консерваторов, убежденных сторонников союзнической ориентации. Но и от германофилов Григорий Адольфович быстро отошел, так как в годы войны германофильство процветало у нас в лагере крайних реакционеров-антисемитов, или в лагере большевиков-пораженцев. Ни с марковцами, ни с ленинцами у Ландау не могло быть ничего общего.

Известно, что, посетивши Россию, Андрэ Жид пришел в ужас от большевистского конформизма. Что говорить, советский конформизм вещь страшная. Но пример Ландау учит тому, что требование конформизма было не чуждо и нашей свободолюбивой интеллигенции. Чужаков, не исполняющих ее социальных заказов, и она безжалостно заклевывала.

В последний раз я видел Григория Адольфовича в Берлине уже после издания Нюренбергских законов о положении евреев в Германии. От блестящего, несколько даже надменного по виду молодого человека, с которым я познакомился в Петербурге, почти ничего не осталось. Полинял Григорий Адольфович, вытерся вместе с бобровым воротником своей шубы. Светлый взор отяжелел мутным оловом. Поредели и поседели

виски. Видно было, что и костюм и галстук были выбраны обнищавшей рукой. Прежними были лишь гордый откид головы, тихий голос и горькая ирония у рта. Встреча была мимолетной. О больном вопросе не говорили, но боль, пронзительная, нечеловеческая боль чувствовалась и без слов…

Рядом с Григорием Адольфовичем выплывает в памяти другая, поначалу исключительно удачливая, но впоследствии, быть может, еще более трагическая фигура.

Собравшиеся в салоне Софьи Исаковны гости с нетерпением ждали появления Керенского, незадолго до того вернувшегося с Ленских рудников, куда он ездил на расследование вспыхнувших там беспорядков. Молодой депутат в то время входил в большую славу, становясь любимцем русской левой общественности. Софья Исаковна была как будто немножко влюблена, если не в самого Керенского, то в его миссию и его славу.

Долгожданный звонок раздался довольно поздно. В комнату стремительно вбежал остриженный бобриком, бритый человек с не по возрасту помятым лицом желтоватого оттенка. Сразу же бросилась в глаза невероятная близорукость депутата. Странным образом эта близорукость придавала лицу Керенского совершенно особую живость. Подходя к человеку и не сразу узнавая его, он на минуту, чтобы разглядеть незнакомца, весь погружался в хмурую щурь. Через секунду узнав, он радостно протягивал руку и, разгладив морщины на лбу, просветлялся на редкость приветливою улыбкою. Во время дальнейшей беседы на лице Керенского продолжала играть все та же рембрандовская светотень улыбки и хмури. Наряду с близорукостью Керенского меня поразил его голос: могучий, волнующий, металлический, голос настоящего трибуна. В комнатной беседе сила

этого голоса производила скорее неприятное впечатление, как форте оперного сопрано в небольшой гостиной.

Всплывающий в памяти в окружении писателей и поэтов образ депутата Керенского невольно наталкивает на вопрос о социологической структуре описываемой мною эпохи. Осветить совершавшийся тогда во всех областях перелом на основе личных воспоминаний невозможно. Могу сказать лишь одно. Уже задолго до войны все политически сознательные люди жили как на вулкане: возобновившаяся в 1902-м году кровавая тяжба власти и общества (В 1902-м году – убийство Сипягина, в 1904-м – убийство Плеве, в 1905-м – убийство великого князя Сергея Александровича и расстрел Гапоновской рабочей депутации по пути к Зимнему Дворцу) лишала жизнь всякого чувства устойчивости, всякой веры в возможность каких бы то ни было прочных расчетов и планов.

С убийством Столыпина даже и в консервативных кругах исчезла надежда, что власть как-нибудь справится со своею «историческою задачею». Во всем чувствовался канунный час. Всем было ясно, что Россия может быть спасена только радикальными и стремительными мерами. Но на такие меры власть была окончательно неспособна. Тень себя самой, изнутри безвольная, а потому и во вне бессильная, она, словно тяжело больной, лихорадочно металась от либеральной подачки к реакционной урезке и обратно.

После объявления пробной мобилизации в 1912-м году стало страшно. Показавшийся на горизонте призрак войны сразу же приблизил революцию. «Эти ужасы, – записывал Блок в своем дневнике, – вьются кругом меня всю неделю, отовсюду появляется страшная рожа, точно хочет сказать: «Ах, ты вот какой? Зачем ты наряжен? Думаешь, делаешь, строишь – зачем?» На это «зачем»

у широких кругов русского общества не было ответа ни в уме, ни в сердце. Зародившийся после крушения 1905-го года дух уныния, о котором я уже писал выше, с каждым днем все шире и шире расползался по России душным, ядовитым туманом. Не только в обывательских кругах, но и в придушенной тяжелою реакцией партийной среде слагалось непреоборимое ощущение: «Ничего не поделаешь, идем к гибели».

В моей, не склонной к унынию душе, эти растлевающие жизнь настроения, которые так сильны в лирике эпохи, возникли впервые, когда мне, выросшему в деревне, весною 1912-го года после долгого перерыва пришлось снова соприкоснуться с нею.

Так же, как некогда в Кондрове, катились по уже бурому подмосковному шоссе ковровые деревенские санки. Кое-где по сторонам влажно чернели голые деревья. От деревьев, на уже рыхлый ноздреватый снег узорчато падали синие тени. С искрящихся на солнце сосулек весело капала капель. На маслянистых навозных кучах копались куры и, хлопая крыльями, перекликались петухи.

Продающиеся усадьбы, которые я ездил осматривать, вместе с родителями жены, собиравшимися купить небольшое именьице, показывали обыкновенно пожилые, на вид степенные мужики, которых крестьяне, стекавшиеся посмотреть на приезжих, кое-где по старине еще именовали бурмистрами.

Стоило, однако, после осмотра имений (в большинстве случаев помещики в них уже не жили) по душам разговориться с патриархальными на вид управляющими и крестьянами, чтобы сразу же почувствовать, что былой деревни уже нет. В 1912-м году за всеми продажами имений стоял 1905-й год: помещичье безденежье, крестьянское нежелание работать на дармоедов, предчувствие новых революционных вспышек. Да и как было

их не предчувствовать после знаменитого «Крестьянского съезда» 1905-го года, на котором деревенские депутаты так прямо и заявили: «Не было ни одного случая насилия: били только помещиков и их управляющих, да и только в том случае, если они сопротивлялись».

Было ли создавшееся накануне войны положение по существу столь безвыходным, каким оно оказалось, в конце концов, потому, что уж очень простым представлялся выход из него той свободолюбивой интеллигенции, которая одна только и могла спасти Россию? Обладай она более глубоким чувством трагической сущности истории, более глубоким пониманием греховной природы всякой власти, не думай она в своем просвещенском оптимизме, что достаточно введения ответственного перед народом министерства, чтобы все сразу пришло в порядок, она, быть может, и нашла бы в себе мудрость дальнейшего претерпения безвольной и безыдейной, но далеко не такой кровавой, как то казалось нашей общественности, власти, которая, как я писал еще в 1915-м году, одна только и могла довести войну до приемлемого конца и на тормозах спустить Россию в новую жизнь. Но в том-то и горе, что этой возможности в прогрессивном лагере никто не чувствовал. Десятилетиями обострявшаяся борьба между правительством и обществом приняла во время войны столь острые формы, что ни у кого не было сомнений в том, что только общество, свергнув монархию, сможет спасти Россию.

Как иначе понять, как объяснить знаменитую фразу Милюкова, сказанную им после опубликования манифеста 17-го октября 1907-го года: «Ничего не переменилось, война (с правительством) продолжается». И таких фраз было в свое время произнесено не мало. «Зачем говорить о возможности столкновения общества

и власти, – витийствовал любимец публики Родичев, – голосу веления народного ничто не может противостоять. Нас пугают столкновением. Чтобы его не было – одно средство – знать, что его не может быть: сталкивающиеся с народом будут столкнуты силою народа в бездну».

Какой легкомысленный, банкетно-риторичный звон! А ведь и он выслушивался передовой интеллигенцией чуть ли не со слезами на глазах. Что говорить: героичности, жертвенности, вдохновения, дара борьбы в русской интеллигенции, как либеральной, так в особенности и социалистической, было хоть отбавляй; зато трезвости, деловитости, политического глазомера – мало. Я знаю – все это было уже не раз сказано, но есть истины, которые необходимо неустанно повторять себе и другим.

С эмигрантской памятью трудно бороться, но не будем слишком строги к ней: без прикрашивания прошлого многим из нас не вынести бы своего настоящего. Но не будем также и поддаваться обманчивым воспоминаниям: в малой доле яд целебен – в большой смертоносен. Скажем потому просто и твердо: хорошо мы жили в старой России, но и грешно. Если правительство и разлагавшиеся вокруг него реакционные слои грешили, главным образом, «любоначалием», то есть похотью власти, либеральная интеллигенция – «празднословием», то описанные мною в этой главе круги повинны, говоря словами все той же великопостной молитвы Ефрема Сирина, в двуедином грехе «праздности и уныния».

Дать людям, рожденным после 1914-го года правильное представление об этом грешном духе, об его тончайшем аромате и его растлевающем яде, нелегко. Дух праздности, о котором говорю, не был, конечно, духом безделья. Наша праздность заключалась

не в том, что мы бездельничали, а в том, что убежденно занимались в известном смысле все же праздным делом: насаждением хоть и очень высокой, но и очень мало связанной с «толщью» русской жизни культуры.

Многие это чувствовали, томились этим. В том числе все тот же Александр Блок. «Пишу я вяло и мутно, как только что родившийся. Чем больше привык к красивостям, тем нескладнее выходят размышления о живом, о том, что во времени и пространстве. Пока не найдешь действительной связи между временным и не временным, до тех пор не станешь писателем не только понятным, но и кому-либо и на что-либо, кроме баловства, нужным». Точнее сказать трудно: «праздность» культурной элиты канунной России заключалась, конечно, лишь в том, что, занимаясь очень серьезным для себя и для культуры делом, она, с социологической точки зрения, занималась все же «баловством».

Вверх по Дмитровке тянутся высокие (собственные) и низкие (извозчичьи) санки. В шею теплым дыхом пышут ноздри наседающей сзади «резвой». Вот во дворе за оградой показывается двухэтажный востряковский особняк, в котором помещается Литературно-художественный кружок и собирается Общество свободной эстетики.

В тепло натопленной просторной передней приятно пахнет надушенными женскими шубками. У больших зеркал привычно поправляя прически и глубоко заглядывая самим себе в глаза, охорашиваются московские дамы, любительницы литературных мод и модных знаменитостей. Они возбуждены. Предстоит бой символистов с футуристами. Он будет пожалуй еще горячее, чем бурная встреча символистов со «знаньевцами», общественниками-натуралистами: от людей, ходящих днем по улицам в цилиндрах и длинных цветных кофтах, можно всего ожидать. Особенно интересует вождь

футуристов «Смышленый малый Маяковский, который кофтой цвет танго наделал бум из ничего».

Толпа, среди которой мелькают знакомые лица, медленно подымается по устланной ковром лестнице мимо – Боже, до чего же памятного портрета Ермоловой кисти Серова. Она стоит в привычной исполненной сдержанного движения позе. На ней закрытое черное бархатное платье с трэном. Гордая голова вдохновенно откинута назад. Вот-вот она сдвинется с места, вплотную подойдет к рампе, исповеднически подымет кверху правую руку и тихо начнет своим низким, глуховатым, но проникновенным голосом один из тех возвышенных монологов в защиту справедливости и свободы, которыми она неизменно потрясала наши сердца.

Не менее характерен портрет Шаляпина. Певец изображен малоголовым долговязым парнем с капризно-печальным лицом и хмельно нависшими на лоб вихрами. Мягкая рубашка, жилет и галстук как будто из-под смокинга, но с плеч спадает двуполый сюртук, сидящий на манер поддевки. Серов умел разгадывать людей.

Несколькими ступеньками выше нас с женою осанисто колышет свои барские дородности граф Алексей Николаевич Толстой. Рядом с ним пружинисто шагает талантливый художник Жорж Якулов, похожий на фавна армянин, в долгохвостой визитке и лаковых штиблетах. Приятелям весело. Ха-ха-ха-ха… могуче разносится всхрапывающий смех Толстого. Но вот происходит какое-то непонятное замешательство: почти одновременно раздаются испуганный женский возглас, чей-то звонкий смех и возмущенные голоса. Оказывается Алешка Толстой, как его называли в приятельской компании, почувствовал себя легавою собакою и, крикнув самому себе «пиль», схватил подымающуюся перед ним даму за ее розовые гусиные лапки…

Зал постепенно наполняется живой говорливой публикой. Вокруг известных московских «прелестниц», как говорили в начале прошлого века, вьются знаменитости; писатели, художники, музыканты, актеры, психиатры, адвокаты – почти все в сюртуках. Королями ходят по залу газетные критики. В отличие от советских и гитлеровских писак, обязанных расхваливать все, что наполняет кассы государственных и городских предприятий, они чувствуют себя неподкупными олимпийцами.

Кое-где видны мундиры аполитичных студентов-культурников «белоподкладочников». Во всех рядах много одевающихся под Айседору Дункан изломанных «пластических девиц». Опытному глазу сразу заметны сговаривающиеся представители оппозиционных литературно-миросозерцательных группировок. Вот вождь иммажинистов – нагловикий, лопоухий и щегольски вылощенный Вадим Шершеневич, специалист по зычному прорезыванию своим громадным, резкометаллическим голосом несущегося к эстраде шума и свиста своих оппонентов. Рядом с ним Маяковский.

Превыше крестов и труб,
Крещеный в огне и дыме,
Архангел – тяжелоступ,
Глава футуристов… Владимир.
Он возчик и он же конь,
Он прихоть и он же право.
Вздохнул, наплевал в ладонь:
– Держись, ломовая слава…

В то время как в кулуарах организуется оппозиция, на эстраде, обмениваясь улыбками и рукопожатиями, уютно рассаживаются за длинный стол общепризнанные представители уже выкристаллизовавшихся литературных школ и направлений. Когда этого требует тема доклада, к членам правления Кружка в качестве

заранее приглашенных оппонентов подсаживаются то философы, то музыкальные или театральные критики.

Докладов и лекций без прений Москва, как я уже отмечал, не любила. Мысль, в отрыве от горячей борьбы противоположных мнений ее не зажигала. Отсюда и любовь не только к публичному обсуждению всевозможных, в особенности нравственно-религиозных и общественных вопросов, но и к бывшим накануне войны в большой моде постановкам литературно-судебных процессов. Эстрадные суды над «Екатериной Ивановной» Леонида Андреева с назначением прокуроров, защитников и присяжных заседателей из среды литераторов, неизменно собирали, как в столицах, так и в провинции, мало взыскательную, но очень большую публику.

Собрания Литературно-художественного кружка были как по своим темам, так и по своему уровню весьма различны. Когда на эстраде появлялись представители революционных течений в искусстве, прения превращались в настоящие скандалы, доходившие иной раз чуть ли не до драки. В своих воспоминаниях Белый сам рассказывает о том памятном вечере, на котором его и его приверженцев кто-то обозвал «лучезарными щенками», а он своих оппонентов «обозною сволочью символизма».

По окончанию прений, в то время, как широкая публика, оживленно беседуя, расходилась по домам, члены Кружка с тем особым московским душевно-утробным подъемом, который так хорошо описан Буниным в «Иде», рассаживались вокруг столиков светлого клубного ресторана. После ужина кое-кто уходил в устланные зеленым сукном, залитые зеленоватым светом и заставленные сплошными стеклянными шкапами библиотечные комнаты, а кое-кто к зеленым столам игорного зала – попытать свое счастье.

К двенадцати ночи, а то и позднее, подъезжали только что отыгравшие актеры со следами спешно смытого грима на выразительных обвислых лицах. Весело засовывая подкрахмаленные салфетки за крахмальные воротники, они со страстью набрасывались на водку и закуску. Такой постоянной готовности есть, пить, громогласно каламбурить и ухаживать, какою обладали наши лицедеи, в других слоях общества и в других странах я не встречал. Несмотря на то, что многие из них (главным образом «старики» Малого театра) страдали всевозможными ожирениями, и не могли начать сезона не побывав на курортах, они обладали совершенно несокрушимым физиологическим оптимизмом. Помню ночные блины у М. Ф. Ленина, начинавшиеся в полночь, после спектакля и кончавшиеся в три часа утра. Как можно было после таких блинов спать и как ни в чем не бывало в 10 утра быть уже на репетиции, одному Богу известно. Но ничего, удавалось, причем не раз и не два, а целую неделю подряд.

В том же доме, в котором помещался Литературно-художественный кружок, заседало и Общество свободной эстетики. Если Кружок был витриною новой литературы, то Общество свободной эстетики было скорее ее лабораторией. На сравнительно малолюдные собрания этого Общества собиралась только своя, частично весьма снобистическая публика. Здесь корифеи «символизма» читали свои новые стихи и более утонченно, чем в Кружке, развивали свои новаторские теории. Здесь же интимно принимались иностранные писатели и художники, «комбатанты» нового, революционного искусства. Помню выступления Матисса и Маринетти. Не знаю, какое впечатление вынесли они от своего посещения Москвы, но боюсь, что они вернулись домой с головами, вскруженными не только заморскими винами и русскими водками, но и чрезмерно

сложными русскими теориями апокалиптической историософии и теургического искусства. Русская мысль была в сущности всегда менее доступна людям романской, чем германской культуры.

В начале текущего века борьба этих культур не играла той роли, что в 30-х годах прошлого столетия, когда за душу России в западническом лагере боролись вольтерианцы и фурьеристы, а в славянофильском приверженцы немецкой романтики. Но все же русские символисты, как я уже отмечал, отчетливо делились на гетеанцев и бодлерианцев, а знатоки и любители новой музыки – на поклонников консервативного Николая Медтнера и приверженцев барона Петра Ивановича д'Альгейма, мужа незабвенной Марии Алексеевны Олениной д'Альгейм.

Кто не помнит ее концертов сначала в Малом зале Благородного собрания, а потом в собственном помещении созданного ею и мужем «Maison de Lied». Она пела не только на всех европейских языках, не исключая еврейского жаргона, но и из глубины всех народных душ. Если бы дух ее концертов когда-либо в будущем мог стать духом новой «Лиги наций», Европа была бы спасена.

Мария Алексеевна никогда не была первоклассной певицей (у нее был небольшой и не безусловно приятный голос), не была она и первоклассной эстрадной актрисой в духе Шаляпина, но она была настоящею «жрицей» искусства в полном смысле этого большого слова. Несмотря на то, что Мария Алексеевна была весьма самостоятельной личностью, она на эстраде производила впечатление медиума. Для людей, близко знавших чету д'Альгейм, это не удивительно. Для них не тайна, какую громадную роль играл в творчестве своей жены Петр Иванович. Даже песни Мусоргского были созданы этим гениальным французом, всю жизнь

искавшим новый образ синтетического искусства. Не смею утверждать, но думаю, что Скрябин эпохи «Экстаза» и «Прометея» был бы невозможен без влияний и внушений д'Альгейма.

Вспоминая д'Альгеймов, нельзя не вспомнить в свое время широко известного всей передовой России профессора Тарасевича, бессменного председателя съездов Пироговского общества.

Тарасевичи и д'Альгеймы были закадычными друзьями. Их соединяли светлые юношеские воспоминания о Париже, страстная любовь к искусству, главным образом, к музыке и какое-то особое, высокое «пиршественное», в платоновском смысле этого слова, ощущение жизни.

После концертов Марии Алексеевны в на редкость радушный, артистически беспечный дом Тарасевичей, к заставленному цветами, фруктами и винами столу часто собиралось довольно большое общество. Случалось, что после оживленных разговоров и страстных споров между Петром Ивановичем, Белым, Медтнером, Рачинским и тишайшим Петровским, Мария Алексеевна подходила к роялю, чтобы показать как они с мужем задумывают исполнение какой-нибудь новой, находящейся еще в работе вещи.

Лишь много лет спустя узнал я, что в душе профессора Тарасевича не все обстояло так благополучно, как оно казалось наполнявшим его дом друзьям и знакомым. Все чаще и чаще заговаривал он о том, что надо прекратить рассеянную жизнь, собраться с силами и засесть, наконец, за науку, чтобы успеть перед смертью завершить работу, так блестяще начатую под руководством Мечникова в Пастеровском институте в Париже.

Мечте Льва Александровича не суждено было осуществиться. Артист в душе, еще молодым ученым не доведший до конца с трудом налаженный научный

опыт ради замечательной постановки «Тристана» в Миланской опере, и горячий общественник по темпераменту и воспитанию, он при всем желании не мог переменить стиля и перестроить обихода своей жизни.

Опираясь на ряд писателей, социологов и философов – Герцена, Михайловского, Толстого, Бердяева и других, можно было бы написать поучительное исследование борьбы дилетантизма и профессионализма в русской культуре 19-го века.

Трагедии духовной скудости и профессиональной узости Россия почти не знала. Обратная же трагедия – трагедия слишком щедро отпущенных даров и связанного с этой щедростью дилетантизма, была уделом многих крупных дарований.

Вспоминая царившие в предвоенное время среди культурной элиты России настроения и идеи, нельзя не уделить особого внимания тому хаосу и распаду, что господствовали у нас в сфере любви и семьи.

Высказанная Белым в третьем томе его воспоминаний мысль, что образ столяра Кудеярова («Серебряный голубь»), главы «голубиной секты» и сожителя «духини» Матрены, представляет собою как бы прообраз Распутина, кажется мне очень верною. Нет сомнения, что «распутиновщина» появилась в России задолго до Распутина. Вероятно, сам Белый только потому и расслышал в подмосковном селе Целебееве мистически-эротически-революционный аккорд кудеяровской распутиновщины, что тот же аккорд уже годами растлевал душу интеллигентски-писательской среды.

Несмотря на то, что после грозных событий 1905-го года уже ясно обозначился неминуемый срыв в пропасть, передовая Россия безудержно крутилась в каком-то напрягающем нервы, но расслабляющем волю похмелье. Как раз в пореволюционные годы в Москве один за другим вырастали новые и расширялись старые

рестораны и кафе. В пику французски-фрачному «Эрмитажу» и старозаветно-купеческому Тестову, в самом центре Москвы на Арбатской площади отстроилась полюбившаяся москвичам «Прага». В ней, овеянной печальными воспоминаниями о революционно-банкетной кампании в эпоху первой Государственной Думы, чаще, чем в других ресторанах, собиралась богемно-купеческая и артистическая Москва. Чем страшнее становилась жизнь, тем больше «голубков» и троек высылало к полуночи на Арбатскую площадь экипажное заведение Туркина, тем длиннее становился хвост высокосаночных лихачей у подъезда «Праги».

Ночь за ночью неслись по бледно-сиреневой под электрическими шарами Тверской в снег и мглу заиндевелых аллей Петровского парка лихие ковровые санки со щитками, похожими на перевернутые паруса.

Экзотическим цветком распускался в хмельных мозгах утопающий в снегах загородный ресторан: негр в красной ливрее, пальмы, нудь, стон и страсть сладостно-тлетворного «танго», вперемежку с более родной, в Грузинах на Сенной площади зародившейся, старомосковской цыганщиной:

Перебой и квинта вновь
Ноет-завывает,
Приливает к сердцу кровь,
Голова пылает.
Чибиряк, чибиряк, чибиряшенька,
С голубыми ты глазами, моя душенька.

Не будем обманываться: по своим ритмическим перехватам буйные, хмельные, но в сущности трагически-чистые слова, вошедшей как раз перед войной в большую моду «цыганской венгерки» слушались кутившей в Стрельне и у Яра московской публикой совсем не в тех чувствах, в которых их некогда пел Фету злосчастный Апполон Григорьев и в каких их еще в конце 19-го века

слушала на Нижегородской ярмарке полная рогожинских страстей серо-купеческая и провинциально-дворянская Россия.

В Москве начала века, в среде меценатствующего купечества, краснобаев присяжных поверенных, избалованных ласкою публики актеров, знатоков загадочных женских душ и жаждущих быть разгаданными женщин, в среде литераторов, поэтов и художников нашей «полумиллионной и полубогемной, ныне живущей, завтра сходящей Москвы», вместо стихии, уже давно царила психология, вместо страстей – переживание, вместо разгула – уныние. Головы скорее фантазировали, чем пылали, а к сердцу приливала не кровь, а сгущенный шартрезом и бенедиктином «клюквенный сок» блоковски-мейерхольдовских мистиков. Под несущиеся с эстрады исступленно-скорбные рыдания:

Басан, басан, басана,
Басаната – басаната,
Ты другому отдана,
Без возврата, без возврата.
Что за дело – ты моя,
Разве любит он, как я?

растленные сладостною мертвечиною брюсовской эротики, расчесанные, напомаженные юноши томно цедили в русалочьи души своих кутающихся в надушенные меха красавиц совсем не григорьевские строки своего «мэтра»:

Идем свершать обряд не в страстной, детской дрожи,
А с ужасом в глазах извивы губ свивать,
И стынуть, чуть дыша, на нежеланном ложе,
И ждать, что страсть придет, незванная, как тать…

Как ни остры были яды брюсовской эротики, они все же действовали далеко не так сильно, как более тонкая отрава «блоковщиной».

Над сложным явлением «блоковщины» петербургской, московской, провинциальной, богемной, студенческой и даже гимназической, будущему историку русской культуры и русских нравов придется еще много потрудиться. Ее мистически-эротическим манифестом была «Незнакомка»:

И медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль…

Эти медленно-певучие строки с такою магическою силою захватывали наши души, что даже и наиболее чуткие среди нас не замечали в них кощунственного слияния тоски по «Прекрасной даме», которую, благословленный на путь своего художественного служения Соловьевым, Блок воспевал в своих ранних стихах, с наркотически-кабацкой эротикой, что перед самой войной доводила до исступления многотысячную публику Вертинского, с монотонно-сомнамбулическим сладострастием распевавшего по эстрадам свою знаменитую песенку: «Ваши пальцы пахнут ладаном»…

До чего велика, но одновременно мутна и соблазнительна была популярность Блока, видно и из того, что в то время как сотни восторженных гимназисток и сельских учительниц переписывали в свои альбомы внушенные Блоку просительной ектенией строки:

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость Твою…

– проститутки с Подъяческой улицы, гуляя по Невскому с прикрепленными к шляпам черными страусовыми перьями, рекомендовали себя проходящим в качестве «Незнакомок».

Будь этот эротически-мистический блуд только грехом эпохи, дело было бы не страшно. Страшно то, что он в известном смысле был и ее исповедничеством. Замечание Достоевского, что русская идея заключается в осуществлении всех идей, верно не только по отношению к общественной, но также и к личной жизни. Ходасевич правильно отмечает в своем «Некрополе», что люди, в особенности женщины декадентской среды, так же, как в свое время и народовольцы, не признавали расхождения слова и дела. Требуя, чтобы романы развивались в жизни так же последовательно, как в книгах, они во всем смело шли до конца, превращая тем самым эстетический канон искусства в нравственный закон. Стыдно вспомнить, сколько мы в свое время говорили, что любовь, как соната, должна строиться на борьбе двух тем, что все измены дон Жуана свидетельствуют о его верности образу «вечной женственности», что трагедию любви нельзя смешивать с неудачною любовью, ибо как в искусстве высшими формами являются не назидательная басня и натуралистический роман, а лирическое стихотворение и трагедия, так и в любви, исполненной вечности, миг, все равно счастливый или несчастный, значительнее долгих лет обыденного брака.

Забота о постижении вечности в любви тяготила, впрочем, немногих. Для большинства соловьевски-блоковская тема «вечной женственности» была лишь литературною фразою, не связанной ни с каким личным

опытом. Зато с невероятною быстротою размножались эстетствующие чувственники, проповедники мгновений и дерзаний. Этот культ, певцом и жрецом которого был Валерий Брюсов, стоил его адептам многих мук и многих жертв.

Помнящие описываемую мною. Москву, помнят, конечно, взволнованные разговоры, вызванные прочтением Брюсовым за ужином в Литературном кружке вскоре после самоубийства близкой ему поэтессы Львовой посвященного новой встрече стихотворения:

Мертвый в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий…

Лучшего пояснения его кредо:

Все в жизни, быть может, лишь средство
Для ярко-певучих стихов…

нельзя себе представить.

Как ни анормальна была атмосфера в культурно-передовых и наиболее талантливых кругах Москвы, она в тех же кругах Петербурга была еще взвинченнее и нервнее. Здесь религиозные и художественные вопросы как-то сложнее, но и непосредственнее переплетались с политическими утопиями и социальными мечтами, что создавало на заседаниях Религиозно-философского общества чуждую действительности и трезвости ауру.

Не случайно, что свой мертворожденный мистический анархизм милейший Георгий Чулков защищал не в Москве, а в Петербурге. Не случайно также, что проповедническая деятельность одного из самых примечательных, но и самых беспредметных мыслителей «рубежа двух столетий», певца двух бездн и пламенного защитника социальной революции во имя «третьего завета» Д. С. Мережковского, никогда так не волновала Москвы, как Петербург. Беловские описания каких-то чуть ли не хлыстовских радений в петербургских салонах

полны, конечно, карикатурных преувеличений и все же им нельзя отказать в некоторой зоркости. Нет сомнения, что наиболее значительным людям кануной России определенно не хватало практической деловитости и религиозной трезвости. На реальные запросы жизни передовая интеллигенция всех окрасок и направлений отвечала не твердыми решениями, а отвлеченными идеологиями и призрачными чаяниями. Социалисты чаяли «всемирную социальную революцию», люди «нового религиозного сознания» – оцерковление жизни, символисты – наступление теургического периода в искусстве, влюбленные – встречу с образом «вечной женственности» на розовоперстой вечерней заре.

Всюду царствовало одно и то же: беспочвенность, беспредметность, полет и бездна.

Над бездонным провалом в вечность,
Задыхаясь, летит рысак…

Чудом перемахнув через бездну большевистской революции, мы очутились в Западной Европе. Большинство описанных мною философов, писателей, журналистов, политиков и всяких иных известных и незаметных деятелей русской культуры оказалось в Париже.

Чуть ли не ежегодно наезжая из Германии, где я в 1926-м году получил профессуру, в Париж и постоянно встречаясь там со старыми московскими знакомыми, мы с женою невольно воспринимали русскую жизнь Парижа, как эпилог московской довоенной жизни. Что говорить, парижская эмиграция не горела тем чистым ярким пламенем, к которому ее обязывало страдание родины. Были и чад, и тоска, и злоба, и уныние. Но все же нельзя отрицать, что в нищей, неприкаянной эмиграции совершался процесс покаяния и духовного отрезвления.

В то время, как чисто политическая, «ничего не забывшая и ничему не научившаяся» эмиграция изнемогала в партийной междоусобице, вокруг представителей так называемого «нового религиозного сознания» уже начиналась творческая работа по осмысливанию развернувшейся трагедии. В этой работе по-новому перегруппировывались люди и силы, вырастали новые религиозные, культурные и общественно-политические фронты.

Волновавшая в свое время религиозно-философское общество тема сращения христианства и социальной политики начинала понемногу объединять отдельные группы православных мыслителей, в которых революция не убила веры в христианское дело, со вчерашними революционерами, пережившими большевистскую трагедию как свой личный грех. Писатели группы морозовского «Пути», продолжавшие начатое в Москве на Знаменке дело под тем же названием в Париже, начали, к смущению правоверных демократов-просвещенцев, все чаще появляться на страницах эсеровских «Современных записок».

В результате этой христианской прививки к стволу традиционного в России толстого общественно-политического журнала, религиозно-философские статьи начали приобретать такой вес и стали отнимать так много места, что И. И. Бунаков-Фондаминский, видный член Центрального комитета партии социалистов-революционеров, старый друг Мережковских и приверженец их революционно-христианских идей, решил в 1926-м году основать «Новый град», журнал, посвященный вопросам социального христианства, ближайшими сотрудниками которого оказались талантливейший ученый и блестящий писатель, доцент Петербургского университета, Федотов и я. Чуть ли ни в каждом номере «Нового града» писали Н. А. Бердяев,

приобретший в эмиграции всеевропейскую известность, отец Сергий Булгаков, выросший в изгнании в крупнейшего православного богослова, перешедшие на религиозные позиции идеалисты Б. П. Вышеславцев и С. И. Гессен, а также и некоторые евразийцы. Нет сомнения, что историки эмиграции в будущем установят немалое влияние «Пути», «Современных записок» и «Нового града» на лучшие элементы эмигрантской молодежи.

Смотря по своему политическому направлению, эти историки или вменят представителям «пореволюционного религиозного сознания» в большую заслугу, что они удержали эту молодежь от слепой ненависти к большевикам, от националистического озверения, белогвардейского чванства и несовместимого с христианством, утробного антисемитизма, или поставят все это им в вину.

Как от «Современных записок» отпочковался «Новый град», так накануне мировой войны от «Нового града» отпочковалось «Православное дело». Журнал этот сознательно отодвигал на второй план разработку догматических и религиозно-философских вопросов, выдвигая на первое место проблемы практического христианства, проблемы живой, духовной и практической помощи ближнему. Надо отметить, что «Православное дело» началось не с журнала, а с реальной помощи нуждающимся элементам эмиграции. Когда-нибудь будет подробно рассказано и об этом «Православном деле», во главе которого стояла монахиня Мария, урожденная Пиленко, по первому мужу Кузьмина-Караваева, по второму Скобцова. Духовный путь, пройденный этой замечательной женщиной, можно по праву рассматривать, как прообраз того пути, который один только и ведет к спасению.

В свое время душа матери Марии пылала всеми страстями и болела всеми грехами описанной мною

эпохи. Со свойственной ей глубиною она прошла как через мистическую муть петербургской блоковщины, так и через социалистический утопизм.

Прокомиссарствовав во время революции некоторое время в каком-то южном городе, по мандату левых эсэров, и написав большое количество по форме не совершенных, но своеобразно значительных стихов, она пришла к заключению, что так дальше жить нельзя. Поняв это, она, обремененная тяжелыми заботами о семье, состоявшей из трех детей и матери, и принужденная добывать хлеб в качестве «Femme de menage», все же успела окончить богословский факультет в Париже. Окончив его, она приняла постриг, но и монахиней осталась работать в миру. Почти единоличным усилием добыла она довольно большие средства, открыла странноприимный дом для нищей эмиграции и устроила дешевые квартиры для нуждающихся писателей. Одновременно она продолжала сотрудничать в журналах по религиозным вопросам, напечатала, к смущению многих духовных лиц, воспоминания о своих встречах с Блоком и выпустила сборник стихов, посвященных памяти ее погибшей в Советской России старшей дочери. Бывая в Париже, мы часто ходили в помещавшуюся в гараже домовую церковь общежития матери Марии, где было как-то легче молиться, чем в старорежимном храме на Rue Daru с традиционно громогласными дьяконами.

Я подробней остановился на жизни матери Марии, потому что в ее деятельности с редкой последовательностью начала раскрываться та правда, что уже накануне войны стучалась в двери двадцатого века.

Большим утешением для всех нас, работавших в эмиграции над синтезом средневекового боговерия, либерально-гуманитарного свободолюбия и социальной справедливости, было то, что мы не чувствовали

себя отщепенцами. Доходившие до нас скудные сведения с родины согласно свидетельствовали о том, что и там, быть может, там-то прежде всего, растет живая вера в Бога, тоска по личному творчеству и жажда новой справедливости.

К такой же цели стремились рядом с нами и новые люди Европы. В кругах французского неотомизма, вокруг значительной и благородной фигуры Жака Маритэна, на страницах журнала «Esprit» и в сердцах группирующейся вокруг этого журнала молодежи шла та же, начатая в России Соловьевым, работа по сращению живого христианства с социальной эволюцией, что и в наших рядах.

К той же цели, хотя иными путями и в другой религиозно-психологической тональности, пролагали себе путь вместе с нами и неотомистами и религиозные социалисты Германии, Англии, Америки. И все это охватывалось и скреплялось работами христианских экуменических конференций.

Я пишу об эмиграции в прошлом времени. Пишу в тревожном предчувствии, что в недавно занятом немцами Париже она уже начала перерождаться в сплошь безыдейное беженство, исповедующее по необходимости только один девиз: «спасайся, кто может». Очень боюсь, что и по окончании войны совсем захиреет или, что еще хуже, исполнится новым духом наша эмигрантская жизнь. Не думаю, чтобы Бердяеву удалось возобновить «Путь», а нам с Бунаковым «Новый град». «Православное дело» в тиши, конечно, будет продолжаться, но тратить деньги на издание собственного журнала оно вряд ли уже сможет: каждое су придется беречь на хлеб и картошку.

Нет сомнения, что на авеню де Версай, в заставленной книжными полками и заваленной рукописями и журналами квартире, уже не будут собираться кружки

богословов, философов, поэтов и писателей для горячих бесед о старых грехах России и о ее будущем образе.

Прекратят свой выход и многие эмигрантские журналы, целый ряд крупных научных трудов, подготовленных к печати как раз накануне войны, останется не напечатанным. Не увидят света, по всей вероятности, и многие художественные произведения. Осиротеет и, если не обольшевичится, то окончательно денационализируется эмигрантская молодежь.

Не печалиться душой, что вспыхнувшей войной окажется загубленным с таким трудом возделанное нами опытное поле пореволюционной русской культуры, конечно, нельзя. Но и падать духом нет основания. Совершающееся для нас не неожиданно. Русская религиозно-философская мысль 19-го века полна предчувствий и предсказаний тех событий, что ныне громоздятся вокруг нас. Начиная с Достоевского и Соловьева и кончая Бердяевым, Мережковским и Вячеславом Ивановым, она только и думала о том, что станется с миром в тот страшный час, когда он, во имя мирских идеалов, станет хоронить уже давно объявленного мертвым христианского Бога.

Час исполненья страшных русских предчувствий настал. Потому так и бушует мрачнеющий океан истории, что он не принимает в свою глубину насильнически погружаемого в него Гроба Господня.

Спасение только в вере, что после мрачных предсказаний исполнятся и светлые чаяния России, что…

Железным поколеньям
Взойдет на смену кроткий сев.
Уступит и титана гнев
Младенческим Богоявленьям.

Март-июль 1940 г.

Глава VIII
ВОЙНА 1914-го ГОДА

Последнее лето перед войной мы с женой проводили в Ивановке, небольшом именьице ее родителей, о покупке которого весною 1910-го года я рассказывал в предыдущей главе. Наша Ивановка находилась в двух верстах от большой деревни Знаменки.

Таких живых, оборотистых деревень, как Знаменка, под Москвой насчитаешь не много: кузница при въезде в деревню, кузница на выезде, почта, школа, кооператив, две большие лавки, что твой Мюр и Мерелиз, два трактира и прекрасная земская больница, в которой в большевистские годы самоотверженно работал обрусевший грек, доктор Кастараки.

Население Знаменки отличалось живостью, талантливостью, предприимчивостью, но, по правде сказать, и жуликоватостью. В церковь ходил мало кто, да и то лишь по большим праздникам.

Верховодили в Знаменке три человека: оборотистый лавочник Фокин, отец которого разбогател на закупках провизии в Москве для местных помещиков, барышник Колесников, отмахивавший в свои 75 лет верст по 30-ти в день верхом без седла на сложенном мешке, со своими тремя сыновьями, один другого статнее и краше, и Лукин – небольшого роста мужичонка интеллигентского вида, спаивавший деревню водкою в чайниках и раздевавший ее высокопроцентными ссудами.

Описывая Знаменку, не могу не сказать нескольких слов о моем большом приятеле, сапожнике Иване Алексеевиче Лисицыне.

Новая, светлая и просторная изба Ивана Алексеевича стояла на отлете, самым своим положением как бы отмежевываясь от деревенской темноты и грязи. Хотя

Лисицын и был первоклассным сапожником, вонючее сапожное ремесло как-то не шло к нему, всем своим обликом, высоким ростом и барственною осанкою напоминавшему Тургенева. Особенно красив бывал Иван Алексеевич зимою, когда в новом нагольном тулупе поверх синей поддевки и в песочно-голубоватой беличьей шапке с наушниками, он стоя выезжал со двора на своем сытом, гнедом мерине, запряженном в новые розвальни с решетчатою спинкою.

В годы революции Лисицын частенько заглядывал к нам в усадьбу. Приезжал отвести душу: посидеть в чистом месте, побеседовать с образованными людьми. Хотя дела его и при большевиках шли недурно – его опрятная, дородная, как лунь седая, но еще очень крепкая жена не раз угощала меня настоящим чаем с сахаром и сдобными ржаными лепешками – он, как никто, страдал от творившегося кругом безобразия.

Ему, заботливому хозяину и порядливому человеку, никогда не перестававшему любоваться сытостью своего скота, чистотою соломенной подстилки в стойлах, продегтяренностью сбруи в богатом медном наборе, плотною кладкою заготовленных на зиму под навесом дров, нежностью канареечной трели в окне и своим дорогим, заграничным ружьем, было до слез больно смотреть, как «товарищи», без пользы и смысла для себя и для дела, губили барское и крестьянское добро.

Не прозевать сворота с шоссе в Ивановку, в сумеречный час, даже и знакомому с местностью человеку было нелегко. К нам в усадьбу вела не дорога, а так, многоколейная российская разъезженность, летом пыльная, а по весне и осени топкая. С шоссе же притаившейся у речки в овраге деревни не было видно.

Подводившая к усадьбе старая березовая аллея начиналась сразу же за деревней. Если ее не срубили, то она, конечно, и сейчас начинается там же, за мещанскими

избами, но писать об Ивановке в настоящем времени я решительно не могу: пробовал – не выходит.

По обеим сторонам этой чуть подымавшейся в гору аллеи лежали четко обрамленные густым ельником поляны. Правая из них вплотную прилегала к обнесенному забором старому яблонному саду. Как молод, как прекрасен бывал он по веснам в цвету.

Уйдя из-под низко свисавших березовых ветвей, дорога плавно огибала полукруг желтой акации и тут же радостно вбегала в приветливо раскрытые ворота усадьбы. Старый, по крайней мере столетний, но совсем еще крепкий, умно и удобно построенный деревянный дом с двумя террасами и антресолями; перед ним, на полукруглой лужайке два гигантских темно-зеленых конуса – две редкостной породы ели; перед большой террасой, в дальнем углу обширной песочной площадки – старый клен, под ним круглый стол и скамейки. Позади яблонный сад на сто корней, а дальше парк, за которым открывался привольный вид на незатейливые, но очаровательные русские дали…

Все скромно, не Бог весть как красиво, но душевно и домовито. Чувствовалось, что люди строились и обзаводились на долгую и прочную жизнь, себе и детям на радость. Окружена была Ивановка такими же, как и она сама, небольшими именьицами, без барских роскошей и затей. Лишь в последних многовековых вознесенских дубах, развалившихся, как и вся старая Россия, на наших глазах, чувствовались остатки широкой планировки английского парка.

В наше время Вознесенское было уже не барским имением, а доходным предприятием лесоторговца Туманова, рыжего с поросячьим лицом «кулака», не признававшего над собою ничьей власти, кроме власти старика-отца, человека во всех отношениях весьма замечательного и всеми уважаемого. Детей у Туманова,

еще молодого мужика, была куча – мал-мала меньше и все в отца: рыжеватые, в веснушках, с белыми ресницами и бровями. Три старших сына-подростка, намечались такими же предприимчивыми хозяевами, как отец. Тумановы пахали на трех битюгах, доили четырех коров-ведерниц, занимались извозом и жгли уголь, купив у помещика по дешевке 50 десятин

Большую роль в деревне играл брат Туманова, юродивый Пашка, который зиму и лето слонялся по деревням и именьям, подбирая с земли и подбрасывая в воздух щепки и прутья. Обыкновенно этот безвредный, немой идиот бывал тих и спокоен, но временами на него находило странное возбуждение: тогда он громко мычал и, густо краснея, гневно потрясал кулаками. Вера в Бога у ивановских мужиков была не очень крепка, но в Пашку, «Божьего человека», твердо верили не только бабы и детишки, но и мужики. Держалась эта вера на том, что и в большие морозы Пашка всегда ходил босой, в одной рубахе и безо всякого вреда для себя глотал селедочные головы и кости.

Богатому Туманову малая озабоченность жизнью и здоровьем больного брата в вину никем не ставилась. Считалось нормальным, что Божий человек одевается и питается соответственно своему положению в деревне и своему назначению в жизни. Умер Пашка уже в большевистское время, когда каждый рот, даже и в богатом хозяйстве, был на счету. Умер довольно странно и даже загадочно: ушел из дому и больше не вернулся. Искали ли его Тумановы по-настоящему – не знаю. Помню только то, что сразу же после исчезновения Пашки священником с амвона было возвещено, что его останки найдет самая чистая душа. Пропал Пашка осенью, а по весне его «косточки» – в ту голодную зиму окрест деревень рыскало много голодных собак – нашел брат моей жены Андрей. Как знать не сыграло

ли это обстоятельство некоторой роли в том, что своих «господ» ивановские крестьяне не тронули. Я лично, вплоть до высылки, находился с деревней в особо хороших отношениях, одно время даже был председателем ивановского сельского совета и в качестве такового воевал при дружной поддержке деревни с большевистским волостным исполнительным комитетом.

Летом 1914-го года в старом ивановском доме и небольшом при нем флигеле проживало много счастливого и веселого народу: совсем еще молодые, на мой теперешний взгляд, «старики» Никитины – Николай Сергеевич и Серафима Васильевна, мы с Наташей, ее старший брат Андрей, обучавшийся вместе со мною философии во Фрейбурге, со своею женою Еленой, обладательницей низкого церковного контральто, сестра жены Марина, пианистка и поклонница Дункан, со своим мужем, впоследствии знаменитым скульптором, младшая сестра Лиза, брат Митя, незамужняя сестра Серафимы Васильевны полная, представительная, нарядная Лидия Васильевна, большая театралка, горячая поклонница Ермоловой и, наконец, племянница Никитиных Ольга, выросшая в семье как родная дочь.

Всем Никитиным, как давно уже покоющимся в ограде старого кладбища на Ильневской горе старикам, так и приближающейся вместе с нами к старости и смерти «молодежи», я чувствую себя бесконечно обязанным и по гроб жизни благодарным.

Страшные годы военного коммунизма мы пережили все вместе в нашей Ивановке, которая дала нам возможность не умереть с голоду и холоду, а мне лично написать роман «Николай Переслегин» и книгу о театре.

Вспоминая последнее предвоенное лето в России, я удивляюсь тому, как мало внимания мы уделяли войне, как мало тревожились быстротою и неотвратимостью ее приближения.

Не помню, чтобы я хоть раз, когда это было еще возможно, попытался купить иностранную газету, или узнать через знакомых, что думают в кругах немецкого консульства. У нас в Ивановке, в доме и парке, как в старинном романсе, царили «и мир, и любовь и блаженство».

Серафима Васильевна, счастливая тем, что, наконец-то, они с Николаем Сергеевичем заживут так, как уже давно мечталось, всем семейным гнездом в своем просторном доме, на собственной земле, целыми днями хлопотала по имению и по домашнему хозяйству.

Николай Сергеевич, приезжавший в деревню всего только на субботу и воскресенье, чувствовал себя в деревне «словно подмененным». В полотняном пиджаке, он все время упорядочивал и украшал свою усадьбу: чинил заборы, стриг акации, обрезал розы. Иногда работал в своей мастерской в каретном сарае – столярничал и шорничал. Наиболее счастливым чувствовал себя Николай Сергеевич субботними вечерами. Всласть напившись чаю на террасе, он сходил с газетой в сад и садился за круглый стол под кленом. Прочтя газету, он закуривал папиросу и, наслаждаясь вечернею тишиною, отдавался своим мечтам о том, как разведет пчел, спустит и вычистит пруд и проведет шоссе до Лидина. «Как хорошо, Федор» – восклицал он каждый раз, когда я подсаживался к нему. Да, было хорошо, быть может не заслуженно, быть может даже непростительно, но все же очень хорошо. С золотых Ильневских холмов задумчиво наплывал грустный и умиротворяющий всенощной благовест. Навстречу ему из открытых окон гостиной неслись резвые разбеги и тревожные аккорды шубертовских «Impromptus», которые разучивала Марина. В недалеком болотце с нежною истомою полоскали свои глотки лягушки. Кукушка в парке сулила нам долгие годы счастливой жизни…

Перед ужином мы с Николаем Сергеевичем и Наташей часто бродили по имению, выбирая место для нашего будущего дома. Строиться думали весной следующего года – осенью мы собирались на всю зиму за границу. Наша московская квартира была уже с весны ликвидирована, мебель составлена в склад. Это ли не доказательство, что в войну нам как-то не верилось.

За вечерним чаем мы менее всего говорили о войне, в сущность связанных с нею вопросов во всяком случае не углублялись. Вспоминая те времена, я удивляюсь прежде всего самому себе. Как-никак я в продолжение семи лет изучал в Гейдельберге историю, главным образом, новейшую. В каком-то отвлеченном академическом порядке мне были вполне ясны основные политические вопросы 20-го века: вековая борьба Англии с Францией, победа Англии и связанное с нею выдвижение на место первой континентальной державы созданной Бисмарком Германии с ее стремлением к морскому владычеству и грозящее столкновение английских, немецких и русских интересов на Балканах. Почему же, спрашиваю я себя, все эти вопросы никогда не возникли на ивановской террасе?

Объяснение этого, в сущности невероятного факта надо, мне кажется, искать в традиционной незаинтересованности русской радикальной интеллигенции в вопросах внешней политики.

История Франции сводилась в социалистических кругах к истории Великой революции и коммуны 1871-го года; история Англии интересовала только как история манчестерства и чартизма. Отношение к Германии определялось ненавистью к Железному канцлеру за его борьбу с социалистами и преклонением пред Марксом и Бебелем. Конкретными вопросами русской промышленности и внешней торговли тоже мало кто интересовался. У эсеров они сводились к требованию земли

и воли, у социал-демократов – к восьмичасовому рабочему дню и к теории прибавочной стоимости. Не помню, чтобы мы когда-нибудь говорили о русских минеральных богатствах, о бакинской нефти, о туркестанском хлопке, о летучих песках на юге России, о валютной реформе Витте.

Славянского вопроса для леворадикальной интеллигенции так же не существовало, как вопроса Константинополя и Дарданелл. Ясно, что с таким подходом к политике наша компания не была в состоянии облечь назревающую войну в осязаемую плоть живого исторического смысла. В нашем непосредственном ощущении война надвигалась на нас скорее как природное, чем как историческое явление. Поэтому мы и гадали о ней, как дачники о грозе, которым всегда кажется, что она пройдет мимо, потому что им хочется гулять.

Как все большое и страшное в жизни, война вплотную подошла к нам неожиданно и незаметно.

Стояли прекрасные июльские дни, пахло доцветающими липами, розами и свежим сеном. Над столом кружились пчелы. Отпив чай, мы ждали почту. Вместо писем Василий принес приказ вести всех лошадей в Знаменку для ветеринарного осмотра. Мы как-то не сразу догадались, что это начало мобилизации.

В назначенный для осмотра день лежащая в котловине у шоссе Знаменка уже с раннего утра представляла собою какой-то кипящий человеческими страстями, печалями и злорадством котел.

За длинным столом под окном трактира Лукина сидела приемочная комиссия: молоденький офицерик, уездный ветеринар и волостной писарь. Около комиссии непрошенными советчиками вертелись каменские лошадники – Фокин и братья Колесниковы. Шумно распоряжавшийся с высоты трактирного крыльца урядник сиял тем «административным восторгом»,

что так легко овладевает душами прозябающих в деревенской глуши представителей власти.

Несмотря на то, что Знаменка была уже до отказу набита съехавшимся со всей волости народом, с окрестных холмов все еще катились телеги с привязанными сзади лошадьми. Около обоих трактиров было особенно тесно: связанные чересседельниками оглобли целым лесом подымались к небу, повсюду зря валялось сено. Над неумолчным говором, спорами, криком то и дело взвивалась крепкая русская брань. Веры в знание и справедливость приемочной комиссии ни у кого не было. Местные лошадники и барышники со свойственным всем деревенским практикам презрением к теоретикам, открыто издевались над «его благородием» и ветеринаром. Беднота, не веря ни комиссии, ни местным знатокам, была твердо уверена, что богатеи своих лошадей не отдадут: закуют, натрут глаза табаком и откупятся. Громче всех волновался Димитрий Муравьев, как бы ему получить настоящую цену за свою старую, но сытую, сильную лошадь. «Комиссия у тебя твою по нормировочной дешевке отберет, – горячился он, – а Колесников тебе худую по вольной цене приведет, да сразу еще и не скажет по какой. Ты ее своим овсом откормишь, а осенью он за нее как за сытую возьмет».

Лошадей принимали по деревням. Ожидая очереди Ивановки, я с бьющимся сердцем водил в стороне своего высококровного Красавчика, всего только весною купленного в Воронеже у двоюродного брата, улана. Так как я еще не знал, что Каменском комиссии было предписано брать только упряжных лошадей для артиллерии и обоза, то я был уверен, что пойду домой пешком, или поеду домой на дрожках, если у нас не отберут всех лошадей. К моему величайшему изумлению, ветеринар не подошел к Красавчику, когда я подвел его к столу, а быстро бросив писарю «не годится»,

сразу же приступил к осмотру нашего коренника Тумана, которого вслед за мною вел наш кучер Кузьма. Оседлав дрожащими от счастья руками рослого внука знаменитого дербиста, я большим кругом, проселками, перелесками и лугами поскакал домой. Несмотря на то, что я в отвлеченном порядке уже не сомневался, что скоро и меня призовут на войну, я в то памятное июльское утро был безоблачно счастлив.

Такие легкокрылые пролеты счастья и впоследствии не раз повторялись в моей жизни. Не знаю, как бы я осилил ее, если бы не отпущенный мне судьбою дар не омрачать настоящего преждевременною тревогою за будущее.

Конскою мобилизацией в Знаменке в моей памяти обрывается цепь связанных друг с другом картин последних проведенных в Ивановке недель. Образ дальнейших событий, вплоть до моего представления в штабе 12-й сибирской артиллерийской бригады, растворяется в музыке напряженной душевной борьбы между темою глубокой печали о необходимости разлуки со своею только что начавшейся новой жизнью и контртемою холодящего сердце ожидания чего-то большого и невероятного. Погружаясь в стихию музыки, мы часто закрываем глаза. Вслушиваясь с закрытыми глазами в звучащую глубину своей души, я словно во сне собирался на войну. Образы снов, даже и незабвенных, не передаваемы в картинах связной яви. От них в дневном сознании остаются лишь отдельные яркие клочья.

Чья-то не локализуемая в пространстве красная рука протягивает мне, к моему величайшему удивлению, бумагу с назначением в Иркутск. Через час я уже вхожу в какое-то небольшое, белое здание где-то в Знаменско-Воздвиженском районе и получаю обмундировочные деньги. В переполненных магазинах толчея и пипод-

нятое настроение. Рядом со мною все время светлая, печальная и тихая Наташа с самого начала решившая ехать со мною в Иркутск. По ночам она шьет мне шелковое белье. Днем – беспрерывные телефонные звонки и визиты знакомых. Обмундировавшись, я еду в Малаховку прощаться с матерью. Этого прощанья боюсь.

Рязанский вокзал забит воинскими поездами; всюду шинели и гимнастерки защитного цвета, темные пиджаки новобранцев, заломанные на затылок картузы и веселые деревянные сундучки – синие, красные, зеленые. Дамы раздают солдатам папиросы и нацепляют цветы на штыки. На платформах пушки в чехлах и увязанные обозы. Из раздвинутых дверей товарных вагонов доносятся песни…

В вагоне длинного дачного поезда шум и патриотические речи; искренние, как нутряная игра провинциальных актеров, туманные от чрезмерной влажности обывательских душ и совершенно беспредметные в своей политической безграмотности.

Уже подходя к Касимовскому поселку, я вижу идущую своею легкою походкою мне навстречу мать. На ней темный английский костюм. Ее, давно уже поседевшая стриженая голова только что завита искусною парикмахерскою рукою. Она твердо, как винтовку, держит на правом плече большой лиловый зонтик. Мы, как всегда, троекратно целуемся. Она глубоко заглядывает мне в глаза, словно хочет сказать: «Я с собою справилась, ты можешь быть спокоен, никаких сцен не будет». Я подаю ей руку. Она легко, но как-то особенно плотно и крепко кладет свою на обшлаг моего френча. Из-под рукава ее «tailleur» выглядывает туго накрахмаленная манжета. Боже, до чего мне знаком и дорог этот образ.

Сестры и младший брат Владимир дома. Все они смотрят на меня с гордостью, нежностью и некоторым

любопытством, и сознательно уступают меня матери, считаясь с ее безграничной любовью к своему первенцу. Брата Липочки с нами нет. Он, как и я, в сборах, выступает с Несвижским полком. Отец за границей. Мы очень боимся за его здоровье и его возврат. Не задержали бы его немцы.

Вечером мы сумерничаем с мамою в ее комнате. Рядом в столовой очень музыкальный Владимир импровизирует на рояли что-то нежное и грустное. Слышен смех младшей сестры. «И как это они могут смеяться и играть, не понимаю» – удивляется мама.

На следующее утро она выходит бледною и очень взволнованною. Чувствуется, что волею выработанный запас сдержанности и самообладания на исходе. Не дай Бог иссякнет до того, как я сяду в вагон.

По дороге на станцию я пытаюсь смягчить ее боль мыслью, что наше прощание не окончательно, так как в случае переброски нашей бригады на Запад, мы по всей вероятности поедем через Москву.

«Нет, нет, родной, – прерывает она меня решительным тоном, – второго прощания мне не вынести, я еще не знаю, как справлюсь с первым».

В первых числах октября наш эшелон в продолжении двенадцати часов стоял на запасных путях Рязанского вокзала, но мама так и не приехала еще раз повидаться со мной.

За день до отъезда в Иркутск мы с Наташей едем прощаться в Ивановку. В памяти ничего нет, кроме обратного отъезда в Москву. За многолюдным чайным столом успокоительные разговоры. Слава Богу, что я отправляюсь на восток, и Наташа едет со мною. После чаю Серафима Васильевна, с особо голубыми в порозовевшем от волнения лице глазами, выносит из спальни напутственные подарки. Благословив меня образком Казанской Божьей Матери, она вручает мне

будильник, без которого на военной службе не обойтись, а Наташе дарит теплую, вязаную кофту для Сибири.

Как ни утешительно, что мы едем в Иркутск, а все же руки «Симы» дрожат и она еле сдерживает слезы.

Николай Сергеевич бледный, молча ходит с папиросой из столовой в гостиную и обратно. Выходит на террасу. С несвойственною ему задумчивою рассеянностью подолгу всматривается в макушки пирамидальных елей, в желтеющую листву клена и снова возвращается в столовую. Взоры его совсем еще молодых, лучистых глаз с нежною заботою останавливаются то на «Симуне», то на «Таличке», то на мне. Но он ни с кем не говорит, лишь то и дело смотрит на часы, не опоздал бы Кузьма: ведь хорошие лошади забраны, придется ехать на стариках.

Но вот пролетка уже у подъезда. Зовут прислугу и все на минутку присаживаются перед дорогой. Затем быстрые, как бы торопящие неотвратимые события, рукопожатия, объятия, поцелуи. Собаки и молодежь вприпрыжку провожают нас до деревни. В деревне последние напутствия крестьян и быстрые бабьи слезы.

Перед глазами, невольно успокаивая душу, тихими скромными далями ровно бежит белое шоссе. Наташа молча сидит рядом со мною, благодарная за то, что мы еще вместе – надолго ли, но бледная как полотно и в глубине души бесконечно несчастная.

Мы медленно подъезжаем к Троицкому, большому, вольно разбросанному по пригоркам и влажным ложбинам селу. Над синеющим внизу озером плавно носятся чайки. К старым, черным деревьям открытого всем ветрам кладбища шумно слетаются грачи. Перед нами светло розовеет высящаяся на зеленом взгорье стройная церковь.

Я знаю, перед смертью от всей суеты жизни останутся только несколько «вечных» минут. Среди них

и тот, печально-прозрачный утренний час, которым мы в тихой глубокой беседе в последний раз перед сломом старого мира мирно ехали в Москву… в Иркутск… на войну… в эмиграцию…

Кто не дышал воздухом Сибири, тот никогда глубоко не дышал Россией. За шесть недель нашего пребывания в Иркутске я так крепко привязался к невзрачной прибайкальской столице русской Азии, что и не разделяя идеологии евразийцев, чувствую себя чем-то связанным с ними: само слово Евразия будит во мне какие-то надежды и страсти. В Иркутске я понял до чего эфемерна уральская граница между Европой и Азией. Ведь только бескрайние сибирские дали могут сдержать те обещания, что нам дает восточная Европа, точнее европейская Россия.

Все это я задолго до евразийства понял и почувствовал. Уже в четырнадцатом году я писал своей матери из Сибири: «В усталой от многих впечатлений длинного дня голове смутно проносились странные думы и образы. Под стук колес вспоминались бесконечные дали, которыми мы ехали из Москвы в Иркутск целую неделю; вместе с грохотом поезда все еще слышался прибой “священного Байкала”. Думалось, что живи Кант не в Кенигсберге, а в Сибири, он наверное понял бы, что пространство вовсе не феноменально, а насквозь онтологично и поэтому написал бы не трансцендентальную эстетику, а метафизику пространства. Может быть, эта метафизика могла бы стать для немцев ключом к пониманию России. Безумно мечтать о победе над страной, в которой есть Сибирь и Байкал».

С какою силою Сибирь захватывает и покоряет людей, я убедился, между прочим, на примере нашей иркутской квартирной хозяйки. Вдова политически-ссыльного поляка и сама полька, она клятвенно обещала умирающему мужу при первой же возможности вер-

нуться на родину, чтобы там воспитать детей. Получив с большими трудностями разрешение на возврат, она ехала «домой» полная радости и надежды. Но, прожив несколько месяцев в Варшаве, так затосковала по царственным сибирским просторам и их беспредельной свободе, что, испросив у ксендза разрешение нарушить данную мужу клятву, уже через год вернулась в Иркутск.

К заметке об Иркутске в большом издании немецкого энциклопедического словаря Брокгауза 1928-го года, приложена небольшая картинка. На ней видна типичная провинциальная улица русского севера, среди которой как озеро стоит непросыхающая лужа. Мимо нее катится крестьянская телега, вдали виднеется церковь. Среди бревенчатых двухэтажных домов, соединенных высокими воротами, виднеется и тот одноэтажный домик, в котором мы с женою и товарищем по бригаде Андреем Викторовичем Репенак жили в Иркутске перед выступлением на фронт. Не стыжусь признаться, что я уже не раз снимал с книжной полки 9-й том словаря и, вооружившись лупой, подолгу рассматривал столь знакомую глазу и милую сердцу улицу, по которой я дважды в день ездил верхом на занятия в пятую батарею 12-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады.

На военной службе, отдающей одних людей в слепое подчинение другим и тем нарушающей все не только божеские, но и человеческие законы общежития, все зависит от того, кому ты будешь отдан в подчинение, и над кем тебе будет вручена власть. То, что я по каким-то неизвестным мне мобилизационно-политическим соображениям попал в иркутскую бригаду, представляется мне одной из больших удач моей жизни. И товарищей, за двумя, тремя исключениями, и солдат я до сих пор вспоминаю с любовью и благодарностью.

Бригада была второочередная. К моменту нашего приезда в Иркутск она только еще формировалась. Ежедневно поступали новобранцы и пригонялись лошади. Строевых занятий еще не было. Лишь в канцеляриях с раннего утра и до позднего вечера кипела напряженная работа.

Командовал бригадой полковник Фальковский, суетливый в своих движениях, неотчетливый в своих приказаниях, безвольный, бесхарактерный, преждевременно состарившийся человек с красным помятым лицом и со старомодными седыми бакенбардами. Ничего дурного в полковнике не было: он был мягок в обращении с офицерами, крепко любил свою жену, своего коня Явора, на котором разъезжал еще по Маньчжурским сопкам в японскую войну и имел невинную страсть сверять и заводить часы, которых у него в комнате стояло и висело до полдюжины. Все его несчастье заключалось лишь в том, что, не будучи ни воином, ни администратором, он был совершенно не приспособлен к исполнению тех сложных обязанностей, что были на него внезапно возложены историей. Офицеры бригады относились к нему хорошо, но без малейшего уважения и называли его, смотря по настроению, то «шляпой», то «ж-й». Полной противоположностью Фальковскому был наш дивизионный. Энергичный полковник с армянской внешностью и громкою польской фамилией. Адъютантом при нем состоял прапорщик Боровой, брат и единомышленник московского приват-доцента – анархиста.

Пятою батареей, в которую я был назначен вместе с присяжным поверенным Павлом Алексеевичем Митрофановым, как и я, москвичом, временно командовал штабс-капитан Халяпин, веселый, энергичный, северного типа блондин, с большими, светлыми бараньими глазами навыкате. Прекрасный теоретик, хороший

педагог и рачительный батарейный хозяин, он воевал с достоинством, но без того вдохновения, которым на войне сразу же окрыляются подлинно героические натуры. Ко мне Димитрий Иванович сразу же как-то привязался. В Галиции, где я был «для пользы службы» перечислен в третью батарею, я в тихие дни часто заезжал в гости к милому Дмитрию Ивановичу. Он неизменно встречал меня с бурною радостью, чаевничая и закусывая, мы всегда разговаривали о мире. В кожаном бумажнике Дмитрий Иванович постоянно носил при себе фотографии жены и детей, по которым он очень тосковал. Женат он был на милой, хорошенькой дочери протоиерея из Белой церкви.

В первые же дни моего пребывания в бригаде со мной произошел забавный инцидент, заслуживающий того, чтобы о нем рассказать поподробнее, уж очень он был характерен для старой России.

Распределяя строевые занятия, командир батареи поручил мне обучение новобранцев верховой езде. По составленному им плану учебная езда должна была происходить с 8–10 часов утра. С 7–8-ми новобранцы должны были заниматься пешим строем под командой сверхсрочного фельдфебеля. Относился я к своим занятиям не только добросовестно, но даже ревностно и тем не менее навлек на себя гнев высшего начальства.

Приехав минут за пять до окончания пешего строя, я увидел у ворот казармы командующего Сибирским военным округом генерала Нищенкова, которого я встретил бодрым, отчетливым рапортом; отбарабанивать его мне было, как всегда, немного стыдно. Не удостаивая меня привета, генерал Нищенков, о котором я слышал очень много хорошего, с важною хмурью в лице, быстро и величественно зашагал вглубь двора, где шли занятия пешим строем.

– Почему вы опаздываете на занятия, прапорщик? – гневно бросил он мне через плечо.

– Осмелюсь доложить, ваше высокопревосходительство, что я прибыл на батарею раньше, чем мне было приказано: по распоряжению командира я обязан являться лишь к 8-ми часам.

Ответа не последовало.

– Сколько у вас людей в пешем строю? – снова обратился ко мне генерал, ласково и весело поздоровавшись с солдатами.

– Не могу знать, ваше высокопревосходительство, – откозырял я ему со всею доступною мне профессиональностью жеста, – у меня в строю людей нет, так как пешим строем, согласно расписанию, занимается фельдфебель.

– Сосчитайте, – совсем уже гневно приказал мне генерал, очевидно выведенный из терпения моей штатской логикой.

Я подошел к левому флангу и демонстративно тыкая каждого солдата в грудь, начал считать. Счет мой был далеко еще не кончен, как раздался нетерпеливый вопрос его высокопревосходительства:

– Сколько же, наконец?

– Не могу знать, ваше высокопревосходительство, – отвечал я спокойно, но внутренне уже упрямо и зло, – я еще не досчитал.

– Почему? – неосторожно бросил генерал.

– Потому, что ваше высокопревосходительство прервали меня своим вопросом.

Глаза генерала потемнели, брови поднялись, в бороду скользнула недоуменная улыбка. Ничего не сказав мне, он наклонился к своему адъютанту. Тот вынул из кармана карандаш и щелкнув шпорами что-то записал в свой блокнот.

Отпустив меня с приказанием, чтобы через четверть часа были оседланы лошади, и не пожелав смотреть пеший строй – демонстративный жест доверия и бла-

говоления к старому фельдфебелю – генерал все тем же быстрым, величественным шагом направился к батарейной канцелярии, из которой навстречу ему уже спешил Халяпин.

Моими ездовыми, пришедший смотреть езду в весьма дурном настроении генерал (в перепуганном лице сопровождавшего его Дмитрия Ивановича не было ни кровинки) остался очевидно доволен, даже поблагодарил их, но мне не бросил ни одного благожелательно-примирительного взгляда. Чувствовалось, что в душе его высокопревосходительства над нашими головами собрались грозные тучи.

Приказав выстроить людей в пешем строю, генерал отправился на осмотр четвертой батареи, которой командовал один из лучших офицеров бригады, мужественно-независимый и всегда заразительно веселый капитан Рыбников.

Ожидали мы возвращения его высокопревосходительства довольно долго. Ходивший перед фронтом командир батареи явно нервничал.

– Смирно! Господа офицеры! – внезапно грянула звонкая команда командира.

Обходя первую шеренгу, осматривая людей и милостиво беседуя кое с кем, генерал подошел, наконец, и ко мне, стоявшему перед своим взводом. Что-то в моем внешнем виде ему, очевидно, не понравилось. Отступя на несколько шагов, он с недоумением смерил меня начальническим взглядом и сделал мне какое-то несправедливое замечание не то насчет шинели, не то насчет фуражки. Но дело было, очевидно, не во внешней некорректности моей одежды, а в том, что во всем моем внешнем виде как-то отражалось заполнявшее мою душу возмущение привередливой несправедливостью генерала. Я и сам чувствовал, что на моем лице блуждала, свойственная мне в иных случаях жизни, надменно-ироническая улыбка.

– Чему вы улыбаетесь, прапорщик? – уже не скрывая своего раздражения, повысил на меня голос генерал Нищенков.

– Не могу знать, ваше высокопревосходительство, бессознательное трудно поддается анализу.

Генерала взорвало.

– Надеюсь, вы понимаете неуместность вашего ответа? – не без труда сдержал себя генерал. – Вы кто такой? Чем вы занимаетесь?

– Философией, ваше высокопревосходительство.

Этот правильный и точный, но сознаюсь, несколько провокационный ответ окончательно вывел генерала из терпения.

– На трое суток под строгий арест, – отчеканил он, обращаясь к Халяпину, и возмущенно повернул мне свою широкую спину.

Арест меня не опечалил. Я воспринял его не как заслуженное наказание, а как награду за свою гражданскую доблесть. Командир батареи, которому в приказе по округу был из-за меня сделан строгий выговор, был всецело на моей стороне и дал мне понять, что я могу в «своих казематах» принимать гостей. Благодаря такой любезности, трое суток строгого ареста превратились в приятнейший отдых от занятий. Днем я читал и писал письма, а к семи накрывал стол для Митрофанова, Репенака и себя. Наташа присылала с денщиком всевозможные яства. Поужинав, мы проводили остаток вечера в оживленной беседе.

По нашим понятиям, мы готовились к выступлению весьма добросовестно, но по сравнению с тем, как надо было готовиться для борьбы с немцами, конечно, недостаточно серьезно. На всем лежал досадный отпечаток импровизаторского дилетантизма и личного почина. В каждой батарее занятия велись иначе. Где налегали на стрельбу, где на езду, где и на шагистику. Одни

батарейные командиры закупали для нижних чинов валенки и полушубки, а другие только подсмеивались над ними. Закупали те, кто думал, что мы останемся в Сибири в качестве заслона против японцев. Не закупали их противники, считавшие, что мы пойдем на запад.

Вспоминая Иркутск, я уже не вижу перед собою отдельных солдатских лиц. Хорошо помню только сверхсрочного фельдфебеля, старого, жилистого служаку со шнырливыми рысьими глазами и нервными скулами, по которым при всяком «слушаюсь» и «так точно» пробегала быстрая дрожь, взводного фейерверкера Черненко, ласкового, веселого хохла, который, раскрывая рот для команды, как-то по-песенному закидывал свою красивую голову, и моего вестового, уже сорокалетнего рыжего бородача Злобина. Боже, до чего же Злобин скучал по своему дому, семье и хозяйству. В своей тоске он часто заговаривал со мною, силясь понять, с чего это вдруг стряслась война, и за какие грехи он из своей честной жизни попал прямо на каторгу. Злобин был не единственным запасным, в голове которого постоянно вертелись такие «еретические» мысли. Однажды, будучи дежурным по бригаде, я разговорился у коновязи с группою «стариков» – за уборкой лошадей солдаты-крестьяне невольно становились откровеннее. Вопросы сыпались один за другим: «и с чего это немец нам войну объявил, ваше благородие?», «а далеко ли до немца ехать», «крещеный ли немец народ, или как турки, нехристи», «может быть, они с того на рожон лезут, что жить им тесно, с хорошей жизни на штык не полезешь, так нельзя ли от них откупиться?» Последняя мысль особенно понравилась Злобину: «а и то, ваше благородие, – подхватил он предложение о выкупе, – если бы немцу, примерно, треть того отдать, во что война обойдется, то быть может он бы и угомонился и государю-императору не надо было бы зря народ калечить?»

Что было отвечать на эти, с одной стороны совершенно детские, а с другой стороны серьезно и глубоко поставленные вопросы? Сознаюсь, что, беседуя со «стариками», я испытывал глубокий стыд за те трафаретные ответы, которые я по долгу службы давал своим сибирякам.

В первом откровенном разговоре со своими батарейцами, я, к своему величайшему удивлению, заметил, что большинству из них война, правильная война, представлялась чем-то вроде крестового похода. Очевидно такое представление поддерживалось в них с одной стороны церковною молитвою о благоверном императоре и «христолюбивом воинстве», а с другой – солдатскими песнями, связанными с воспоминаниями о турецких походах. Мое сообщение, что немцы христиане, а больше трети из них католики, то есть христиане, каждое воскресение обязательно ходящие в церковь, крестящиеся в ней и становящиеся на колени, совершенно сбило моих собеседников с толку, так как явно не вязалось с их представлением о враге, – турке и японце.

С солдатским представлением о враге-нехристе связывалось еще и представление о нем, как об обидчике, то есть нападчике. Узнав от меня, что до немецкой границы эшелону ехать две, а то и все три недели, они впали уже в полное недоумение.

– Три недели на поезде немцу навстречу ехать, да зачем же это, ваше благородие, зачем нам его искать? Пусть к нам пожалует, тогда узнает где раки зимуют, дома-то мы его во как разделаем.

В теоретических доводах против этой узко-туземной точки зрения у меня, конечно, не было недостатка, но все они бессильно разбивались о полное отсутствие у моих собеседников всякого представления о России, как об империи и о геополитических законах ее исторического бытия.

Нельзя сказать, чтобы сибирские крестьяне не были бы патриотами. Свою Россию они любили и, главное, крепко верили в ее мощь, но их своеобразный крестьянский патриотизм носил скорее хозяйственный, чем государственный характер. Сколько раз слышал я в Карпатах общесолдатское мнение: «Да зачем нам, ваше благородие, эту Галицию завоевывать, когда ее пахать неудобно». Несмотря на такую гражданскую неподготовленность к войне, бригада воевала наславу.

Трудно сказать, какое мироощущение сложится в будущем в душе советского бойца, но не думаю, что оно будет очень отличным от того, под знаком которого воевали наши сибирские части. Солдатская вера как была, так и будет все той же: царь приказал, Бог попустил, податься некуда, а впрочем, на миру и смерть красна. В этой формуле царя можно заменить вождем, на худой конец даже и президентом республики, а Бога – безликим провидением, или судьбой. Миросозерцательное содержание старой формулы от этого, конечно, изменится, но ее эмоциональным корнем останется всё то же чувство: чувство зависимости человеческой жизни от высших сил, чувство невозможности сопротивляться и добровольная готовность соборного подчинения им до самой смерти. Там, где это чувство в народе исчезает, в конце концов исчезает и солдатская доблесть. Мне кажется, что окончательная утрата французским народом, отчасти в связи с гарантиями Версальского договора, трагического ощущения жизни и ее неизничтожимых опасностей, является главною причиною непостижимого разгрома французской армии в 1940-м году.

Готовясь к разрушению мира войною, мы в Иркутске с не меньшею серьезностью готовились и к мирной жизни на фронте: покупали удобные походные кровати, изумительные енотовые чулки, шили себе чесучовое

белье и нашивали кожаные леи на наскоро купленные в Москве рейтузы. Перед погрузкою Наташа ночи напролет дошивала мое военное приданое. Ее изобретательности не было конца. Так как походные койки были уж очень малы, то мы купили складную кровать с прекрасным матрацем. Надо было только смастерить для нее крепкий чехол, в который она вместе с одеялом и подушками могла бы быть в одну минуту упакована. Проблему такого, обшитого по швам кожею брезентового чехла, Наташа, к великому удовольствию моего денщика Семена Путилова, разрешила блестяще. На фронте я спал удобнее всех товарищей и моя койка была всегда первою на двуколке.

Дня нашего выступления из Иркутска на фронт назвать не могу. Думаю, что мы двинулись из Лесихи на станцию Иннокентьевскую, куда был подан поездной состав, в последних числах сентября. Темную, злую ночь нашего первого похода сменило холодное, дождливое утро. Помню, как охваченный горячкою погрузки, я издали увидел подходившую ко мне в косых штрихах дождя Наташу и, увидав, впервые понял, что война началась всерьез. В ее печально-сером, сиром силуэте, отчужденно и неуверенно продвигавшемся по шпалам запасных путей среди повсюду снующих солдат, погруженных орудий, выглядывающих из вагонов лошадиных морд, мешков с овсом и гор прессованного сена, был до того очевиден вошедший в жизнь ужас, что во мне сразу пристыженно осекся тот бодрый, деловой подъем, с которым я распоряжался погрузкой своего взвода. Вынужденная внешняя деятельность неизбежно убивает в человеке ту созерцательную активность духа, которой только и открывается сущность мира и жизни.

Провожать близких на войну много труднее, чем самому идти на нее. Идущий стремится в новую жизнь – провожающий боится, что провожает на смерть.

Так провожала меня Наташа. Тем не менее, она всех нас радовала и утешала, распространяя в офицерском вагоне уют, свет и тепло. За две недели эшелонного житья товарищи по дивизиону все крепко привязались к ней, трогательно ухаживали за ней, как братья за единственной сестрой, много говорили с нею о своем домашнем и с небывалою в военном обиходе вежливостью обходились при ней с денщиками. Во время долгой стоянки в Красноярске она не только закупала всякие яства для нашего офицерского стола, но вместе с Халяпиным и полушубки для батареи.

Первым, совсем еще мирным впечатлением войны, были встречные поезда с военнопленными австрийцами. На какой-то большой, еще доуральской станции, где мы собрались было повкуснее пообедать, буфет первого и второго классов был до того забит голубыми австрийскими офицерами, что для нас не нашлось ни места, ни тарелки щей.

Повертевшись в буфете, мы вернулись на платформу. Пленные и тут с жадностью скупали всякий провиант у баб и подростков, толпами стоявших вдоль платформы. Особенно быстро раскупались жареные куры и огромные бисквитные торты, которые, как нам объяснила одна молодая веселая баба, специально пеклись для пленных, недолюбливавших черный хлеб. Могу себе представить, как австрийцы дивились русскому гостеприимству и сибирской дешевизне, платя за недоступную русскому солдату курицу 30–40 копеек.

До чего же характерно для русского отношения к врагу, что никому из нас и в голову не пришло попросить австрийцев очистить нам место и потребовать от буфетчика, чтобы в первую очередь кормили своих. Я знаю, пленным австрийцам и немцам не всегда жилось хорошо в наших военных лагерях. Допускаю какие угодно жестокости, но на одном настаиваю: русский человек жесток только тогда, когда выходит из себя.

Находясь же в здравом разуме, он в общем совестлив и мягок. В России жестокость – страсть и распущенность, но не принцип и не порядок. Иначе у немцев: быть может, немецкие офицеры по человечеству и жестоки не более нас, все же они по разумной принципиальности никогда не потерпели бы, чтобы им у себя, в Германии, не хватило бы места и еды, потому что все места заняты врагами. Я не говорю, что мы лучше немцев, я только устанавливаю, что мы весьма отличны от них.

Чем глубже въезжали мы в Россию, тем видимее охватывала нас война: бесконечные воинские поезда на фронт и обратно, пленные, раненые, новобранцы, песни, гармоника, забитые эшелонами станции, горы заготовленного фуража, все больше и больше народу на платформах, все больше внимания и сочувствия к армии. Настроение народа, не в пример 1905-му году, серьезное: без лишних слов, без лишних жестов – твердое, трезвое, ответственное.

В Екатеринбурге наш эшелон стоял несколько ночных часов. Встреча с братом, второочередная часть которого должна была вскоре двинуться на фронт, была короткой и печальной. Хотя красавец брат в своей, очень шедшей к нему офицерской форме, являл очень бодрый, бравый вид, свидание с ним вызвало в душе тот ужас перед войной, которого я раньше не чувствовал. Не думаю, чтобы это объяснялось тем, что, обвенчавшись в Екатеринбурге, он только что расстался с молодою женой и, не сойдясь с товарищами, чувствовал себя одиноким в полку. Дело было скорее в том, что он был первым близким человеком, провожая которого на войну, я так же провожал его на смерть, как Наташа меня.

К Москве-второй, или Сортировочной наш эшелон подполз около 11-ти часов вечера. В тесном, ободранном автомобилишке мы с Наташей тряско неслись

по еле освещенному скудными фонарями и разбитому золоторотческими бочками шоссе на Тверскую к ее родителям, где нас уже с восьми вечера ждали к ужину. Этот сдвинувшийся к полуночи ужин остался в памяти странною, призрачною трапезой. В сдержанных, но взволнованных застольных разговорах царило полное смешение всех душевных, пространственных и временных перспектив. Радость свидания сливалась с болью разлуки: мирная жизнь в Иркутске представлялась родителям Наташи все же фронтом и потому они на меня смотрели как на человека, побывавшего на войне. Серафима Васильевна и Николай Сергеевич трогательно просили меня не подвергать себя излишней опасности, памятуя, что «береженого и Бог бережет».

К часу ночи я поехал к своим в Штатный переулок. Несмотря на тяжелую болезнь отца, с большими трудностями вернувшегося через Швецию из Мариенбада уже после объявления войны, я матери дома не застал. Боясь не выдержать вторичного прощания со мною, она решила уехать в Касимовку.

В темноватой квартире меня с волнением ждали сестры и младший брат. Поздоровавшись со мною без принятых у нас в семье громких возгласов, они на цыпочках провели меня в столовую, рядом с которой находилась комната отца. По их встревоженным, опечаленным лицам, по всему настроению в доме, я сразу же понял, что положение больного безнадежно. С бьющимся сердцем приоткрыл я дверь в спальню и, подойдя к кровати сел у изголовья. Очнувшись, отец с трудом перевел на меня свой испуганный взор и медленно протянул мне свою дрожащую, страшно исхудавшую руку. Не находя, что сказать умирающему и как утешить его, я только крепко сжал и молча поцеловал ее. Желая помочь мне, отец приподнялся и начал было

рассказывать о своем неудачном лечении за границей, но, скоро устав, бессильно опустился в подушки и закрыл глаза.

У изголовья в старинном бронзовом подсвечнике, купленном еще в Кондрове на распродаже вещей лишившего себя жизни князя Мещерского, горела свеча с шелковым щитком. Смотря на знакомый с детства подсвечник, я видел перед собою большой балкон нашего деревенского дома на Шане, колышущиеся на вечернем ветру за белыми щитками красноватые огни, еще совсем молодого отца за картами и себя, маленького, рядом с ним. Как это было недавно и вот, думалось мне, для него уже все кончилось… Как скоро, как страшно скоро!

В середине октября я получил известие, что отец скончался через пять дней после нашего свидания от рака желудка, без жалобы на боли и без страха перед смертью.

Чем глубже уходит в прошлое начало войны, тем удивительнее и благодарнее вспоминается мне, как простившись с отцом, я в одиноко дребезжавшей по сонным улицам Москвы пролетке ехал обратно к Никитиным. Душа не по своей воле подводила итоги прошлому и не своею силою готовилась к будущему. Время, казалось, не текло сквозь нее, а неподвижно стояло в ней, примиренной, возвышенной и печальной. Я знаю, что, если бы за двадцать минут этой предрассветной поездки ось моей души не была бы рукою самого Провидения таинственно переставлена из горизонтального положения в вертикальное, я никогда не вышел бы из испытаний войны и революции тем духовно окрепшим человеком, которым я себя ныне чувствую. Быть может, Бог чаще склоняется к нам, чем это нами ощущается. Божьей заботы о себе и я в ту ночь не почувствовал, будучи сердцем и мыслью еще слишком

далеким от допущения такой возможности, но «песнь небес» в себе все же расслышал. В ту ночь в моей душе впервые возникла та мелодия, о которой я в мае 1915-го года писал жене, сейчас же после страшного боя на Сане. «Я стоял, передавал команду, а в душе звучала та, совершенно не запоминающаяся мелодия, которая как-то раз, в минуту острой опасности зародилась в моей душе и теперь каждый раз, когда близка возможность смерти, запевает себя во мне и дает силы все нести и всему покоряться».

По пути на фронт эшелон довольно долго стоял в Брест-Литовске. Была суббота. В зале третьего класса, набитого главным образом солдатами, шла всенощная. Слушая Великую ектенью (как замечательно провозглашал ее у Никиты Мученика на Старой Басманной протодьякон Холмогоров), я с новою силою ощущал несовместимость вечной красоты ее прошений о спасении «плавающих, путешествующих, недугующих и страждущих, о благорастворении воздухов, изобилии плодов земных и временех мирных», с национально-эгоистическою молитвой о «покорении под нози благочестивейшему, самодержавнейшему Великому Государю нашему всякого врага и супостата». Как жалко, что Бутурлинская комиссия при Николае I нашла необходимым «вырезать несколько неуместных стихов» из акафиста Покрову Богородицы, сочиненного святым Димитрием Ростовским: «Радуйся, Незримое Укрощение владык жестоких и зверонравных, совета неправедных князей разори, зачинающих рать – погуби».

Как утешительно было бы, если бы в наши страшные дни, в дни наступления немецких армий на ни в чем перед немцами неповинных православных греков и сербов и весьма возможного столкновения с Россией, в нашей дрезденской церкви, возглавляемой православным немцем, берлинским и потстдамским епископом

Серафимом, вместо молитвы «о покорении под нози христолюбивейшему вождю германского народа его врагов и супостатов», раздавался бы Богородичный акафист Святого Димитрия Ростовского.

Впереди стояла группа легко раненых. Среди них особо выделялся долговязый деревенский парень в расстегнутой гимнастерке и шинели внакидку, с перевязанною окровавленною марлею нервно подергивающеюся головою. Временами он быстро, по многу раз кряду крестился широким, размашистым крестом, а затем как-то отсутствующе затихал, смотря в пространство усталыми, потухшими глазами. По всему было видно, что он много пережил в кровавых боях под Ивангородом, куда, вероятно, отправлялась и наша бригада, и не понимал, что с ним собственно приключилось.

Всенощная длилась долго. Все резче и заунывнее, все непонятнее на фоне службы взвывали паровозные свистки; зло шипел и желтоватою молочною мутью застилал окна спускаемый паровозами пар. Словно в ответ ему умиротворяюще клубился вверх сиреневый кадильный ладан. Желтые свечи сиротливо, но все же утешительно горели в прокопченном вокзальном углу. Кое-кто из солдат тихонько подтягивал хору, то одну, то другую ноту.

Батюшка служил с искреннею верою и, не смущаясь войной, убежденно возглашал «яко благ и человеколюбец Бог еси».

В том философски-мистическом настроении, в котором я находился со дня смерти моей первой жены, я точного смысла этого возгласа еще не осиливал. Бог представлялся мне скорее гениальным автором глубокомысленной мировой трагедии, чем благим Творцом; Христос скорее протагонистом хора страждущей твари, чем единородным Сыном Божиим и моим Спасителем.

Не пережив периода воинствующего атеизма и отрицания Евангелия, я под влиянием мистиков, Шеллинга и античной трагедии, долго пытался осмыслить христианство в духе религиозно-символического ознаменования глубинных судеб мира. Ныне я знаю, что христианская философия мыслима только на путях безоговорочного отречения от философствующего христианства. Нужна и возможна философия твердо и искренне верующих христиан, но невозможно и ненужно ни философское обоснование, ни философское истолкование христианства.

Часто мечтается со временем по-новому вернуться к своим старым философским вопросам. Боюсь, однако, что написать свою философию уже не успею: слишком мало осталось времени, жизнь со страшною быстротою катится к своему концу…

В догадках и разговорах о том, куда нас везут, мы доехали до Лукова, где вдруг был получен приказ о высадке. Кое-как устроив Наташу в маленькой комнатушке вонючей местечковой гостиницы, я быстро вернулся на вокзал, где батареи второго дивизиона одна за другой уже выкатывались на шоссе.

Первая ночь в Лукове была, быть может, самою жуткою ночью из всех пережитых на войне. Мы расположились бивуаком между лазаретом, кладбищем и платформою, у которой беспрестанно выгружались санитарные поезда, прибывавшие из-под Ивангорода. Ночью, когда я с трудом пробираясь между медленно двигавшимися носилками с ранеными по левой и спешащими обратно пустыми носилками по правой стороне, ехал к Наташе в гостиницу, мне впервые было по-настоящему страшно. Вероятно потому, что душа еще жила мирной жизнью, мир же уже кипел войной.

Прощание с Наташей за несколько часов до нашего выступления, скорбное, но и прекрасное, оторвавшее

меня от мирной жизни и тем самым окончательно отпустившее на войну, сразу же потушило в душе всякий страх перед нею. Подъезжая в шесть часов утра вместе с Семешей, трусившим позади меня с огромным горшком сметаны, которую Наташа успела купить на рынке в подарок батарее, к нашему бивуаку, я, чувствовал себя совсем другим человеком, чем ночью.

Уже после отъезда Наташи оказалось, что мы не идем в бой, а спешно грузимся во Львов, включенный ныне с соизволения Гитлера в Союз Советских Социалистических республик. Сердце этой победе не радуется. В конце концов, Советский Союз все же Россия и его преступные завоевания лишь омрачают ее образ. А кроме того: разгар националистических страстей в современной Европе до того отвратителен, что невольно хочется уберечь от него «свою» Россию. Вера в ее добрую силу, несмотря на все творящиеся в ней ужасы, так крепка, что она все еще видится скорее заступницей, чем поработительницей других народов.

Я уже много раз говорил об изумительных свойствах памяти, которая, помимо нашего сознания и нашей воли, неустанно передумывает нашу жизнь. Этою таинственною работою памяти я и объясняю в себе то, что живущий ныне во мне образ войны далеко не во всем совпадает с теми ее зарисовками, что были мною в свое время даны в письмах с фронта.

Перечитывая эти письма, изданные по настоянию М. О. Гершензона, я удивляюсь сколько в них горечи и гнева: «Нет, пусть мне не говорят о священном смысле ведомой нами войны, Ей-Богу, убью и рук омыть не пожелаю».

Ныне эти громкие слова не звучат в душе. Мне даже как-то стыдно перечитывать их. Не то, чтобы я задним числом додумался до «священного смысла» европейской войны 1914-го года, или пришел бы к оправданию

тех правительственных преступлений перед русским народом, которые меня тогда мучили и возмущали – отнюдь нет. Теоретически я не переменил своих взглядов, но душою я за истекшие годы настолько отвернулся от них, что меня с каждою новою весною все сильнее и сильнее тянет в галицийские окопы. В этой тоске я открываю своего «Прапорщика» и читаю: «Наш дом стоит на высоком зеленом откосе. Под откосом расстилаются зеленеющие луга, прорезанные серосинею лентою прозрачной горной "Ондавы" в берегах из мелкого щебня. По берегам – пушистый на глаз и на ощупь, как головенки только что вылупившихся индюшат, молодой кустарник. За рекою, влево – серый костел Сарачан, а вправо – небольшие, вспаханные холмы, за которыми возвышаются туманно-синие горы далеких Татр. Утром и вечером в заливных лугах свиристят жабы, а в приречном кустарнике свищут и рокочут соловьи. Днем по лугу ходят наши пузатые, длинногривые сибирячки, а у реки лежат на животах солдаты и заунывно тянут: "Одной бы я корочкой питалась". На том берегу, вдоль Сарачанского шоссе, беспрерывно тянутся питающие позиции обозы.

Я целыми днями хожу по двору и у реки. Господи, сколько нежной прелести, сколько мира и любви в природе».

Эти строки – лейтмотив всех моих теперешних воспоминаний о войне. Я знаю: письмо, из которого выписаны эти строки, кончается печальными раздумьями: «Как хорошо было здесь прошлою весною, когда всюду совершалась мирная благостная жизнь, когда за плугом шел "оратай" и ксендз каждый вечер выходил посидеть на крыльцо своего дома.

Почему же теперь всюду мерзость запустенья, почему вокруг церкви и нашего дома всюду окопы, заваленные всяким мусором, кровавой ватою и бинтами.

О, Господи, Господи, почему Ты терпишь такое заблуждение сынов Твоих?»

На эти вопросы у меня, конечно, и поныне нет ответа, но странным образом они меня больше не очень тревожат. Я не умею этого объяснить, но, всматриваясь в себя, я отчетливо вижу, что пережитая революция, если и не оправдала войны, то все же как-то очистила ее в моей памяти.

Важно, что такое же очищение образа войны 1914-го года было не только пережито, но даже и осознано многими «белыми» офицерами, которые прошли через ужасы гражданской бойни.

Как только мы с женою, высланные в 1922-м году из России, поселились в Берлине, стали приходить письма из самых разных мест: из Чехословакии, Югославии, Болгарии и Турции. Писали товарищи-фронтовики, которых уже и не чаял в живых. Как ни различны были их письма, главною темою всех было отвращение к революции и теплые, почти нежные воспоминания о войне. Вот замечательная страница из письма моего однобатарейца Владимира Балашевского:

«Если бы ты знал, какою красотой и правдой представляется мне после всех ужасов пролетарской революции и гражданской “бойни” та, “наша”, если разрешишь так выразиться, война. Все последующее уродливое и жестокое не только не заслонило моих старых воспоминаний, но, очистив их своею грязью и чернотою, как уголь чистит белых лошадей, как-то даже придвинуло их ко мне…

Сейчас так близки моей душе Карпаты и милая Ондава, где мы стояли с тобою весною 15-го года. Объясни мне, почему я сейчас, в 1923-м году, могу тебе точно и подробно перечислить все деревни, в которых мы ночевали на юго-западном фронте и почему я не назову тебе ни одной от Харькова до Новороссийска?»

В силу этого трудно постижимого преображения образа той войны, которую мы в галицийских окопах под конец отрицали, которою тяготились и даже мучались, я в дни победоносного вхождения большевистских войск в Галицию в 1939-м году, испытывал странные и сложные муки, скорее всего муки ревности к пленительному образу нашей галицийской кампании. Представляя себе хозяйничанье большевиков в тех самых местах, по которым проходила наша бригада, я переживал нечто подобное тому, что переживал бы человек, увидевший свою невесту в объятиях человекоподобной обезьяны.

Конечно, я сознавал, даже больше – своею любовью к России и всею своею тоскою и по советской деревне, в которой мы с женою прожили первые пять лет большевистской революции, понимал, что красноармеец все тот же несчастный, изуродованный, но в глубине сердца мягкий и добрый русский человек, ощущать которого гориллой у меня нет ни малейшего основания. Не забывал я и того, что в рядах красной армии служат дети оставшихся в Советской России родных, друзей и знакомых, которые тоже ведь не звери (как часто я подолгу смотрю на их милые фотографии в наших эмигрантских альбомах) и все же я воочию видел, именно видел, что развертывающаяся нацистско-большевистская война представляет собою в плане «объективного духа» нечто совсем иное, чем война 1914-го года.

В чем же дело? Как это объяснить?

Думаю в том, что зло либерального 19-го века было, в конце концов, лишь неудачею добра. Сменивший же его 20-й век начался с невероятной по своим размерам удачи зла. Удача эта ничем не объяснима, кроме как качественным перерождением самого понятия зла. Зло 19-го века было злом, еще знавшим о своей противоположности добру. Зло же 20-го века этой противоположности не знает.

Типичные люди 20-го века мнят себя, по Ницше «по ту сторону добра и зла». Это совсем особые люди, бесскорбные и не способные к раскаянию. Думается, что их «великие дела», даже если бы они и породили какие-нибудь положительные результаты, никогда не преобразятся в памяти «благодарного» потомства в светлые подвиги. А впрочем, как знать? Еще неизвестно, какими людьми будут наши потомки.

Конечно, и война 1914-го года была величайшим преступлением перед Богом и людьми, но она была преступлением вполне человеческим. Лишь с нарождением сверхчеловека появилась в мире та ужасная бесчеловечность, которая заставляет нас тосковать по тому уходящему миру, в котором человеку было еще чем дышать, даже и на войне.

В первой главе своих воспоминаний я говорил о том, что простой народ ощущался в моем родительском доме скорее частью деревенского пейзажа, чем расширением человеческой семьи. За годы близкого общения с солдатами, я понял не только деградирующий, но странным образом и возвышающий смысл этого «барского» отношения к «мужику».

Переходя из офицерской землянки в солдатские, я всегда чувствовал, что не только спускаюсь в мир необразованности, но одновременно и поднимаюсь на какую-то высоту. Очень далекий по своему воспитанию как от право-славянофильского, так и от левоинтеллигентского народничества, я на войне все же пришел к убеждению, что «варварство» русского мужика много ближе к подлинным высотам культуры, чем средне-интеллигентская образованность.

Ничего удивительного в этом, впрочем, нет, если понимать под культурою ту одухотворяемую живым боговерием, мифическим природочувствием и традиционно-крепким бытовым укладом форму жизни,

которую мы, с легкой руки Шпенглера, привыкли противопоставлять западноевропейской цивилизации, давно уже подменившей веру – метафизической проблематикой, живую нравственность – мертвым морализмом и здоровую народную жизнь – функционированием политизированных масс.

Сейчас, когда Россия переживает в каком-то высшем плане, быть может, и нужное, но всё же трудно переносимое унижение, мне хочется напомнить преуспевающим пока что немцам, что уже более ста пятидесяти лет тому назад один из интуитивно наиболее тонких и богатых мыслителей Германии, Иоганн Готлиб Гердер, предсказывал восточным славянам, главным образом России, великое будущее. В четвертой главе шестнадцатой книги своих знаменитых «Идей» он мужественно высказывает мысль, что прилежные славянские племена еще превратят свои земли в цветущие сады и сменят Запад, от которого уже отступается Провидение, на посту возглавителей человечества.

Ныне эти писания Гердера хранятся во всех библиотеках в особых шкафах, в так называемых «ядохранилищах» («Giftschranke») и выдаются на руки лишь особо квалифицированным ученым национал-социалистического толка. Зато на стенах, заборах и столбах всех германских городов и даже деревень на любознательных немцев назойливо смотрят тенденциозно выбранные и тенденциозно сфотографированные русские лица с соответствующими надписями: «вот они русские звери», «вот они, большевистские мародеры, поджигатели и убийцы». Кинематографический показ России еще того хуже. Сам еще не видел – уж очень противно и оскорбительно, но друзья, регулярно посещающие кино, утверждают, что по национал-социалистическим киноснимкам русского народа не узнать: до того мрачны, тупы, озлоблены и преступны лица. Удивляться

этому не приходится: всякий портрет всегда и автопортрет. А тупости, злобы и преступности в национал-социализме не меньше, чем у большевиков.

Оставаться при таких условиях вполне справедливым к Германии русскому человеку трудно, но все же надо стараться: как ни характерен национал-социализм для Германии, немцы в целом так же не национал-социалисты, как и русские в своей массе не большевики. Мне национал-социализм представляется таким же грехопадением Германии, как большевизм – грехопадением России. Во всяком человеке, во всяком народе живет свой собственный грех, и все же как отдельные люди, так и целые народы живы только наперекор своему греху. Наперекор своему национал-социалистическому греху не только живет, но в муках совести, возможно, даже и растет немецкий народ. Будь это иначе, русским людям было бы невозможно жить среди немцев. Но мы среди них не только живем, но со многими из них даже и дружим, чувствуя, что в глубине немецкой души еще живо гердеровское отношение к России.

За десять лет моего профессорствования в Дрездене через мои аудитории прошло около двух тысяч слушателей. Война не оборвала моих связей с учениками: многие из них, приезжая с фронта на побывку, заходят ко мне, многие пишут. Общее впечатление от всех этих разговоров и писем то, что Россия глубоко волнует немецкую душу и даже влечет ее к себе. Влечет своими просторами, своими закатами (недавно я просматривал пастельные рисунки одного врача-художника, сумевшего с изумительною музыкальностью запечатлеть вечерние русские зори), главным же образом загадочною противоречивостью русских людей. Еще недавно я беседовал с приехавшим с фронта в отпуск доктором философии и талантливым музыкантом. С глубоким волнением и с большою тонкостью самоанализа

рассказывал он мне, что лишь в России удалось ему утолить с ранней юности мучившую его жажду бытия. Ни искусство, ни университетские занятия историей и философией, ни даже переход в католичество не смогли насытить его души. А вот Россия чем-то таинственно напитала его. «В России, – говорил он мне, – есть какая-то настоящность, какая-то большая, чем в Европе, плотность духовного бытия».

Никогда и ни от кого я не слыхал таких слов в связи с Францией. Мой доктор философии, конечно, исключение, но далеко не редкое. Вот выдержка из письма двадцатичетырехлетнего врача протестанта, полгода тому назад павшего под Москвой: «Я нахожусь в ста километрах от фронта, через два дня я буду в передовых окопах. Русская деревня поразила меня. В России все меня поражает. Зашел в одну из двух церквей и был захвачен богослужением. До чего жива и непосредственна молитва, сердце мое горело.

Во мне всегда была тоска по России. Я благодарю судьбу, что попал в нее. И странно: почти каждое слово и каждое лицо мне здесь знакомо. Я не могу передать этого чувства в словах. С пылающим сердцем продвигаюсь вглубь вашей родины.

Более страшной войны история еще не знала. И все же я спокоен и благодарен, я чувствую, что мое сердце в руке Божией».

Я не забываю, что это голоса с фронта, как бы с «того берега», голоса людей, стоящих перед смертью, уничтожающей все национальные и политические преграды. В тылу таких голосов не услышишь. Но все же и тут среди отцов, матерей и жен фронтовиков, война с Россией возбуждает не только понятную ненависть к большевикам и отталкивание от убожества и грязи русской жизни, но и искреннее стремление разгадать душу России и тот знак, под которым в будущем

сложатся отношения с нею. На столах многих немцев снова появились уже давно прочитанные тома Толстого, Достоевского, Лескова, Соловьева, Бердяева и Ключевского.

Военная кампания 1914–1918-го годов распадается в моей памяти на три весьма разнохарактерных как по событиям, так и по лично моим переживаниям, периода. Первый период начинается с почти идиллического выступления в поход из Львова и кончается через шесть месяцев трагическим разгромом соседней с нами Корниловской дивизии, после чего наша, сильно пострадавшая 12-я Сибирская бригада отводится в Куртенгофский лагерь под Ригу «на предмет починки орудий и пополнения людьми и лошадьми».

Второй период (с июля 1915-го года по октябрь 1916-го) делится лично для меня на четыре месяца унылых, незадачливых боев под Ригою, стоивших нам больших потерь и на 11 месяцев лазаретного лечения в Риге, Пскове, Москве и Ессентуках.

Последний период вспоминается мне, как я уже писал, не столько завершением войны, сколько приближением революции. Его начало: обсуждение посылки революционной телеграммы председателю Государственной Думы Родзянко в вечер встречи Нового года. Его конец – водружение красных знамен по всему фронту.

Первый период был самым тяжелым, но остался в памяти самым светлым.

Целые дни, а то и ночи напролет болтались мы, бывало, в седле без теплой пищи и привычной папиросы. Горы, леса, бездорожье, люди и лошади выбиваются из последних сил; все время слышится гул отдаленных боев. Беспомощные команды и бессмысленная ругань начальства, лютая стужа, снежные иглы в лицо, коченеющие руки не в силах держать поводья.

В лесах, в полях, по дорогам – всюду покойники, именуемые страшным словом «трупы»: свои и вражьи, цельные и изуродованные, свежие и многодневные. Вот торчащие из земли ноги недостаточно глубоко зарытого покойника. Вот – открытые в пустое небо мертвые глаза, вот – судорожно скрюченные пальцы. Все это поначалу было совершенно непереносимо. Еще страшнее первых боев и походов показались мне полевые лазареты. Никогда не забуду своего посещения Кросно, в котором умирал командир четвертой батареи Рыбаков. У подъезда вереница фургонов, набитых ранеными. По коридору не пройти. Всюду носилки, на которых в ожидании свободной койки и доктора стонут мокрые от дождя, окровавленные, зловонные люди. Всюду грязь, отчаяние, беспомощность и страшный беспорядок, с трудом преодолеваемый героическими усилиями нескольких самоотверженных врачей и сестер.

Неизбежные ужасы всякой войны усиливались в первые месяцы еще и нашею полною неподготовленностью к ней. Все прямые и косвенные виновники этой преступной неподготовленности уже понесли за свою нерадивость и легкомыслие страшную кару. Говорить обо всем этом потому очень трудно. Все же, в порядке правдивого описания событий, я не могу умолчать о том, что штабс-капитан Горленко, пристреливаясь к австрийцам, выпустил около ста снарядов по своей собственной пехоте, а командир корпуса, генерал Ерофеев, окопал нас под Альт-Ауцем спиной к неприятелю. Совершенно безнадежно обстояло поначалу дело в интендантстве. Пехота с голоду жадно подъедала выбрасываемые нами, артиллеристами, коровьи кишки (артиллерия была независима от интендантства) и сотнями, если не тысячами, отмораживала себе ноги на постах и дозорах. Снарядов как раз в первое время

было совсем мало. Я лично получил выговор за то, что за сутки своего дежурства выпустил шесть шрапнелей по укреплявшимся против нас австрийцам.

Все это не могло, конечно, не отражаться на духе армии. Тем не менее этот дух во время галицийского похода 1914–15-го годов был так крепок и светел, как он впоследствии уже никогда не был. Почему?

Объяснение этого духа победоносностью нашего наступления недостаточно. Для солдат вопрос продвижения вперед никогда не играл большой роли. Говоря о войне, наши сибиряки всегда говорили о бое, об его удали и его озлоблении, или о бабе (справится ли она с хозяйством, не забалует ли), или о Боге, т. е. о грехе войны. Вопрос же о том, добудем ли мы Галицию, которую, неудобно пахать, их мало интересовал. Потому их настроение оставалось все тем же, как при наступлении, так и при отступлении.

В офицерстве дело обстояло, конечно, иначе. Думается, что и наше приподнятое настроение объяснялось не столько легкими победами над австрийцами, сколько еще не убитым военными буднями вдохновением первого боевого крещения.

Местом моего боевого крещения были Ростоки Горные, временем – второй и третий день Рождества 1914-го года.

Я стоял со своим взводом на хорошо пристреленной австрийцами открытой позиции всего только в пятидесяти шагах позади наших передовых пехотных окопов. По откосу горы, обращенному к неприятелю, извивалась линия наших окопов. На окопных трубах лежали мешки из-под которых еле заметно выбивались тоненькие струйки дыма. За ложбиной, на скате противоположной горы, таинственно молчали австрийцы, по которым я должен был открыть картечный огонь в случае если бы они поднялись в атаку.

Вместе со мною из-за щитка наскоро замаскированного орудия рассматривали неприятеля мой орудийный фейерверкер и наводчик. Позади орудий под горкой «номера» торопливо рыли окопы для нас. Внизу под отвесной скалой виднелись наши «передки» и лошади. Охватывая душой и глазом всех этих вверенных мне людей, я испытывал новую, выросшую за ночь связь с ними, новую любовь к ним, своим батарейцам, и ответственность за них. Слыша в своей совести их немой вопрос мне: не выдам ли я их, не растеряюсь ли, я твердо, без слов, но всем своим существом отвечал им: «не выдам, справимся».

Ровно в одиннадцать часов у нас за спиною взвыли один за другим четыре выстрела с нашей главной позиции.

Австрийцы немедленно открыли ответный огонь.

– Началось, ребята, – весело сказал я фейерверкеру и наводчику и тут же вполголоса скомандовал, – к орудиям.

Сообщилась ли моя веселость солдатам, или, поднявшись в их душах, она перелилась в мою, я сказать не могу. Знаю только, что первый бой остался у меня в памяти одною из самых звонких, веселых и возвышенных минут моей жизни.

Скача через час после начала боя по обстреливаемому неприятелем шоссе к себе на батарею и сейчас же обратно к своему взводу, я кипел тем же неописуемым восторгом, в котором сто лет тому назад несся в свою первую атаку юный Петя Ростов. Для меня нет сомнения в том, что древний восторг боя, в котором кровь ревет, как река в половодье, душа слышит нездешнюю песнь, а сердце блаженно замирает в кольце предсмертного холода, наполняет нас не ненавистью к врагу, не жаждою победы и даже не любовью к родине, а чем-то возносящим нас над жизнью и смертью.

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца нашего таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог.

От войны осталась в душе молитва, чтобы в страшный час последнего боя со смертью Бог даровал бы мне силу и самую непобедимую смерть ощутить залогом бессмертия.

Живое ощущение этого сверх политического и даже сверх исторического смысла войны своеобразно выражено в солдатском сказе, сложенном в годы первой Великой войны:

Эх, кого винить, кого грехом корить,
Эх, кабы знать нам то, кабы ведати?
Да не немцы-то не поганые,
Не австриец, болгарин – продана душа,
Да никто человек не винен в войне,
Сама война с того света пришла,
Сама война и покончится.

Такое же самое отношение к войне и неприятелю встречалось и у немцев. Еще недавно стоял я с австрийским артиллеристом у рояля, на котором была разостлана карта Галиции, тщательно размеченная его рукою. Рассматривая ее, мы с волнением разыскивали места наших стоянок и боев. О том, где, кто, кого бил – мы почти не вспоминали и не из чувства взаимной деликатности, а просто по маловажности этого вопроса перед лицом тех больших переживаний, которыми мы чувствовали себя объединенными.

Эта тема фронтовой дружбы была в 20-х годах весьма популярна во всех странах Европы. Она не только интересовала психологов, философов и социологов, но также и политиков-практиков. Повсюду в Европе устраивались международные съезды фронтовиков и делались попытки вручения министерских портфелей участникам Великой войны.

Защищал эту мысль энергичнее всех принц Роган, основатель и вождь всеевропейского союза культуры («Kulturbund»). В своих докладах он убежденно доказывал, что в случае одновременного прихода к власти, хотя бы только в главных странах Европы «окопных» людей, дело культурно-политического примирения между вчерашними врагами сразу же двинется вперед.

Жизнь страшно насмеялась над этим мечтателем. По воле «неизвестного солдата» Гитлера, главный кандидат принца Рогана в премьер-министры Франции, Пьер Кот (министр воздухоплавания в министерстве Даладье), уже давно сидит в тюрьме и ждет своей участи.

Оглядываясь на пройденный жизненный путь, я всегда благодарно удивляюсь тому, до чего я даже в мелочах был правильно и благосклонно ведом своею судьбою: страдал всегда только по заслугам, но часто незаслуженно награждался удачею и счастьем.

По всему своему отношению к войне, которое батарея не без юмора охарактеризовала награждением меня прозвищем «геройского барина», я никак не заслуживал «боевого» ранения. «Геройство» мое всегда выражалось лишь в пассивной храбрости, в умении веселостью ободрить солдат в опасную минуту и помочь скоротать им тревожные часы ожидания боя. Я знаю, со мною и товарищам офицерам и солдатам было уютно. Не раболепствуя ни перед боевой опасностью, ни перед окопной скукой, я всюду был желанным гостем. Но офицером я был весьма посредственным. Математика стрельбы меня мало интересовала, стрелял я потому весьма приблизительно; в искусстве чтения карты я тоже не был большим мастером. Будучи одно время начальником разведки, я руководился больше глазомером, сметкой и доверием к охотничьим инстинктам моих сибиряков. В качестве заведующего батарейным хозяйством, я удачнее других добывал

пропитание для своих батарейцев, но был окончательно неспособен к ведению батарейного журнала. Конечно, если бы я взял себя в руки, то легко смог бы одолеть эту нехитрую премудрость, но я себя в руки не брал. Строго и очень серьезно я относился только к духовно-нравственным и педагогическим задачам офицера; в сфере же своих профессионально-технических обязанностей, я дилетантствовал и сибаритствовал так, как это было возможно, вероятно, только в царской армии. Тем не менее я был на хорошем счету у начальства, был не позднее других награжден «Аннами» и «Станиславами» низших степеней, дослужился до чина поручика и был даже представлен к золотому оружию, которого не получил, как мне объяснил командир батареи, только потому, что «наверху» было решено не выдавать (за немногими исключениями) знаков отличия за бои во время галицийского отступления.

В связи с таким моим штатским отношением к военной службе, судьбою и было решено ранить меня не немецкою пулею в бою, а нашими же собственными санями во время поездки с позиции в штаб.

С детства одержимый страстною любовью к лошадям, я, несмотря на предупреждение фельдфебеля, велел при поддержке поручика Балашевского заложить только что приведенных молодых жеребцов. При первом же выстреле жеребцы подхватили и понесли нас по лесу. Меня очень несчастно выбросило из саней. Сразу лишившись сознания от безумной боли в ноге, я очнулся на своей койке в окопе. Через несколько дней я уже был в полевом дазарете в Риге. Оттуда попал в Псков в лазарет великой княгини Марии Павловны младшей. Как там лечили и оперировали – сказать не могу, но кормили нас изумительно и развлекали на славу. Особо благодарен я администрации за то, что она разрешила Наташе, чудом пробравшейся в Псков,

целыми днями оставаться в моей палате. Иной раз она уходила в первом часу ночи.

Псков был до отказу забит армией и тыловыми организациями. Получить приличную комнату хотя бы за тройную цену было невозможно. Ютилась Наташа поэтому в каких-то не представляемо грязных номерах «Палермо», в малюсеньком номере, в котором ничего не было, кроме продавленной кровати, стула, печки во всю стену и огромной старинной иконы величиною в дверь. Умываться приходилось в общем коридоре, где в железном треножнике находился маленький тазик и рядом ржавый кувшинчик с водою, один на всех постояльцев. Ночью Наташе приходилось иной раз минут двадцать, а то и больше, стоять на двадцати-двадцатипятиградусном морозе у запертой двери «Палермо», ожидая появления заспанного босого коридорного, в портках и шинели внакидку. Впуская позднюю гостью, половой, несмотря на богатые на чаи, каждый раз грозился, что завтра совсем не отопрет двери. Все это не производило на Наташу ни малейшего впечатления. Счастливая тем, что она со мною, она с легкостью переносила свои небезопасные ночные путешествия. Утешала ее и благолепная красота утопающего в сине-зеленых под полною луною сугробах древнего города, с его гениально сложенными приземистыми церквами, стоящими чуть ли не на каждом перекрестке.

Из Пскова я в сопровождении Наташи и моего незабвенного денщика Семена Путилова, которого за тихий вид и какой-то недоумевающе-ласковый голос все звали Семешей, направился, не дождавшись санитарного поезда, в одиночном порядке через Петербург в Москву.

Поездка была ужасной: полная анархия всех расписаний, столпотворение на всех вокзалах и платформах,

до отказу набитые вагоны и трагическая недоступность уборных. Впервые вставши на костыли, и не умея владеть ими (впоследствии в Москве костыли стали моими усовершенствованными ногами) я со своею разбитою, положенною во временную гипсовую повязку ногою, чувствовал себя совершенно беспомощным в толпе, так что Наташе и Семеше приходилось в особо критические минуты подымать меня на руки.

После пережитых в дороге страхов, Евангелический полевой лазарет, в который меня привела моя счастливая звезда, показался мне раем. Впрочем он и был им по сравнению с теми казенными госпиталями, в которых мне впоследствии пришлось навещать раненых товарищей. Помещался Евангелический лазарет в просторном, барском особняке, стоявшем в довольно большом саду за чугунною решеткою. Заведующим лазаретом был известный в Москве профессор Гагеманн, оперировавший только в самых сложных случаях по своей специальности. Главную работу по лазарету нес талантливый молодой ортопед, доктор Финк – высокий, мешковатый и все же очень изящный человек с горячими глазами и ласковой улыбкой. Он не только вдумчиво, умно и осторожно лечил меня, но, живя во дворе во флигеле, часто приходил ко мне после ужина побеседовать или сыграть партию в шахматы. Играл он замечательно. Проведенные мною девять месяцев в лазарете я вспоминаю с глубокою благодарностью. И старший помощник Финка, доктор Калиновский, и бородатый студент рентгенолог, и сестры военного времени, среди которых особенно сердечно работали две княжны Ливен – все относились ко мне с совершенно исключительным вниманием.

Довольно долго вместе со мною лежали в палате два одинаково колоритных, но во всем противоположных офицера: холерический пехотный прапорщик

Макарыч из «красных» народных учителей, песельник, говорун и озорник, и меланхолический балтийский барон, служивший в одном из самых славных кавалерийских полков.

Проснувшись Макарыч сразу же хватался за гитару и на всю палату весело затягивал: «Она милая моя-а-а… Волга матушка река-а-а…». Под его песни контуженный в спину барон молча занимался холею своих рук и ногтей. После кофе барон развертывал карту и без малейшего раздвоения души мечтал, склонясь над нею, о лихих делах своего полка, в котором служили все его предки, и о конечном поражении России.

После кофе между бароном и Макарычем часто вспыхивали горячие политические споры, в которых нападающею стороною бывал всегда Макарыч, считавший, «как социалист», что после войны необходимо будет отобрать земли, как у пермских Строгановых (Макарыч был родом из Пермской губернии), так и у всех балтийских баронов.

Не вступая в большие пререкания с прапорщиком, барон презрительно бросал ему: «Социализм – это вздор, Макарыч» и начинал с упоением рассказывать нам о прибалтийских владениях их древнего рода: о замках, парках, картинах, скульптуре, о старинной мебели, севрском и мейссенском фарфоре, о конных заводах и племенном скоте.

Желая подразнить барона, Макарыч, совершенно впрочем беззлобно, брал со стула свою гитару и, жуликовато оглядываясь кругом, начинал тихонечко наигрывать марсельезу.

Где сейчас Макарыч – не знаю. Горячий, веселый, задорный социалист-революционер, скорее всего мещанского или купеческого происхождения, он, вероятнее всего, уже давно сложил свою голову в борьбе с большевиками. Барон, покинувший Курляндию,

благополучно здравствует в небольшой квартире в Берлинском предместье и подчас сомневается в том, жил ли он когда-нибудь тою жизнью, о которой он нам с Макарычем рассказывал. Несколько лет тому назад я как-то был у него. Вспоминали нашу палату, сестер, врачей и наши разговоры и споры о социализме.

Не всегда в России спорили в те годы о революции столь миролюбиво, как в нашей палате на Яузском бульваре, но везде почти так же отвлеченно и беспредметно. Кто может сомневаться, что если бы наши революционные вожди и защитники реакции могли бы хоть на мгновение вообразить себе будущее таким, каким оно оказалось, они еще в последнюю минуту, даже и не находя общего языка, протянули бы друг другу руки. Но в том-то, думается, и коренится трагедия истории, главная причина ее величественного самоистязания и ее метафизического безобразия, что образ будущего, иногда чаемый пророками и художниками, дольше всего остается сокрытым от его фактических творцов. Оптика революционной воли почти всегда мечтательна и одновременно рационалистична, то есть утопична. Строя планы своих действий, набрасывая и вычерчивая в сознании карты будущего, революционеры-утописты невольно принимают картографические фантазии за живую картину будущего; при этом они забывают о сущности всякой карты, которая, условно соответствуя действительности, не несет в себе ни малейшего сходства с нею.

Вглядываясь в революции 20-го века, нельзя не видеть, что свойственный им дух утопического активизма связан с молодостью их вождей. Требование русских бунтарей – Бакунина, Нечаева и Ткачева – «долой стариков» бесспорно сыграло в новейшей истории весьма значительную роль. Для большевистского бунта,

как и для фашистских переворотов в Италии и Германии характерна, впрочем, не только та роль, которую в них играла молодежь, но и сознание этой молодежи своей революционной роли в истории. Причин, объясняющих этот факт, много и большинство из них налицо. Мне хочется выделить из них лишь одну, быть может, самую глубокую. Я думаю, что молодость особо утопична потому, что она живет с закрытыми на смерть глазами. В так называемые «лучшие» годы нашей жизни смерть представляется нам бледною, безликою тенью на дальнем горизонте жизни, к тому же еще и тенью поджидающей наших отцов и дедов, но не нас самих. Этим чувством здешней бессмертности и объясняется прежде всего революционный титанизм молодости, ее жажда власти и славы, ее твердая вера в возможность словом и делом, огнем и мечом изменить мир к лучшему – одним словом всё то, что характерно для вождей, диктаторов, героев-революционеров, чувствующих себя не смертными человеками, а бессмертными полубогами.

Как безвыходна была бы история человечества, если бы она почти 2000 лет тому назад не осветилась бы светом христианства. Отменив богооткровенною истиною все «только» человеческие мудрствования и навеки победив тишайшею тайною Вифлеемской ночи все титанические замыслы безбожного самоуправства, христианство призвало всех нас, юных и старых, здоровых и больных, богатых талантами и нищих духом к столь великому преображению мира, перед которым распадаются в прах самые смелые мечты о революционном переустройстве человеческой жизни. Не потерять даже и в наши дни веры, что всех борющихся между собою «героев» в конце концов победит Бог, не так трудно, как оно на первый взгляд кажется. Чтобы не соблазниться всемогуществом зла, надо лишь понять, что истина

побеждает и там, где отрицающая ее ложь, пытаясь на свой лад строить нашу жизнь, изо дня в день только разрушает ее.

Все эти мысли были у меня в 1914-м году в зачаточном состоянии, все же я с фронта писал жене, что в качестве философа, то есть человека лишь раненного вечностью, но не спасенного в ней, я с каждым днем все больше тяготею к нашему батарейному «старцу» Шестакову, который просто и твердо верит в своего православного Бога. Старцем Шестаков, впрочем не был, не был он даже и Платоном Каратаевым, а всего только глубоко набожным сорокалетним «стариком», который Великим постом питался исключительно хлебом и водою, не теряя от этого ни бодрости, ни сил, ни светлого настроения.

Не скажу, чтобы у нас на фронте было много Шестаковых, но что-то шестаковское было почти во всех солдатах. Может быть, это объясняется тем, что, проходя трудною полосою своей жизни, они все невольно уходили в глубину древней веры своих отцов и дедов. Этою верою искони держится и своеобразно-пассивный народный патриотизм: Бог не выдаст – свинья не съест. Вера же в то, что Бог Россию не выдаст, была в крестьянской, а потому и в солдатской России всегда тверда. Думаю, что она и сейчас не поколеблена. Этою верою объясняется и та на первый взгляд непостижимая небрежность, с которою наши сибиряки относились к своим обязанностям. Так, например, все они неохотно окапывались на позиции. Сколько раз спрашивал я: «отчего, ребята, не роете настоящих окопов?» И всегда получал один и тот же ответ: «Нам, ваше благородие, не к чему. Австрияк оттого и бежит, что хорошие окопы любит, из хороших окопов кому охота в атаку подыматься, а мы из наших завсегда готовы». Характерным образом в тылу окапывались много охотнее,

чем на позиции. Наши скрытые в лесу тыловые стоянки вырастали иной раз в целые деревни, Тут плотничали и столярничали с увлечением, в веселом хозяйственном раже, забывая о войне, быть может, и в правильном ощущении, что от дождя и холоду человеку своими силами уберечься можно, а от смерти нет, и пытаться не стоит.

Иной раз случались вещи и похуже, чем недостаточно глубоко вырытые окопы. Зашел я как-то раз – время было, правда, тихое, – на передовой наблюдательный пункт к телефонистам. Вижу, сидят и в карты играют, а вместо огарка тлеет обмотанный изоляционным воском телефонный провод, которого у нас никогда не хватало. Стал усовещивать, но чувствую, что мои слова до них не доходят: не верят, чтобы от нескольких аршин проволоки мог бы зависеть исход войны.

«Ну, а если у вас в нескольких местах перебьет сеть, с чем чинить пойдете?» «Да зачем же, ваше благородие, ему перебивать: он в это время никогда не стреляет». Может быть, надо было бы не разговаривать, а разнести и наказать, но я был на это окончательно не способен. Вероятно, потому, что и сам не считал очень важным – выпущу ли я по окапывающимся австрийцам пять шрапнелей, или десять, скомандую ли прицел 79, или 81. Толстовски народное чувство, что война идет своим собственным «верхним ходом» и не очень зависит от отдельных решений и распоряжений, было во мне самом подчас очень сильно.

Считая все же правильным прекратить запрещенную карточную игру и преступную растрату телефонного провода, я подсел к телефонистам. Через час пришла смена: старик Шестаков и с ним неизвестный мне молодой солдат с бледным, немощным лицом. Я вынул портсигар – все, кроме Шестакова, закурили. Вскоре поднялся нескончаемый окопный разговор

о смысле и грехе войны, в котором пришедший с Шестаковым канонир, очевидно продолжая прерванный спор, принялся горячо доказывать нашему, не чуждому толстовству «старцу», что «не убий» надо понимать «вовсе иначе».

– Убить, – говорил он, часто моргая воспаленными веками и как бы с трудом выталкивая из себя, видимо уже давно мучившую его мысль, – означает, как я понимаю, душу испортить, озлобить ее, поднять против Господа Бога. Оружием же, всё равно, огнестрельным или холодным, убить бессмертного человека, особенно на войне, где всякий ежечасно к смерти готовится, никак невозможно; оружием, – волновался он, – можно только до срока отправить человека на тот свет, где ему в вознаграждение за понесенное страдание можно будет очень даже хорошо устроиться.

Как ни наивны были наши окопные беседы, я им очень многим обязан. Думаю, что досадная бессодержательность большинства современных философских книг связана с тем, что все мы неумеренно питаемся библиотечными консервами и беспечно игнорируем растущие на жизненном корню и потому особенно важные истины.

Начавшая слагаться у меня на фронте метафизика смерти, как внутренней формы нашей жизни, подверглась за время пребывания в лазарете очень жестокому испытанию.

Хотя мне лично смертная опасность ни минуты не угрожала, я не раз переживал в лазарете тот темный, голый и унизительный страх, которого, стоя под пулеметным огнем и стреляя на прицеле 20, то есть на расстоянии всего только четырехсот саженей по наступающей немецкой пехоте, я никогда не испытывал. Очевидно, страх до конца овладевает только бездейственною душою, лишенной возможности сопротивляться надвигающейся опасности.

Уже в Рижском дивизионном лазарете на меня нападала иной раз безысходная тоска. Дни шли один как другой. С утра томительное ожидание доктора, днем – неустанный стон, а то и крики, тупые, животные, в недалекой операционной. После обеденной кормежки долгий сон с храпом и свистом товарищей по палате. В сумерках после чая – уныло похотливая граммофонная нудь в соседней палате выздоравливающих. Затем ранее тушение света: бессонница, путаница мыслей, боль сквозь полусон, а под утро, в час, когда даже и тяжелые забываются сном, деликатное, вполголоса отпевание умерших в гулкой передней.

В Пскове и в Москве было уже легче: чем глубже в тыл, тем меньший процент обреченных на смерть. Но все же ужас хирургических палат, безоговорочной обреченности на длительное, унылое, будничное страдание с перспективой остаться на всю жизнь калекой и тут тяжелым кошмаром стоял над душой.

Несмотря на все это, я в лазарете почти не слышал сознательных проклятий войне и часу ранения. Скорее наоборот. Прислушиваясь к разговорам раненых солдат, которые по вечерам собирались в самой большой палате, я не раз удивлялся тому, с какою живостью и даже любовью рассказывали они друг другу о том, как шли в атаку, резали проволоку, забрасывали немца гранатами, отнюдь не связывая этих геройских переживаний с гноящимися в их телах дренажами, с перевязанными головами, с ампутированными руками и ногами.

По утрам, пока убирали нашу палату и перекладывали моего соседа по койке, я часто заходил к совсем молоденькому поручику, который уже с год умирал невероятно тяжелою смертью. Раненый в позвоночник, весь в пролежнях, он неподвижно лежал на водяном матраце, не будучи в силах без чужой помощи ни привстать, ни повернуться. Без кровинки в лице, нервный,

раздражительный, он целыми днями, не выпуская изо рта папиросы, молча играл в преферанс. Когда же раскрывал рот, то без ненависти и проклятья говорил только о фронте. Уверен, – если бы он выздоровел, то с радостью вернулся бы в свой полк.

Чем дольше я лежал в лазарете, окруженный исключительною любовью жены и матери и исключительным вниманием; родных и знакомых, тем сильнее тянуло меня на фронт. «Верите ли, – писал я из лазарета в свою батарею, – сколь бесконечно ценными кажутся мне отсюда месяцы, проведенные на фронте. Как первая любовь, вспоминаются первые осенние бои. Любовь и войну роднят ошеломляющая необычайность как той, так и другой и непосредственное отношение обеих к последней тайне жизни, к смерти. Как бы страшна ни казалась нам смерть, диалоги, что от ее имени ведут с нами немецкие снаряды, все же диалоги с вечностью. Высшего же наслаждения души смертных, очевидно, не знают, как прислушиваться «к песням небес».

Полная глухота госпитально-эвакуационного тыла к этим «песням» сыграла в моем добровольном решении вернуться на фронт, быть может, главную роль.

Если в моей душе живет к чему-нибудь непобедимое отвращение, то разве лишь к «Первому московскому эвакуационному пункту». Находился он почти за городом, в Хамовниках, куда извозчики брали по тогдашним ценам не меньше пяти рублей в конец, то есть около десяти процентов моего офицерского жалованья. Помещался эвакуационный пункт на третьем этаже, куда вела крутая лестница без перил. Ждать очереди приходилось часами в грязном, узком коридоре, сидя на подоконниках, так как стульев не хватало.

Кроме бессмысленно частых посещений врачебной комиссии, где старые, шамкающие и очевидно

недобросовестные врачи встречали тебя как «ловчилу», симулянта и вымогателя казенных субсидий, приходилось два раза в месяц ездить в хозяйственную часть за получением жалованья. Канцелярия помещалась, как нарочно, не в том же громадном доме, где была комиссия, и даже не на том же дворе, а в стоящем на другом конце площади офицерском собрании, притом опять-таки во втором этаже. Таким образом нужно было дважды подняться на костылях во второй и третий этажи, дважды спуститься и дважды пересечь широкую снежную площадь. Причем в результате посещения хозяйственной части мы получали не жалованье, а всего только право на его получение, то есть аттестат, с которым надо было ехать в казенную палату, дабы, после нового стояния в двух хвостах, получить причитающиеся тебе, как подпоручику, 56 рублей.

Все это неряшливое, нерадивое и глубоко неуважительное к званию воина отношение до глубины души возмущало меня и тем будило живую тоску по фронту, по братскому духу и быту родной батареи.

Тоска эта была так сильна, что я не находил себе места даже и в близких мне по духу литературно-философских кругах, где велись нескончаемые беседы о глубинном смысле войны, о протестантской сущности немецкого милитаризма, о роковой для судеб Европы эволюции Германии от Канта к Круппу, о непонимании Толстым таинственного единства креста и меча, об умалении желтой опасности в связи с выступлением Японии на стороне держав Согласия, о предопределенности России к республиканскому строю в связи с неприемлемостью догмата папской непогрешимости для православия, о бездарности правительства, Распутине, о шансах Гучкова в военной комиссии, о подготовлении государыней и Штюрмером сепаратного мира и о многом другом. Развивались эти темы иной

раз с исключительным талантом, блеском, глубиной и подлинной эрудицией. И тем не менее я чувствовал себя среди не видавших фронта писателей, философов, в особенности же среди бойко философствующих интеллигентов-политиков, глубоко одиноким и неприкаянным. Их вольноотпущенные мысли, смелые построения, страстные речи и громкие голоса ощущались мною сплошной инфляцией, мозговою игрою, конструктивною фантазией, кипением небытия.

Уже одно то, что все слышанное и виденное за день по возвращении в лазарет невольно сопоставлялось в душе с рассказами ночной сестры (я всегда заходил в дежурную комнату выкурить последнюю папиросу) о прибытии новых раненых, неудачно прошедшей операции, или бессмысленной отправки на фронт недолеченных солдат, делало меня особенно недоверчивым ко всякому мироустроительному умствованию над творящимся в мире безумием.

В конце июня 1916-го года (я только что сменил костыли на палку) врачебная комиссия эвакуационного пункта постановила отправить меня в Ессентуки: ступня раненой ноги все еще оставалась неподвижной и вся надежда была на грязевые ванны.

Свидание с Кавказом, на котором мы с Наташей провели первые месяцы нашей жизни, было для нас величайшею радостью. Ни на минуту не покидавшее нас чувство, что нашему блаженству врачебною комиссией в Пятигорске может быть ежедневно положен конец, лишь усугубляло смысл и счастье каждой переживаемой минуты и делало нас особо восприимчивыми к тихим радостям будничной жизни, которая здесь, где мы в деловом порядке не соприкасались с ее неприятными сторонами, казалась нам не тылом, а тем блаженным мирным миром, глубину и очарование которого мы раньше никогда не испытывали с такою силою.

Во время наших прогулок по парку и поездок в горы мы робко, как бы не сглазить, беседовали с Наташей о будущем, почти без слов договариваясь о том, что после войны начнем новую, углубленную жизнь, в которой будем по-новому внимательны не только друг к другу, но и ко всем людям.

О таком же преображении жизни мечтали тогда и солдаты. В записках сестры милосердия Софии Федорченко встречаются замечательные солдатские слова: «запиши ты твердо слово: наша жизнь такая теперь, что век ее помнить надо. Коли ты эту жизнь нашу теперешнюю проспишь, так значит нас и трубе при Страшном суде не разбудить будет. Не только что помнить, а и век по новой по науке жить надо до смерти».

После шестинедельного лечения в Ессентуках комиссия почла меня выздоровевшим; мы вернулись в Москву, а через неделю я отправился на фронт.

То, что я возвращался не под Ригу, где у нас были только неудачи, а в Галицию, было для меня особенно радостно. Хотя товарищи батарейцы мне намекали и писали, что дух фронта уже не тот, я этому как-то не верил. Разочарование мое по приезде в действующую армию было потому весьма велико.

По пути из Подгаиц в Завалув, где стоял штаб нашей дивизии, я неожиданно встретил фейерверкера своей батареи, которому обрадовался, как родному, и которого сразу же засыпал тысячью вопросов. Ответы Бабушкина, как и весь тон его, были печальны: последние бои дорого обошлись бригаде: убит Шидловский и вторично ранен Вериго. «Солдат, – рассказывал Бабушкин, – ужас сколько полегло, в особенности в пехоте». Не легче сведений о потерях легли на душу известия о всевозможных переменах в бригаде. Оказалось, что оба дивизионера новые, что Владимир Балашевский, которого мне особенно не терпелось увидеть,

в Петербурге на курсах Генерального штаба, откуда вряд ли вернется в батарею, что командир, как слышно, тоже уходить собирается.

Это последнее известие особенно больно ударило по сердцу. Взяло сомнение, не напрасно ли я возвращаюсь, есть ли к чему возвращаться? Не распадается ли дух и быт нашей бригады и даже нашей батареи? В таких грустных раздумьях провел я беспокойную ночь в головном отделении нашего парка, а на следующий день на гривастом парковом коньке двинулся к себе на батарею.

По пути к ней я поравнялся со знакомым разведчиком того полка, что участвовал в злополучном деле под Ауцем, где попала в плен наша шестая батарея.

Из разговора с этим разведчиком я узнал, что тот штабной офицер, который был повинен в Альтауцкой катастрофе, вовсе не лишил себя жизни, как о том ходили, скорее всего нарочно пущенные начальством слухи, а был убит солдатами во время предпринятой им попытки отбить у немцев шестую батарею.

Убийство солдатами офицера было, конечно, всегда возможно, но ничем не вызванное признание в этом было год тому назад совершенно немыслимым. Припомнив в связи с этим страшным признанием только что ставшее мне известным секретное сообщение штаба корпуса о срочном снятии с позиций одной из частей в предупреждение ее самовольного ухода, и лазаретные слухи о том, что вражда между артиллерией и пехотой дошла в иных частях до того, что артиллерийские наблюдатели в одиночку в пехотные окопы не посылаются – я воочию увидел перед собою страшную картину уже далеко зашедшего разложения армии.

Через час по прибытии в Шумляны, где стояла наша батарея, встретившая меня, начиная с командира и кончая Семешей, с чисто фронтовой сердечностью,

я уже сидел за чаем и рассказывал окружавшим меня тесным кольцом товарищам о Москве, Петербурге, «веяниях в сферах», главным же образом о всевозможных точках зрения на возможный конец войны.

Мнение, что война скорее всего кончится к осени 1918-го года, вызвала бурный протест со стороны командира, Ивана Владимировича. Его, неожиданно длинная для молчаливого солдата, обвинительно-обличительная речь подтвердила и обобщила все печальные догадки о положении фронта.

– Воевать еще два года, – вбивал Иван Владимирович гвоздь за гвоздем в гроб русской армии, – абсурд, так как мы уже давно не воюем. Штабы не воюют: они приказывают вниз и доносят вверх, втирают очки и стяжают чины. Я воюю, но меньше с немцами, чем с начальством, потому что начальник дивизии пехотный самодур, а командир бригады махровая шляпа. Разве не глупо требование, чтобы наблюдательный пункт представлял в штаб по десять схем в день, когда этими схемами ни один чёрт не интересуется, кроме штабных денщиков, которые их крутят на цыгарки. Пехоты у нас нет. Пополнение с каждым разом все хуже и хуже. Шестинедельной выпечки прапоры никуда не годятся. Как офицеры, они безграмотны, как юнцы, у которых молоко на губах не обсохло, они не авторитетны для солдат. Они могут героически гибнуть, но они не могут разумно воевать.

Продовольствие, фураж! Да ведь нам в сущности ни того ни другого не доставляют, за всем надо охотиться, как за дичью и, ей-Богу, я, батарейный командир, чувствую себя больше помещиком в неурожайный год, чем строевым офицером.

Нечему удивляться, что при таких условиях даже у нас, кадровых офицеров, начинают иной раз опускаться руки и подыматься мысли: а не плюнуть ли на все и не податься ли куда-нибудь подальше в тыл.

Я, конечно, очень рад, дорогой мой, что вы приехали, но если бы вы меня спросили, я посоветовал бы вам с вашею ногою, подобру-поздорову, оставаться в Москве.

После своей речи Иван Владимирович с неожиданною веселостью захлопал в ладоши и велел подавать обед.

Появились пирожки, сардинки, разведенный Александром Борисовичем спирт с душистою травкою… Старая, первопоходная спайка третьей батареи быстро взяла верх над разрухою фронта. Стало уютно, попрежнему тепло, но и по-новому грустно.

Может быть, подумалось мне, исконный пессимист, Иван Владимирович, все же преувеличивает, устал, изнервничался? Надо будет проверить своими глазами, походить по окопам, поговорить с ротными, почувствовать, что происходит в солдатских сердцах.

На проверку вышло, что преувеличивал Иван Владимирович только в отношении снабжения армии. По сравнению с началом кампании оно заметно улучшилось. Снарядов было больше, чем когда бы то ни было раньше, и голода, или хотя бы длительного недостатка в питании, ни люди, ни лошади не испытывали, хотя иной раз и приходилось прибегать к экстренным мерам.

Изменение же духа армии было, как содержанием, так и тоном речи Ивана Владимировича охарактеризовано вполне правильно. Даже и те из офицеров, которые в противоположность Ивану Владимировичу не были склонны отрицать объективного улучшения в материальном положении фронта, уверяли, что снижение духа армии, связанное главным образом с второсортностью недоученного и недовоспитанного человеческого материала, присылаемого на фронт, идет много быстрее, чем улучшение производительности наших военных

заводов. Страшное слово «поздно» Дамокловым мечом висело над армией. Вместе со скучными, ноябрьскими туманами по сырым глинистым окопам неудержимо расползалось уныние. В офицерских душах незаметно протаривались извилистые тропы благовидного приспособленчества, а то и дезертирства. Исполнение долга было еще на высоте, но офицерской доблести и солдатской лихости было уже гораздо, меньше. Получить «Георгия» по-прежнему оставалось заманчивым и желанным, но «переплачивать» за него, подвергая себя излишней опасности, уже никому не хотелось. Дух добровольческого самопожертвования явно отлетал от армии, даже геройство становилось расчетливым.

Менялось все потому, что война уже никем не ощущалась судьбою, от которой уйти нельзя и прятаться постыдно. Вера в то, что «война с того света пришла», уже не владела ни офицерскими, ни солдатскими душами: по окопам открыто ходили разговоры о том, что войну наслали на Россию немецкие советчики государя императора, которые были при дворе в большой силе, так как за ними стояла сама императрица, которая хотя и спуталась с русским мужиком, а все же свою немецкую линию тянет. Эти злые шёпоты политиканствующего тыла со дня на день все глубже разлагали ту подсознательную метафизику войны, которою живет как ее покорное приятие, так и ее героизм.

В дополнение картины надо еще сказать, что на фронте упорно, даже с каким-то злорадством говорили о том, что немец обязательно пустит газы. В этом ожидании газа чувствовалось желание обесчестить войну и тем оправдать свое изменившееся к ней отношение.

Пробыв на батарее около шести недель, я перевелся в парк. Решение «податься в тыл» далось мне нелегко. Побудил меня к этому целый ряд причин, из которых главною была моя нога. Совсем было поправившись

в Ессентуках, она, после первых же дежурств на передовых наблюдательных пунктах (за сутки дежурства полагалось хотя бы раз обойти наш большой боевой участок), снова начала ныть и пухнуть. Друзья мои, Евгений Балашевский и Александр Борисович, видя, что мне не под силу часами месить вязкую, глинистую почву, решили не пускать меня на суточные дежурства и распределили их между собою.

Как ни близки были наши отношения, мне было все же неприятно подвергать приятелей излишней опасности. Кроме того, меня смущала мысль, что в случае ухода командира, все чаще заговаривавшего о своем переводе, мое привилегированное положение может стать невыносимым.

Моим колебаниям неожиданно положило конец предписание начальника штаба дивизии откомандировать кого-нибудь из младших офицеров в парк. Командир бригады предложил перевести меня. Иван Владимирович советовал не противиться судьбе и со спокойною совестью принять назначение.

Доводы его были убедительны: молодым прапорщикам, недавно прибывшим на фронт, отдыхать еще рано, а кадровым офицерам перевод в парк невыгоден, так как он тормозит производство.

Заглянув себе в душу и увидев, что в ней не все обстоит благополучно в отношении самолюбия, я решил, что обязан освободить от себя батарею и подал соответственный рапорт.

Дня через два, 22-го декабря 1916-го года, я погрузил свою двуколку, забрал своего закадычного Семешу и с тяжелым сердцем, сев в последний раз на мою Чадру, отправился к своему новому месту службы, надеясь сохранить с батареей, расположенной только в трех верстах от головного и в 15-ти от тылового парков, самые дружеские отношения.

Не знаю, был ли прифронтовый тыл на самом деле столь отвратителен, каким он предстал моим глазам после перехода в парк, или его отвратительный образ был порождением того уныния, которое завладело мною после ухода с батареи.

Знаю только одно, что раньше, когда я приезжал с позиции в тыл: в полевое казначейство, на почту, на питательный пункт, в штаб – я всегда воспринимал тыл как некое подобие той настоящей жизни, от которой меня оторвала война. Было приятно сходить в баню, не торопясь пообедать у знакомого земсоюзного доктора, принять стакан чаю из рук милой сестры, невольно волнующей тебя отдаленным сходством с матерью, сестрою, женою, не спеша пройти в казначейство, опрятный, провинциальный домик, у коновязи которого, как где-нибудь в Серпухове или Дмитрове, жуют сено запряженные в брички рассупоненные лошаденки, а затем, закурив папиросу и еще чувствуя в душе медленный ритм мирной жизни, шажком двинуться на батарею.

Когда, переведясь в парк, я стал чаще навещать тыловые учреждения, их отраженная поэзия стала быстро таять в душе.

Ближайшим к парку тыловым центром были Подгайцы, дотла разбитый, загаженный городишко, переполненный праздношатающимся солдатским сбродом вперемежку с грязными, насыщенными восточною характерностью фигурами галицийских евреев.

Посреди города находился «Московский магазин», в котором хищно и расторопно торговал жирный, губастый армянин с плутоватыми глазами, поминутно утопавшими в беспредельной улыбке. Кроме своей копейки, его ничто не волновало, меньше всего – безногий бандурист с кровоподтеком вместо вытекшего глаза, что-то жалобно напевавший на краю вонючей

лужи у самого входа в лавочку. Лежащая рядом с костылями шапка оставалась почти что пустой. Певца никто не слушал и ему никто ничего не подавал, хотя по главной улице, впадающей в базарную площадь, все время фланировали земгусары, чиновники, тыловое офицерство и так называемые «кузины милосердия», в которых я уже не видел ни малейшего сходства с милыми женщинами своего мира. Смотря на «кузин» и волочащихся за ними прапоров, я с неприязнью чувствовал, что для всех них любовь – загаженная клетка, из которой уже давно вылетела певчая птица. Недаром та болезнь, обещаниями излечить которую пестрят обыкновенно последние столбцы газет, называлась на фронте «сестритом» и недаром прапорщик Вилинский распевал под гитару новую частушку:

Как служил я в дворниках,
Звали меня Володя,
А теперь я прапорщик,
Ваше благородье.
Как жила я в горничных,
Звали меня Лукерья,
А теперь я барышня,
«Сестра милосердья».

Чтобы рассеять парковую скуку, много слоняясь верхом по тылу, я часто заезжал в штаб корпуса, к которому был прикомандирован окончивший краткосрочные курсы Генерального штаба Владимир Балашевский. Всегда боровшийся против бессмысленной ненависти фронта к генштабистам, я, ближе ознакомившись со штабным духом, понял, что не ненавидеть штаба рядовому фронтовику почти невозможно.

Заглянув в середине февраля в штаб, я узнал, что только что приехали с фронта отравленные газами Евгений Балашевский и недавно прибывший на батарею прапорщик Блинов, которые прошли на квартиру Владимира. Я побежал к ним.

Бледные, усталые, с глазами, налитыми кровью, и с углем от противогазов на веках и вокруг рта, они тихо, стараясь дышать только верхушками легких, рассказывали мне о ночном бое, к раскатистому вою которого я с тревогою прислушивался ночью. Обстрел артиллерийских позиций длился целых пять часов, в продолжение которых на одну третью батарею легло более тысячи снарядов. Немцы гвоздили по нашим позициям с отвратительною методичностью, выпуская не меньше десяти снарядов в минуту.

Страшнее потерь было, по словам Евгения, вызванное газами психологическое потрясение. После газовой атаки в батарее все почувствовали, что война перешла последнюю черту, что отныне ей все позволено и ничего не свято. Неким символом этого предельного обесчеловечения войны Евгению показалась трагическая неузнаваемость всех окружавших его в бою людей: белые, резиновые черепа, квадратные стеклянные глаза, длинные зеленые хобота, неизвестно откуда взявшихся фантастических водолазов на дне беспрестанно освещаемой красными сверканиями разрывов ночной бездны, – все это дышало, по их словам, таким ужасом, которого никогда не забыть. С этим ужасом в душе притащились они в Завалув.

Через полчаса Владимир вбежал к нам с ворохом бумаг подмышкой, красивый, веселый, бодрый, по-штабному чистенький и нарядный. Несмотря на то, что он был уже подробно осведомлен о тяжелых потерях, понесенных горячо им любимой третьей батареей, он был счастлив тем, что, несмотря на бешеный натиск неприятеля, нам удалось удержать окопы.

Наскоро расспросив Евгения, как все было и как он себя чувствует, он, в радостном сознании важности своих новых штабных задач, достал из портфеля свежеперехваченные немецкие телефонограммы, намекавшие

на подготовляющиеся в России важные события, и начал их громко читать своим звонким повелительным голосом, не замечая, что Евгений ничего не слушает, потому что у него в легких еще стоит запах газа, а в ушах плеск и свист разрывов.

После ужина Владимир не без гордости повел нас в свое оперативное отделение. Несмотря на поздний час, там работало еще несколько офицеров. Каждый за своим большим, хорошо освещенным столом с четко разложенными на нем бумагами и телефонными аппаратами. На столах и стенах большие карты с нанесенными на них синим и красным карандашами линиями наших и неприятельских окопов. Во всем бросающаяся в глаза вытравленность страшной, будничной реальности войны. Всюду схема, цифра, сводка, отвлеченная динамика наступления и отступления, доблестное дело, за которым не чувствуется уныния осенних дождей в размытых окопах, никогда не просыхающих ног, вшей, тоски по мирной жизни, холодящего душу предсмертного страха и непереносимого для человеческой души проклятия беспрекословного повиновения. Нет, ненависть боевых офицеров к генштабистам основана не на том, что они живут чище, вкуснее и безопаснее, а на том, что, чувствуя себя творцами истории и вершителями человеческих судеб, они своим отвлеченно-стратегическим мышлением самонадеянно осмысливают то, что фронт в свои великие минуты ощущает благодатью («И Бога брани благодатью наш каждый шаг запечатлен»), а в свои малодушные часы – безумием.

В 1917-ом году уже никто на фронте не чувствовал в войне веяния Божьей благодати. Зато безумием ее ощущали все, открыто связывая к тому же это безумие с глупостью и бессилием власти.

О вине правительства и придворных кругов у нас в бригаде впервые громко заговорили во время встречи Нового 1917-го года.

В окоп третьей батареи был приглашен весь первый дивизион, в котором из офицеров, вышедших с нами из Иркутска, осталось всего только четыре человека.

Около десяти с половиною сели за стол. Хотя и вин и яств было достаточно, настоящего новогоднего настроения ни у кого не было. Все же по обыкновению начались тосты. Последним поднял свой бокал Александр Борисович: «За свободную Россию, господа». И вот случилось нечто, год тому назад совершенно невозможное: революционные слова вольноопределяющегося были покрыты громкими аплодисментами всех собравшихся офицеров. Услышав эти аплодисменты, мрачный, нервный и замученный неудачами на фронте и разложением в тылу, Евгений Балашевский, внезапно просветлев лицом, обратился к старшему из присутствовавших офицеров, полковнику Гореву и предложил послать телеграмму на имя председателя Государственной Думы Родзянко.

– Что же, можно, пошлемте, отчего не послать, – отозвалось несколько не слишком, впрочем, уверенных голосов.

Когда встали из-за стола, Евгений, Александр Борисович и я удалились в «дортуар» для составления текста телеграммы. После недолгого совещания, нами был предложен приблизительно следующий текст: «мы, офицеры первого дивизиона 12-й сибирской артиллерийской бригады, собравшиеся для встречи Нового года, в тяжелую минуту, переживаемую нашею родиною шлем Вам, председателю Государственной Думы, как представителю всей России, свой привет. Готовые здесь, на фронте, исполнить наш долг до конца, мы ждем от Государственной Думы, что она в решительный час действенно встанет во главе всех живых сил и осуществит, наконец, в России тот строй и те начала, без которых все наши усилия здесь тщетны».

Телеграмма послана не была. Первым же отказался подписать ее подполковник Горев: «С содержанием телеграммы, – сказал он, – я вполне согласен, но против ее посылки решительно протестую, так как это противно духу воинской дисциплины и может иметь весьма неприятные последствия».

При этих словах, сидевший на противоположном конце стола Евгений, побледнев как полотно, в упор спросил Горева: «А завтра вы пойдете на наблюдательный пункт, или, ввиду того, что это может иметь для вас печальные результаты, еще подумаете, идти ли?».

Поднялся горячий, шумный, многоголосый спор, в котором я поддерживал Евгения, горевшего двуединым гневом бывшего радикального студента 1905-го года и горячего патриота 1914-го года, а Владимир Иванович и Александр Борисович делали всё, чтобы примирить противников: первый, как хозяин вечера, второй, как прирожденный дипломат.

Конечно, мы с Евгением были неправы. Говоря о весьма неприятных результатах отсылки телеграммы, Горев ни минуты не думал о себе, тем не менее неправый по существу Балашевский был в своем праведном гневе решительно прекрасен. Вовсе не диалектик и человек не слишком расторопного ума, он возражал Гореву и его единомышленникам с тою точностью слов и ударений, которая дается только вполне бескорыстному волнению.

– Мы не дипломаты, – горячо и мужественно бросал он через стол свои простые и убедительные слова, – не политики, не общественные деятели, мы не преследуем нашей телеграммой никакой политической цели. Разве не просто: Родзянко шлет нам привет и говорит: «Стойте до конца, спасайте Россию». Почему нам не ответить ему: «Мы стоим, стойте и вы и спасайте с нами Россию». Зачем произносить чужое холодное слово

политика – армия-де не занимается политикой – когда есть родное прекрасное слово «Россия», судьбою которой армии не волноваться нельзя.

В поздний час, когда большинство из присутствующих было, как говорится, на взводе, в спор неожиданно вмешался недавно прибывший на фронт агроном, любивший называть себя «знатоком народа». Своим громогласным заявлением, что все наши разглагольствования имели бы смысл только в том случае, если бы мы были готовы завтра же повернуть наши пушки на Петроград, он сразу же спутал все карты. – Но в том, что вы сможете их повернуть, – громыхал он, обращаясь то к Гореву, то к Балашевскому, – вы поручиться не можете, потому что вы имеете дело с русским мужиком, на которого положиться нельзя. Спросите-ка наших развращенных товарищами социалистами солдат, готовых до хрипоты орать «за землю и волю», пойдут ли они за сто рублей в месяц в стражники? Они вам скажут, что не пойдут, а я вам говорю: пойдут, сукины дети, все как один человек пойдут. Велик наш народ, но и сволочь.

Четвертого марта я сидел в своей свежевыбеленной халупе и, прислушиваясь одним ухом к потрескиванию сырых дров в громадной бледно-розовой печи и к гармонии фельдфебеля Голощапова, наигрывавшего «Баламут», писал письмо домой.

Под тонким пластом благодарного ощущения многодневного затишья на фронте и паркового уюта, в душе, как всегда, мучительно ныло сознание затягивающейся войны, бессмысленной, безнадежной и скучной.

Вдруг раздался стук в дверь и на пороге появился денщик командира парка. Взглянув на него, я сразу понял, что случилось нечто невероятное: «Так что, ваше благородие, командир приехали из лазарету и просят ваше благородие к себе. Слышно, в Петрограде

революция», – произнес он бойко и как бы сам удивляясь своей смелости. Продолжать письма я, конечно, не мог. Оборвав его кратким сообщением о только что услышанном и быстро приписав бездумно вырвавшуюся из души фразу: «О, если бы это была правда», – я сунул письмо в конверт и в страшном волнении побежал к командиру.

Конец первого тома.

Оглавление

Федор Августович Степун

Бывшее и несбывшееся

Том I

Ответственный редактор *А. Иванова*
Корректор *М. Глаголева*
Верстальщик *А. Сычёва*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16